

КОНТИНЕНТ 41

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNET CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Так с лицом белее снега,
По которому бежал он,
Продолжал он нить побега



Тихо, яростно,
без жалоб.
Знал, что где-то
в недалеком
Лагерь, хипеж,
крики, слезка...
Сумасшедшим
жаждал оком
Угадать: орел иль
решка.
*Валентин З/К
(Соколов)*

На самом деле, все они мертвы.
Бродя среди бутафорского картона,
они уже не творят своей истории –
представляют

собой сюжет для
небольшого
рассказа.
Уже не возводят
своих домов –
обитают в сборных
коробках.
И не поют своих
песен...



Хорхе Вальс

Упорно называя Советский Союз Россией, политики и публицисты Запада тенденциозно обманывают себя: это-де нормальное государство, с которым можно проводить нормальную политику, заключать нормальные мирные договоры или же вести нормальные войны; они тенденциозно закрывают глаза на тот факт,



что Советы – это государство плюс коммунизм и что эта отнюдь не мелкая деталь... важнее всего для целого света... Американцы упираются на слове «Russia» по невежеству и в силу отечественных традиций, согласно которым нет хуже тирании, чем монархия...

Барбара Топорская

Но мы уже сознавали, предчувствовали самое опасное и обезволивающее: на раскатанной гусеницами танков земле вырастет плоская жизнь во взаимном недоверии, расщепление опять будет мучить наши умы... И нас парализовало сознание безнадёжности всякого порыва к сопровитвлению...



Ирина Брежна

Если западная литература XX века в основном нигилистична, русская литература – это литература Воскресения. Это люди, которые прошли сквозь опыт нигилизма, были на грани смерти и, пройдя сквозь всё это, нашли жизнь, которая сильнее смерти... это литература людей воскресших.



Оливье Клеман

Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Сол Беллоу
Николас Бетелл · Энцо Беттица · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Александр Гинзбург · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Петр Григоренко · Милован Джилас
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Эрнст Неизвестный · Амос Оз
Алексис Раннит · Андрей Сахаров · Андрей Седых
Виктор Спарре · Странник · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

- Израиль Михаил Агурский
Michael Agoursky, P.O.B 7433,
Jerusalem, Israel
- Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia
- США Эдуард Лозанский
Edward Lozansky, The Andrei Sakharov Institute,
3001 Veazey Terrace, N. W., Suite 332 Washington,
D. C. 20008, USA
- Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikaŕiga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» — © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

41

Издательство «Континент»
1984

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ ИЗ-ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ

- Валентин З / К (С о к о л о в)** – Стихи конца 50-х – начала 60-х годов. Вступительная заметка
Эдуарда Кузнецова 7
- Хорхе В а л л ь с** – Из двух тюремных книг.
Пер. с испанского Анатолия Копейкина 14
- Феликс К а н д е л ь** – Люди мимоезжие.
Книга путешествий 20
- Лев Л о с е в** – Из книги «Стихотворения» 83
- Александр и Лев Ш а р г о р о д с к и е** – Сказка
Гоцци 97
- Г. Е в г е н ь е в** – «Снег, святая простота...» 124
- Юрий Г а л ь п е р и н** – Лопарский поселок. Рассказ 129
- Валентин П а п а д и н** – Перед смертью меня разбудили. Из книги стихов 140
- Ирена Б р е ж н а** – Словацкие фрагменты.
Перевод автора 147
- Юрий К у б л а н о в с к и й** – В Альпах. Стихи 181
- Семен Ч е р т о к** – Палыч 187

СТИХИ

- Иосиф Б е й н, Рина Л е в и н з о н,**
Лев Х а л и ф 210

РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

- Раиса Б е р г** – Варвары на обломках цивилизации 219

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

- Томаш М я н о в и ч** – Осло - Прага - Горький 253
- Эдуард О г а н е с я н** – Еще раз об армянском
вопросе 263

ЗАПАД – ВОСТОК

- Николас Б е т е л л** – Советская диверсия в
Западной Европе 273

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

- Маргарита Г и м е л ь ш т е й н** – Души наших
детей 291

ИСТОКИ	
Иосиф Дарский – Шаляпин и Горький	305
ИСКУССТВО	
Александр Глезер – Десять лет спустя	355
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Барбара Топорская – Живаго – свидетель эпохи	363
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ	
Адам Мицкевич – К русским друзьям. Пер. с польского <i>Анатолия Якобсона</i> (публикуется впервые). Послесловие Владимира Фромера	381
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	385
НАША ПОЧТА	389
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Игорь Ефимов – «И не уйдешь ты от суда мирского»	403
Ирина Элкони́н-Юханссон – Исход русской интеллигенции	408
Юрий Мамлеев – Энциклопедия творчества Бориса Зайцева	412
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	417
НАША АНКЕТА	
Интервью с Оливье Клеманом	427

Стихи из-за колючей проволоки

Валентин З/К (С о к о л о в)

СТИХИ конца 50-х – начала 60-х годов

ВАЛЕНТИН ЗЭКА

(Справка для будущей «Лагерной энциклопедии»)

СОКОЛОВ, Валентин Петрович. Родился в 1927. Впервые арестован двадцати лет отроду, статья обычная (58-10), срок типовой – десятка. В лагере начал писать стихи. Был освобожден – после девяти лет – досрочно, однако милосердия властей не оценил, полагая, что именно про него сложена лагерная поговорка: «Раньше сядешь – раньше выйдешь; раньше выйдешь – раньше сядешь» (см. «Лагерные поговорки и поговорки», т. 12). И в самом деле: для некоторых еще вдовся цвела и пахла «оттепель», а В. С. уже был арестован (1958), по той же статье и на тот же – десятилетний – срок. Обвинение: «стихи враждебного содержания». В 1968 году В. С. был освобожден, однако нрочная репутация неисправимого «антисоветчика» заставляла предполагать со значительной долей уверенности, что это ненадолго. В 1970 году арестован в третий раз. Формальный повод для ареста: в пьяном виде оскорблял милиционера* (см. «Богема», т. 3). Приговорен к пяти годам, а позже (когда именно, точно не известно) помещен в черняховскую психотюрьму, где, вероятно, находится и поныне (см. «Страдальцы», т. 21).

Личность колоритная, одна из ярчайших на лагерном небосклоне, В. С., по общему признанию, – талантливейший лагерный поэт. Лагерный – потому что всю жизнь сидит, потому что основной его слушатель-читатель – бушлатный народ, потому что все его стихи – о лагере; даже когда вроде бы не о нем – все равно о нем, проклятом.

* В принципе, и то и другое вполне вероятно. Как только заводилась у него в кармане копейка, ерофеевские ангелы напевали ему известную песнь. И милиционера мог оскорбить (если таковое вообще возможно). И пеню ангелов, и словесным выпадам в адрес явных, полуявных и тайных представителей любимой им власти я сам был свидетелем, когда на исходе лета 1969 года навесил В. С. в тошнотно скучном, навеки припорошенном серой угольной пылью городишке Новошахтинск.

Подписывался он – «Валентин З/К», этим фиксируя не только неизбывную тему свою, но и вечную обреченность на лагерь (см. «Сын ГУЛАГа», т. 9). О теперешнем его творчестве нет никаких свидетельств, однако с конца 50-х и все 60-е напролет В. С., несмотря на все отличие мордовских лагерей от дома творчества, писал чуть ли не ежедневно. На волю просочилась – увы! – лишь малая толика созданного им.

В начале 1984 года по ходатайству нескольких бывших зэков В. С. был принят во французскую секцию Пен-Клуба.

Эдуард Кузнецов

* *
*

В эту ночь серебром размерцались снега,
Голубым перелитые лаком.
В эту ночь арестант оторвался в бега,
Тот, кто часто смеялся и плакал.
Перед ним расступились стальные ряды,
И луна не звенела в решетках –
И остались за ним голубые следы
Отражением мертвенно-четким...
И по этим еще не отцветшим следам
Мчались люди пустыней безбрежной,
А с далеких высот золотая звезда
Им мерцала лукаво и нежно...
Все быстрее и быстрее ускорялся побег,
Чье-то сердце горело во мраке –
Через час на снегу голубой человек
И над ним голубые собаки.

* *
*

Луну помножив на луну
И сумму получив,
Поймешь, какие в тишину
Ночные льют лучи.
И, тишину на тишину
Помножив, ты поймешь,
В какую тихую весну
Ты маленький идешь.
И среди этих сумм ты сам
Почти что невесом,
Огромным темным небесам
Смешной веселый гном.

Леплей, 29. 4. 60

* *
*

На растоптанных святынях
Мне не ясен танец тот,
Тот на черных и на синих
Грубый серый разворот.
Говоришь – и рот изогнут,
И глаза бегут от глаз,
И серебряные вздрогнут,
На которых движем час.
На накрённом, неясном,
На скользящем от стены
Тишины искать на красном,
Нескользящей тишины.
У бровей твоих в изломе
Мой танцующий портрет.
В этом доме, в этом доме
В смерть накрёнился паркет.

* *
*

Без забот о прокормленьи
Кто мы? Только тени
И –
Кто мы?

* *
*

Убили Библию,
Убили белую лилию
сердца.
Свинцом раскаленным
Выжгли
Глаза Богородицы.
Вышли –
Выше ли вышли?
Как вам в пустыне ходится?
Вышки лагерей,
Вышки нефтяные...
Дальше смотрят, выше ли
Их глаза стальные?
Убили прямую линию –
Жить по кривой.
Пли, конвой.
В белую лилию сердца
Свинцом раскаленным.
Мы очень долго падали.
Нас пробивал пот.
Скажите, кто там из тюрьмы
Выходит – сердца купол храма
Поет: «Прости меня, мама», –
И чифир пьет.
Скажите, скажите,

Вы что-нибудь нашли
В этой каменной яме
Сердцем погашенным?
В этом каменном храме
Было ли вам страшно?
Было.
Не будем скрывать.
Сила ясная,
Как удар молнии.
Нары,
Мать в перемать,
Крови крылатые волны, –
Красная к ужасу скатерть...

* *
*

Так с лицом белее снега,
По которому бежал он,
Продолжал он нить побега
Тихо, яростно, без жалоб.
Знал, что где-то в недалеком
Лагерь, хипеж, крики, слезка...
Сумасшедшим жаждал оком
Угадать: орел иль решка.
И когда тот выстрел грянул
И хлестнула кровь живая,
Топором в забвенья канул
От солдат и злого лая.
И от злых собак ушел он
В ту страну, где сон и нега.
До конца надеждой полон
Продолжал он нить побега.
И сбежавшимся солдатам
На минуту показалось,

Что навстречу автоматам
На снегу лицо смеялось.

* *
 *
 *

Голод, голод, голод
Увлекает в черный цвет.
В черном цвете город
Стенами мелькает.
Так рождались из вращения
Рук и лиц полуживых
Половые извращения –
Темный блуд полунемых.
Голод, голод, голод
Увлекает в черный цвет.
Даже к смерти голос
Сердца привыкает.
Не разрядишь всех обойм,
Взятых землю удивить.
Искрометен танец вех
На цветах измятых.
Даже солнце тонет
В чаше неба голубой.
Тонет круг лица моего
В твоих пальцах сжатых.
Голод, голод, голод
Увлекает в черный цвет.
Твое тело голое
В моих снах мелькает...

* *
*

Мы противопоставлены
На грани дня и тьмы –
С одной стороны Сталины,
С другой стороны – Мы.
А жизнь такая белая,
Стократ белей белил,
И Берия был белым,
И Сталин белым был.
Душа и тело впроголодь,
Глаза сухим жнивьем,
Без проволок, без проволок
Мы вовсе не живем.
И мечутся Сократы,
Которых сократить
Солдаты – сталь во взглядах –
Идут.
Сократы мечутся –
Свой ум и совесть скрыть.
Мы противопоставлены
На грани дня и тьмы –
С одной стороны Сталины,
С другой стороны Мы.

ИЗ ДВУХ ТЮРЕМНЫХ КНИГ

*Перевод с испанского
Анатолия К о п е й к и н а*

НЕ ОБМАНИСЬ ВНЕШНОСТЬЮ

На самом деле, все они мертвы.
Бродя среди бутафорского картона,
они уже не творят своей истории –
представляют собою сюжет для небольшого рассказа.
Уже не возводят своих домов –
обитают в сборных коробках.
И не поют своих песен –
ставят пластинки, звучит граммофон...
Уже не слагают своих стихов,
говоря, что и прозы довольно.
Уже не могут и ненавидеть –
как им нравится классифицировать самих себя.
Смотри. Этот дом не просто дом –
на самом деле это кожа человека.
И слово – это не просто слово,
а трель птицы вселенной.
Но они ходят...
– Нет. Они просто изнашивают свои тела,
свои ноющие тела,
обесцвеченные трением,
со всеми их взаимозаменяемыми частями.
– И большой паяц тоже не...?
– Нет.
Он заблудился в чашобе зеркал,
он онемел в лабиринте эха.
– И тогда...?

– Не знаю. В глубине каждой вещи
есть фиолетовый отсвет...
Может, начать сначала.

29 ноября 1969

ТАМ, ГДЕ Я НАХОЖУСЬ, СВЕТА НЕТ,
а есть решетки.
Сразу за ними
освещенное пространство.
Значит, должен существовать свет.
Однако
далее тень лишь сгущается.
Повешенных более нет:
все они в пламени.
Что же, они внутри из керосина?
И они продолжают беседу,
двигаясь туда и сюда,
сюда и туда
нескончаемо.
Иные спят.
Кто-то вышел наружу.
Где-то есть солнце.
Нет сил выходить:
пойду спать.
Неизбежно буду просыпаться.
И так вот снова и снова.
Керосин же горит неослабно и жжет.

Декабрь 1969

* *
*

Это что-то вроде сплетения проволоки,
мешанина орбит и спиралей:
одни колючие, другие – с кусочками лезвий,
обломки ржавого железа,
медные клубки...
Я беру проволоку и тяну,
но узел сжимается туже, вместо того чтоб ослабнуть.
Хуже всего, что три птицы запутались там.
Проволока разрывает их.
Одна продолжает отчаянно и безнадежно сражаться.
Другая пищит и пищит, вызывая жалость.
Последняя уж неподвижна:
глядит умирающим взором и больше не дышит.
Грамофон повторяет: «если б я был...», «если б я был...»
Остальное – неясный и смутный шум.
Разбирать его бессмысленно.
Будет просто еще один пик,
который вонзается, как стилет,
в то, что уже не назовешь плотью.

19 января 1970

СЕГОДНЯ Я ПРИНИКАЮ К ТЕБЕ
с жесткой уверенностью призрака,
с сознанием моих ста тысяч неудач.
Оттого, что в мире мне некуда деться,
я войду в твою освещенную память.
Так как беспомощные слова свисают с моих губ,
я впиваюсь в твое имя,
которое не произношу.
Оттого, что все стекла – до последнего – запотели.

я держусь твоей отдаленной прозрачности.
То, что остается от моей израненной души
(а кроме этого, нет ничего под коркой
сухого навоза и сырого картона), –
все это я прикрепляю к стеблю твоей жизни,
чтобы жить, питая себя только сном.
Знаю, что я не имею права,
что все это – желание без рук,
желание без талии, без бедер, без груди,
нога без почвы, постель из волн.
Знаю, что не должен был ни – заявлять, ни – проявлять тебя,
Затаись внутри меня, как олененок,
который скакал в моем лесу из музыки и тьмы,
чтобы пережевывать твое имя в моем молчании
и чтобы одиноко сойти с ума, –
по мере того, как я убегал от мира.
Был глупым. Был слабым.
И так как показывал кровоточащее сердце
любому глазу и всякому клыку,
так же тебе я сказал посреди покинутых,
чтобы взять твою руку моей любовью
и увидеть тебя столь конкретно,
как теплого леопарда из золота и оникса.

(Без даты)

СКЕРЦО

Руки.....которые не хватают.
Сапоги.....которые не топают.
Грудь, изрешеченная ветром.
Руки.....для сорванных флагов.
Ноги.....ай! чтобы идти, идти.
Осколок мертвой песни
и жаворонок живого плача,

огненное сломанное копьё.
(Серьги заката.)
Моя бедная ступня на осколках стекла.
И дым на птицах.
– веревка ветра –
пространство – вибрация, и больше ничего.

3 мая 1981

ИГРА

Мы – трое; перед нами карты.
Джокер исполняет капризный пируэт.
Все возможно сейчас,
когда каждая карта демонстрирует обе стороны.
Дама оплакивает свою недостижимую отдаленность;
валет сдержанно посмеивается;
король занят проверкой своей бороды.
И четыре туза на столе.
Почти незаметно
пляшет раздвоенный огненный язык над сукном.
Настоящее остается неназванным
между солнечным зайчиком и пропастью.

15 мая 1981

СЫН, ТЫ....?

Сын, ты страдаешь?
(Это голос твой был, моя мать, что со мной говорил...
и твоя щека, и запах твой,
и теплая нежность губ твоих.
А я превращался в моря и болота:

все упавшие звезды тонули в своих водах,
в водах неустанных, мать, беспредельных.)

– Это ты, мой сын?

(Палец твой почти касался меня

посреди глубокой ночи,

остужая мне лоб.

Я же дрожал; и ежилось горло,
изводимое безмерной болью.

Болят у меня, мать, и кости и жилы;

у меня даже кровь разболелась:

и камень, что ранит мне грудь, тоже болит...

И эта пасть, что грызет мою спину.)

А ты так чиста, как жасмин в росе!

– Сын, ты страдаешь?

17 июня 1981

Хорхе ВАЛЛЬС АРАНТО родился 2 февраля 1933 г. в Гаване. В 1952 г., когда произошел государственный переворот Батисты, Валльс изучал философию и филологию, писал стихи, драматические произведения и очерки. Был одним из первых борцов против диктатора. Подвергся преследованиям, был брошен в тюрьму, а затем отправлен в изгнание.

Вернулся на Кубу в январе 1959 г. Его серьезный политический опыт помог ему быстро разобраться в диктаторской психологии Кастро.

8 мая 1964 г. был арестован и приговорен к 20-летнему сроку заключения.

В 1981 г. в Мадриде вышел сборник его стихов, написанных в тюрьме, – «Там, где я нахожусь, света нет...», переведенный на многие языки. Французское отделение ПЕН-Клуба заочно приняло его в свои члены. Ему присужден ряд международных литературных премий, в т. ч. «Гран-при» Роттердама, Международная премия по литературе Института культуры Пуэрто-Рико, Премия Свободы Французского ПЕН-Клуба. Весной 1984 г. в Майами вышла вторая книга его стихов. Летом 1984 г., через полтора месяца после истечения его 20-летнего срока, Хорхе Валльс был наконец освобожден и покинул Кубу.

ЛЮДИ МИМОЕЗЖИЕ

Книга путешествий

Памяти Раи Коган

Исполнена есть земля дивности...

Из заговора на любовь

Глава первая

СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА, ПОЛОТЕНЦЕМ ПУТЬ

1

Бывают друзья для радости и веселия.

Бывают друзья для горя и утешения.

Бывают друзья, которые и не друзья вроде: приходят незванными – тебе на облегчение, и уходят неприметными – когда полегчало.

Бывают, наверно, и такие, что на все градусы жизни, – но кто может похвастаться ими?

– Поехали, – сказал мой невозможный друг. – Я машину купил.

– Какую еще машину?

– Хорошую. Плохих не покупаем.

– А куда поедем?

– Да хоть куда.

– У тебя и прав нет.

– У тебя есть.

И мы поехали.

Это был потрепанный «Москвич» не первой молодости, с пролысынами на резине, с бельмом на фарах, с потертостями по корпусу, будто облезлая, хорошо поработавшая на веку лошадь.

– Ну! – гордо сказал мой невозможный друг. – Видишь? Захотел и купил.

– Дорого?

– Дорого, – сказал. – Но я еще не заплатил.

– А как же?

– А так же.

И показал мне ключи.

Мы сели в машину, и первым делом я стал проверять скорости. Первая воткнулась с натугой, вторая прошла легче, третья с четвертой тоже неплохо, – а где же задняя? Заднюю скорость я так и не нашел. Никак у меня не получалось.

– Одно из двух, – говорю. – Или я чего-то подзабыл, или нет у нее задней скорости.

Мой невозможный друг сидел уже по-хозяйски в машине, выставив локоть в раскрытое окно.

– А зачем нам задняя скорость? – сказал он. – Мы же поедем вперед. Трогай!

Но я не торопился.

– Если мы столкнемся с кем-нибудь, – спросил я, – то кто платит?

– Тот, кто нас стукнет, – ответил мой друг.

– А если мы стукнем?

– Если ты стукнешь, – уточнил он.

– Ну да, если я стукну, то кто платит: ты или я?

– А ты не стучай, – сказал мой невозможный друг и вынул из рюкзака бутылку.

– Это зачем?

– Снять городское напряжение, – ответил он и закусил яблочком. – Тебе нельзя. Ты за рулем.

Пока мы ехали по городу, было неуютно нам обоим посреди милиции, толчеи и светофоров, но на выезде я поднажал, ветерок загулял игриво, и друг мой повеселел сразу, возбуждился сверх меры.

– Это в чьей же машине мы едем? – кричал он в открытое окно. – Это чья же машина обгоняет вон того пузатика? Это на чью же машину капает дождичек?

Это кто же выглядывает да из чьей же машины?!

На заправке никого не было, но мы туда не поехали.

Мы отъехали чуток в сторону и встали бок о бок с гигантом-бензовозом, как котенок возле слона. Толстый его хобот был уткнут в люк на асфальте и мощно подрагивал. Возле стоял чумазый мужик в майке и глядел испытующе на нас.

– Жарко, – сказали мы.

– Жарко, – сказал он.

– Пивка бы теперь, – сказали мы.

– Неплохо бы, – сказал он.

– Кружечку, – сказали мы.

– Бидончик, – сказал он.

– Литровый, – сказали мы с надеждой.

– Трехлитровый, – сказал он.

Мы ссыпали ему в карман всю нашу мелочь, и в ответ он потянул из недр бензовоза нетолстый шланг и залил доверху наш бак. Количество бензина не играло тут никакой роли. Он даже не поинтересовался этим. Слон отпустил от своих щедрот котенку. Если бы мы попросили, за трехлитровый бидончик пива он залил бы доверху всю нашу машину вместе с салоном и багажником.

– Я тут по нечетным, – сказал шофер и потерял к нам интерес.

– Вот, – сказал мой невозможный друг, когда ветерок снова загулял по головам. – Таких ископаемых можно встретить только за городом. То ли еще увидим! В городе точно бы содрали на бутылку.

– Ты не прав, – сказал он через минуту, хотя я не сказал ни слова. – Патриархальные отношения. Натуральное хозяйство. Он нам, мы ему. При чем тут вообще государство? Оно отомрет скоро. За ненадобностью.

Тут нас потащило вдруг направо, потом налево, снова направо – и вынесло на обочину. Мотор заглох. Пыль осела. Мы сидели перепуганные и глядели друг на друга.

– Это чего? – спросил мой друг.

– Не знаю.

– Ты должен знать. У тебя же права.

– Это ты должен знать. У тебя же машина.

– Да, – согласился он. – У меня машина.

И вынул из рюкзака бутылку.

– Это зачем?

– Снять дорожное напряжение, – ответил он и закурил огурчиком. – Тебе не дам. За рулем – ни-ни.

Правое заднее колесо выглядело плачевно. Оно было сдуто и распласталось раздавленной лягушкой под тяжестью машины.

– Запаска есть? – спросил я.

– А кто ее знает, – ответил мой невозможный друг.

– Но ты как покупал: с запаской или без?

– Вообще-то, – похмыкал он, – я еще не покупал...

Вернее, я купил, но деньги пока не отдал... Но хозяин сказал, что там всё есть!

– Открывай тогда.

– Нет, ты.

На гряде хлама, что забил весь багажник, на самом его верху лежал старый, мятый, в прозелени самовар.

– О! – сказал невозможный мой друг. – Время попить чайку.

Вода у нас была – полная канистра. Шишки мы набрали тут же. Щепочки, прутики, бумажки. Сколько их нужно для одного самовара?

Бугорок в ромашках ждал уже за обочиной, дымил вовсю самовар, и мы прихлебывали кипяточек из алюминевых кружек на потеху и остолбенение пролетающего на скорости народа. «Чай да сахар, мужики!» А нам хоть бы что. Мы полотенцами утираемся. Сахарок хрумкаем. Из краника подливаем. На Руси еще никто чаем не подавился.

Тут мой друг бурно вдруг опьянел. От одного, может, удовольствия.

– Вопрос, – сказал он с едкой ухмылочкой, – это что такое вы кушаете, чай или сбитень? Ответ: сбитень.

Такое с ним случилось. В пьяном виде он наговаривал всякие разности, неизвестные ему, трезвому. Больше того, когда совсем отключался, то начинал говорить на каком-то иностранном языке, которого я никогда прежде не слышал. То ли на татарском, то ли на тюркском, а может и вовсе на парси. Когда был трезв, не знал ни одного иностранного слова. Даже – «мерси». «Через мои гены, – объяснял он, – толпами прошли завоеватели».

– Вопрос, – сказал он с той же ухмылочкой, – это кто же сотворил чудо такое, самоваристое? Ответ: а сотворило его товарищество паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева в городе Туле.

– Ты откуда знаешь?

– Знаю, – сказал гордо. – Я знаю много, но приблизительно.

После чего бурно вдруг протрезвел.

Потом мы ставили запаску.

Домкрат не лез в паз. Гайки прикипели. Ключ срывался и проворачивался. Колесо было протертое, лысое, со вздутием на боку и заплатой, из-под которой травило ощутимо. Ко всему еще набежала лужица бензина из неизвестно какого места.

Я лежал под машиной, выглядывал течь и бормотал проклятия.

– Это под чьей же машиной ты лежишь? – важно сказал мой невозможный друг и гадко захохотал.

Тяжелая масляная капля шмякнула меня по щеке, и я содрогнулся от омерзения.

– Это разве машина? – говорю. – Куда ты на ней доедешь?

– Я доеду туда, где нет еще напряжения. – И хитро сощурился на меня, что бывало с ним в минуты хмель-

ного недоверия: – Но тебя я с собой не возьму. Сомневающимся там не место.

– А кто поведет машину?

Мой невозможный друг огляделся:

– Найдем кого.

2

Тут он к нам и подошел.

Зыристый мужичок с пузатым портфелем.

– Четыре четыреки, две растопырки, седьмой вертун, – сказал сразу. – Попрошу ответ.

– Чего?! – вылупились мы.

– Ничего.

И глаза раздвоил с легкостью: один на меня, второй на друга.

Такого человека я никогда прежде не встречал. Сколько, казалось, прожил на свете, всех уже переглядел и всяких, а такого – в первый раз. Что-то было в нем непривычное, неукладистое, раздражающее и тревожащее, как знак какой на лице. Клеймо. Печать-отметина.

– Куда едем? – спросил он достаточно вежливо, чтобы вежливо ему и ответить, хотя я, если признаться, предпочел бы иной вопрос: «куда едете?»

– Я предпочел бы, – чванливо сказал мой невозможный друг, – такой вопрос: куда вы едете?

– Куда вы едете, – сказал тот, – я знаю. Вы едете туда, где нет еще напряжения. Но вам без меня не доехать.

И глаза согнал к переносице.

– Фамилия? – строго спросил мой друг.

– Анчутка.

– Должность?

– Чёрт вертячий.

– Дорогу знаешь?

– А то!

И мы поехали дальше.

Зыристый мужичок сидел возле меня, уложив портфель на колени, и сладко жмурился на солнце. Мой невозможный друг развалился на заднем сиденье, выставив в окно голые пятки, чтобы они остужались на ветерке, получал несравненное удовольствие.

– Это чьи же ноги... – говорил сонно, – да из чьей же... машины...

Мы ехали.

Дорога раскладывалась услужливо.

Жизнь по сторонам.

Смытые дали.

Из дверей в двери, из ворот в ворота, из поля в поле, в зеленые луга, в дальние места, путь-дорогою, сухим-сухопутьем, от востока до запада, от озера до болота, от горы и до дола, от реки и до моря, от пути до перепутья, от леса до перелесья, от стара до мала, от зверя до гада, от города до пригорода, от села до погоста.

Горы высокие, доли низкие, озера синие, леса темные, звезды светлые, небо чистое, море тихое, поле желтое: без меня – как же вы тут обойдетесь?

Как же вы обойдетесь, когда не будет уже меня?..

– Из Москвы? – спрашивает.

– Из Москвы.

А он:

– Живут в Москве не в малой тоске.

И подхихикнул.

– Из колхоза? – спрашиваю.

– Из колхоза, – отвечает.

– Как называется?

– Хорошо называемся: «Путь к чистилищу».

И опять подхихикнул.

– Чем хихикать, – говорю, – лучше бы дорогу показывал.

– Это мы – сейчас!

Вынул из портфеля детскую игрушку – руль на палке, с гудком, с ручкой скоростей, приладил между

колен. Едет – крутит рулем, библикает, переключает скорости: совсем как я.

– Ребенку, – говорит, – везу. Наследнику. Лохмотенький мой. Лохмотка. Кривой вражонок. Побаловать.

– Ну и прозвища, – говорю, – у вас. Нигде таких не слышал.

– Что вы, – говорит. – Сами удивляемся.

Тут – развилка.

Асфальт с проселком.

Основное шоссе с боковой дорогой.

Я кручу руль налево, на асфальт, он крутит направо, на проселок.

Поехали направо.

– Что вы, – повторяет, – что вы! Сами удивляемся.

Я – по тормозам!

Не работают...

А он:

– Плохая у вас машина. Совсем никудышная. Руля не слушается, тормозов тоже. Бросьте – я подберу.

А сам крутит всю руль, скорости переключает – старается.

Я ему – шепотом:

– Ты кто?

А он:

– Анчутка. Чёрт вертячий. Сколько повторять?

Дорога хужела на глазах. Узкая – не развернуться. Выбоины. Плечи. Ямы. Колдобины. Потом камни с песком. Корни. Пеньки под колеса. Я уж и за руль не держался. Чего держаться? Он сам всё делал...

Тут подлетел на колдобине мой невозможный друг, закричал спросонья:

– Поворачивай назад!

А он отвечает:

– Такого, чтобы назад, у нас не бывает. У нас бывает только вперед. Да у вас и задней скорости нету.

Тут – лесина поперек дороги.

С ветвями, корнями, сучьями.

Сунулась оттуда рожа пройдошная, кричит сиплым басом:

– Стой!

Мы встали.

– Четыре четыреки, две растопырки, седьмой вертун. Попрошу ответ!

А наш ему – тут же:

– Корова.

– Правильно, – говорит. – Проезжайте.

И лесина уползла с дороги.

– Кто дежурит? – спрашивает наш.

А тот в струнку тянется:

– Кожедёр, Сучий Потрох, Худой, Дранный и Пастыпорванский.

– Продолжайте наблюдение.

И мы поехали дальше.

– Это кто? – спрашиваем.

– Шишиги, – небрежно. – Мелочь пузатая. На рубль кучка.

Тут мы выехали на бугор и встали.

Озеро внизу – глаз Божий. Орешник по берегу. Осинник. Ели трезубцами. Лист желтый. Гроздь красная. Волна светлая. Небо опрокинутое. Благодать мест невозможная.

Зыристый мужичок убрал руль в портфель и полез из машины.

– Место заповедное, – сказал на прощание. – Глядеть можно, трогать нельзя. Чтобы не нарушить естественный процесс. Ясно?

– Ясно.

И быстро:

– Четыре четыреки, две растопырки, седьмой вертун. Попрошу ответ.

– Корова, – хором сказали мы.

Бугор уходил книзу шелковой, переливчатой травой – мехом дивного, ухоженного зверя.

– Ах! – задохнулся мой невозможный друг и прямо из машины завалился в блаженство. – О светло светлая и украсно украшенная земля Русская! И многими красотоми удивлена еси...

Зарывался лицом в траву. Нюхал. Чихал. Стонал. Рвал стебельки зубами. Терся животом. Полз по-ужиному. Покряхтывал. Причмокивал. Разевал обалдело рот. А потом покатился, кувыркаясь, по склону.

Я ехал тихонько следом: тормоза работали, руль слушался, – чего еще от машины надо?

На середине склона стоял поперек длинный барак об одно крыльцо.

Горел возле костерок.

Вода вскипала в котелке.

Суровый, однорукий дед в гимнастерке, придавив ногой нож к пеньку, ловко стругал кожуру и очищенные картошки кидал в котелок.

Мой невозможный друг докатился до пенька, раскинул руки на стороны, любовно глядел снизу.

– Дед, – сказал радостно, – я тебе так рад! А ты мне рад, дед?

– На всех не нарадуешься, – сказал дед строго. – Прикатился – живи.

– Экий ты, дед, – сказал друг укоризненно. – С тобой не расслабишься.

Тут сбоку, по тропке, вышел вперевалку паренек в кепочке, плотный, чубатый, бугристый, коротконогий и широкошей. Следом за ним, словно телочка на привязи, робко и покорно шла рыженькая девушка, глаза прикрывала скромно, блузку оттопыривала туго.

– Дед, – хрипато сказал парень, – пустишь?

Дед только бровью повел, и они без остановки прошли в барак.

Мой невозможный друг жадно глядел с земли:

– Дед, это кто?

– Нашенский, – пояснил дед. – Вася-биток.

– А она?

– Из дом отдыха. Он их тут колупает. По списку.

Мой невозможный друг уже стоял на коленях:

– А у тебя там чего?

– База туристская – вот чего. Сорок одних коек, и все незанятые.

Мой друг возбудился сверх меры, скоком скакнул на ноги.

– Дед, давай поначалу рыбки наловим!

– Наловлено, – сказал дед.

– Дед, давай ушицы наварим!

– Наварено, – сказал дед.

Сели. Разобрали ложки. Поломали хлеба краюху.

– Дай Бог подать, – сказал дед истово. – Не дай Бог принять.

Приладились. Откусили хлебушка. Разом черпнули.

– Жидковатая, – сказал друг.

– Не ешь, – сказал дед.

Обиделся. Отложил ложку.

– Дед, да ты знаешь, кто мы?

– Не залупайся, – сказал дед.

После чего мы развязали рюкзак, достали, разлили, выпили. Дед занюхал корочкой.

– Магазинная, – сказал уважительно. – У нас такую не пьют. У нас своя.

Достал, показал, бултыхнул: муть поднялась с доньшка.

– Дед, – заорал мой друг, – не открывай! Не открывай, дед, я себя знаю!

Дед не послушал – открыл.

Как кулаком ударило. Через ноздри в мозг. Бряк! – друг мой завалился. Ему от запаха плохо. Ворона на ле-

ту – бряк! И ей плохо. Один я – не бряк. Я за рулем. Мне нельзя.

– Свекольная, – сказал дед. – Сам гнал. Коня на скаку остановит.

Тут мой друг приоткрыл один глаз, посмотрел на нас с ехидным прищуром да и говорит из глубин опьянения:

– Роспись водкам. Водка из крапивы. Водка из Божьего дерева. Водка из травы чечюни. Водка из травы пионии. Кумышка. Извинь. Полугар с пенником. Да для тезоименитства государыни: коричной водки, анисовой, приказной, гвоздичной, кардамонной, кишнецовой – по четвертной склянице.

– Вот, – говорю деду. – Знай наших! Протрезвеет – ничего не помнит.

Тут примчался на запах Вася-биток, глотнул из бутылки мутной отравы, ухнул, крикнул – и назад, в барак, за тем же делом.

Тут примчался от озера, через кусты – с лица тёмен, глотнул, заулюлюкал – и назад. Только пятно мокрое оставил. Одно углядели: нос с хороший сапог. Да глаз красный. Да сам в прозелени.

Мой друг сразу протрезвел:

– Дед, это чего?

– Нежить, – пояснил дед и зачерпнул ушицы.

– Чего, чего?!

– Водяник. Дедушка водяной. Погреться.

– Понятно, – сказали мы хором и оглянулись на озеро.

Озеро внизу засинело, загустело, утекала куда-то легкая, беззаботная голубизна, а взамен наливалось глухое, тягучее, томительным беспокойством ночи.

Красные гроздья заметно почернели.

Лист желтый терял на глазах цвет.

Рябь пробежала от берега, как по коже вспугнутой лошади.

Тяжелым плеснуло у мостков.

Воронка утянулась книзу, будто всосали со дна воду, и лопнула с тугим чмоканьем.

Бурун прошел под орешником: мощный бурун вспененной воды.

– Сом, – сказал дед. – Конь чёртов. С реки приходит.

Прихватил губой бумагу, ссыпал табачку из кисета, ловко укрутил ладную цыгарку одной рукой. Запалил, привалился по-удобному – время к разговору.

– Ездите? – спросил для начала.

– Ездим, – ответили.

– А чего ездите?

– А чего нам не ездить?

И подлили ему магазинной.

– Дед, – спросил невозможный мой друг, – озеро как называется?

– Тебе зачем?

– Интересуемся.

– Озеро наше, – затемнил, – без дна. Никто еще не доныривал, и леса не хватало.

– А ты при нем кто?

– А я при нем в сторожах.

И замолк, как проговорился.

Еще подлили магазинной.

– Дед, а дед. Тебе кто платит за работу? Город?

– Город, – сказал. – С вашего с города ноги протянешь. Мне озеро платит. По инвалидности. Виновато – вот и кормит.

И дальше говорить не пожелал.

Даже стакан отставил.

Долили остатки. Вытряхнули до капли. Пододвинули.

– Пей давай. У нас много.

Вздыхнул, опрокинул, занюхал корочкой: с такого с угощения положено отдаривать.

– С нежитью, – сказал с неохотой, – на спор тягался. Год целый не бриться, не стричься, соплей не смор-

кать, нос не утирать, одежды не переменять. Молодой был, озорун, дурак нагольный: взял да и выиграл. Он на меня со зла щуку и напустил.

И замолчал.

– Дед, – раскричался мой друг, – не положи мозги! Такого и быть не бывает!

– Ясное дело, – сказал дед. – Сами не темные. Я ее потом поймал, щуку-то. Где, говорю, моя рука? Куда подевала? – И закончил с поучением: – Там она нас, тут – мы ее.

– Дед, – сдался мой друг, – а он хоть какой? Вредный или не слишком?

– Когда как, – сказал. – А ты шильце ему кинь, мыльце, голову петушиную. Сапог худой с портянкой – задобрить. Водочки вылей в омут, хлебушка покроши: это он уважает. Деды наши лошадь топили – на угощенье. Где у нас теперь лошади? Всех перевели... Трактор, вон, утопили спяна на тот год – ужас как осерчал, рыбу всю перемучил.

– Дед, – говорю, – а он куда девается с прогрессом жизни?

– Раньше, – сказал, – в старые времена, его уж и на развод не было: всю нежить закрестили. А нынче опять развелось. Церквей-то нету, вот и ладь с ним.

4

Тут пришагал из барака Вася-биток, привел за руку девочку-телочку. Шла – опадала в коленях, глаза прикрывала блаженно.

Вася подсел к костерку, подхватил котелок с ушей, стал глотать через край жидкую гущу с костями. Девочка стояла возле, перебирала подол, вздыхала шумно и взволнованно.

– Нас в дом отдыхе кормят, – басом сказала девочка. – Первое-второе, на заедку – компот.

Мой невозможный друг положил на нее внимательный глаз:

– Слушай, тебе помощники не нужны?

– Нужны, – сказал Вася-биток. – Девочек приводить. Пока ходишь взад-назад – время идет.

– Так, да? – насутился друг. – А ну пойдём, отойдем.

– Пойдем, – сказал Вася и отставил пустой котелок.

– А чего это я пойду? – передумал мой друг. – Мне и тут хорошо.

И посвистел независимо.

А Вася-биток на это:

– Тут меня ребята прихватили. Из дом отдыха. Девочек отбивать?.. Я из их и зачал лапшу-то крошить. Гнал до самого города. Жикнул – готов! Жикнул – другой! Воротился – этаж обработал. Да сестру-хозяйку впридачу.

Помолчали.

Прикинули.

Представили зримо.

Девочка-телочка задрожала, как лист осиновый.

– Некогда мне с вами, – сказал Вася. – Перебирать перебирушки. Девочек много, а отпуск у них малый – двенадцать дён. Всех не обгулять.

И повел ее назад, в дом отдыха.

И заорал уже за кустами:

– Девка, стоя на плоту, моет шелкову фату. Прошла тина, прошла глина, прошла мутная вода...

А она в ответ – нежно и жалобно:

– Лучше в море мне быть – утопимой, чем на свете жить – нелюбимой...

И нет их.

Друг мой обиделся – губы побелели.

– Дед, – сказал, – меня огорчили. Песку к сердцу присыпали.

Подхватил непечатую бутылку и пошел вниз, к озеру, в темноту.

Я за ним: утонет еще...

Ушел на мостки, на самый их край, лил водку в озеро, бурчал-выговаривал:

– Дедушка! Дедушка водяной! Они меня обижают. Люди плохие. Помоги, давай, дедушка! Укрепи. На любовь. На этаж целый. На сестру-хозяйку впридачу. На остуду к Васе-битку. Меня не ценят красивые девушки, но все они будут мои...

А тот слушал, хлюпал, сочувствовал.

– Дедушка! Научи, дедушка! Хоть за что хошь... Машину утоплю, себя не пожалею: я иду к тебе, дедушка!..

Расстегнул пояс, стянул штаны: черные сатиновые трусы до колен.

– С такими трусами, – говорю, – и на что-то еще рассчитываете?

Размахнулся – запустил в меня бутылкой: только свист в темноте.

Трах-тарарах!

– Ой, – говорит, – это куда я попал?

И шепотом:

– Маа-ши-на...

Мы промчались по склону, через кусты, не разбирая дороги, и выскочили на открытое место, к бараку.

Переднее стекло разнесло: как не было. Только осколочки на капоте – переливчатой кучкой. Да черная дыра – вглубь машины.

– Ах, дедушка, дедушка, – сказал мой невозможный друг. – А я-то на тебя рассчитывал...

Опустился на траву, привалился спиной к дверце, хитро на меня сощурился:

– За машину-то еще не заплачено...

– Ну и что?

– Может, такая она и была?

Догорал костерок.

Тьма обступала заметно.

Холодок понизу.

Дед однорукий пристыл на месте – не шевелился, а под боком у него – тень извивистая, гибкая, как ручьем стекающая.

Жалась к нему – жалилась.

– Засентябрило. К ночи стыло. Вася-биток на городских лютует, своих ему мало. Всё за двенадцать дён хочет поспеть, да где там? Дом-то отдыха – вон он какой! Обеды, и те в три смены. А тут – свои рядом. Промерзлые. Необласканные. Тех не хуже. Обидно нам, деда.

А дед:

– Я обласкаю.

– Одной-то рукою?

– Мало тебе?

Вздых.

Тишина.

Горловой хохоток:

– Хо-о-рошо... Тёпла пазушка...

Пошел к бараку, повел за собой: волосы до земли – водопад зеленый...

И дверью хлопнули.

– Ах, так! – оскорбился мой друг. – Не желаю я тут оставаться.

И ушагал назад, к озеру: черные сатиновые трусы до колен.

5

Исполнена есть земля дивности...

Мы шли вёрхом. Темнота обступала плотно. Тропка сама подкладывалась под ноги. Озеро наше – невидное и неслышное – затаилось внизу до случая. Луна еще не поднялась, и мрак был такой – не углядеть самого себя.

Мой невозможный друг, слезливый от огорчения, шел впереди и бормотал через шаг:

– Меня. Никто. Не любит. Никто-никто. Одного меня.

– Ошибаешься, – говорил я, задремывая на ходу. – Тебя все любят. Все-все.

– Нет, – злился. – Я лучше знаю. Других любят, а меня нет.

– Любят, – настаивал я. – Тебя все любят, и даже чересчур.

– Чересчур! – обижался. – Других – сколько влезет, одного меня – чересчур! – И кричал в голос: – И хорошо. И не надо. Меня и не должны любить.

– Должны, – говорил я, слабея, не в силах разорвать эту паутину. – Кого же тогда любить, как не тебя?

– Замолчи! – кричал. – Ты меня огорчаешь.

Тут я налетел на него, и мы повалились на тропу.

– Поспим, – сказал я. – Очень оно кстати.

– Тихо!

Стон прошел над водой.

Как далекий и долгий выдох.

Стон проплыл над головами.

Как нескончаемый журавлиный клин.

Стон без конца, многими голосами: жалобный и манящий.

Луна сунулась над верхушками, дорожку проложила по озеру, и на том на ее конце – или на том берегу? – тени-истуканы, руки простертые, стоны призывные: приходи и бери.

Мой невозможный друг полыхнул огнем:

– Зовут... Это меня!

И полез было с косогора.

– Не пуцу. Утонешь!

– Да я вплавь... Тут недалеко...

Пыхтели, чертыхались, копошились на тропе.

Тут – смешок понизу.

Тоненький, тоненький, как от щекотки.

– Пойди, пойд... Только скажи прежде, как поминать.

Глядим: что-то забелелось в воде, в полосе лунной, заполоскалось у берега.

Забоялись, затихли на тропе.

– Русалка... – говорит мой друг.

Я присмотрелся:

– Да она в одежде.

– Значит, утопленница. – И к ней: – Телефончик не дадите?

А оттуда – голоском дразнящим:

– Нету у нас телефончика. Один на всё озеро, да и тот на лесопилке.

– Только мигните, – сказал друг заносчиво, – я эту вашу лесопилку тут же закрою.

– Не надо, – говорит. – Пусть живет.

Поднялась снизу женщина – на ногу легка. Рубаха белая, мокрая, длинная: облепила, как пропечатала. Стоит перед нами, волосы под луной чешет, глядит жгуче, смаргивает то и дело. Лицо бледное, стан гибкий, талия тонкая, грудь пышная, бедра девичьи, волосы до земли.

– Куда путь держите?

– Туда, – отвечает мой друг, – где нет еще напряжения.

– Эва, – говорит, – далёко собрались.

А он уже поплыл от видимых прелестей, бурно разыграл чувствами, забормотал в озарении:

– Русалка. Купалка. Моргунья. Шутовка. Лоскотуха. Берегиня. Мавка. Лохматка. Водит хороводы, плетет венки, играет пылью, бегаёт во ржи, прельщает мужчин и ненавидит женщин. Боится креста, очерченного круга, чеснока, заговора. Хорошее средство от нее – полынь. Шоно, шоно, шоно! Пинцо, пинцо, пинцо!

– Знает, – сказала уважительно. – Откуда бы?

– Сами удивляемся.

– Я не русалка, – вздохнула. – Но идет к этому.

Стон прошел над водой.

Яростный и печальный.

Озеро зыбью заморщилось.

Голоса проявились отдельные.

Слова отличимые:

– Не ухо-дiiiiи-тя... Она поор-ченая... Мы жа... не в пример... луууачша...

– Это кто?

– Бабы, – сказала. – С текстильной фабрики. Безмужичье у них. Вот и выходят на берег, зазывают кого ни есть. Вася-биток – уж на что зверь, и тот опасается. Теперь долго не утихнут – мужиков учуяли.

И пошагала проворно.

Друг – за нею.

Я – за другом.

За нами – стон над водою: толчком в спины.

Этот стон у нас... как-то зовется?

Мелодия – сквозь зубы.

Плач баб по мужикам – выбитым, сбежавшим, спившимся, сгнувшимся, незаведённым, незавезённым, незапланированным, неродившимся, незавязавшимся, непоклюнувшимся, поманившим, поматросившим, попользовавшимся, померещившимся, проклятым, постылым и желанным.

Время всё утишает.

Расстояние – тоже.

Мы уже бежали за белой рубахой, что мелькала проворно впереди, ветви били по лицу, корни цеплялись за ноги, но нам было нипочем. Через кусты колючие, через сучки цеплючие, через стебли мясистые и буреломы непролазные, через гниль заваленных стволов и хруст сухого валежника: не удержать. Рев звериный, шип змеиный, крик совиный! Нас заманивало, затаскивало, затягивало без возврата: обаяние-чарование, обольщение-ошаление, отворот с морокой, – нам не впервой!

Ночи темные.

Луны круглые.

Тени бледные.

Годы светлые.

Так мы добежали до высоченного забора, до невидной его калитки, куда она и проскользнула, прогремев на прощание засовом.

– А мы? – завопил потрясенный мой друг. – А я?! Не поговорили, не насмотрелись, адресами не обменялись.

Она глядела на нас через частый штакетник. Строго и придирчиво.

– Вам нельзя, – сказала. – У вас свой путь.

И пошла прочь, наклонив голову, белым мелькнула через кусты.

Мой невозможный друг запричитал по-старушечьи, тонко, нараспев, голову потеряв от обиды:

– Ворота заперты, двери затворены, столы не приготовлены... Это с какого вы позволения ворота запираете, двери затворяете, столов не готовите?.. Если хочешь знать, – сказал вдруг запальчиво, поперек причитаний, – я ее уже люблю!

И полез через забор.

Я за ним: пропадет еще...

6

Домики стояли на пригорке, как на открытой ладошке.

Темные.

Безжизненные.

Заколоченные наглухо.

Доски на окнах – крест-накрест.

Мы шли сторожко открытым пространством. Песочница. Качели. Низкие скамейки. Ссыпавшийся песочный куличик. Позабытый совок. Лист мертвый, никем не сметаемый. Грусть оставленных помещений.

Мой друг обернулся ко мне: глаза от восторга шальные.

– Еды завезем! Водки натаскаем! Дров наколем!
Капусты насолим! Огурцов. Картошки в подпол. Консервов разных. Книги. Разговоры. Музыка. Снегу по пояс. Проживем до весны – хрен кто узнает.

– А милиция?

– Вот – твоей милиции.

И показал руку по локоть.

Кто-то глядел на нас из темноты. Тяжело и давяще.
Как к месту гвоздил.

– Это чего? – говорю.

– Луна.

– Луна наверху, а оно сбоку.

– Всё-то тебе чудится.

Он уже раскачивался, стоя на качелях, отмахивал выше и выше, с торжеством оглядывал окрестности.

– Царство, – говорил под взмах. – Заколдованное.
Красавица, – говорил под другой. – Спящая. Поищем, – говорил. – Поцелуем. Разбудим по надобности.

– Красавица, – говорю, – не спит. Она в озере купается.

– Ну и что? Искушается – и снова в постельку.

И захлебнулся слюной.

– Чтобы перезимовать, – говорю, – нам мало одной красавицы. Хорошо бы две.

– Тебе-то зачем? – сказал он заносчиво с высоты качель.

Кто-то глядел на нас из-за ближнего домика. Злобно и пугающе. Даже зрачком вроде блеснул.

– Видал? – говорю.

– Видал.

– Это чего?

– Может, хозяин здешний?

И рот захлопнул.

– Какой, – говорю, – хозяин?

А оглянуться – страшно...

Тут он подлетел повыше:

– Ой! – говорит. – Свет в окошке.

И мы пошли на свет.

Открылся дом – в стороне от прочих, окно приотворенное, занавеска отдернутая, женщина в белом, задумчиво склонившая голову. Сидела, ничего не делала, как ждала кого-то.

Мой невозможный друг крутнулся на каблуках от возбуждения, кинулся к заглохшей клумбе, стал рвать под корень мелкие, привядшие уже астры. Нарвал, обобрал вялые лепестки, подошел, крадучись, к окошку, кинул цветы внутрь.

– Ваня! – горлом крикнула женщина и рывком отпахнула створки. – Ваа-ня!..

А глаза – в поллица.

– Это кто, – хрипло, – сделал?..

Опадала, увядала, усыхала в размерах.

– Я...

– Зачем?

– Захотелось.

Оглядела его, как прожгла:

– Ну, спасибо. Будет тебе за это нечаянная радость.

– А мне?

Оглядела и меня.

– Про тебя не скажу. Ты для меня – с лица темен.

Ушла в дом, сказала оттуда:

– Найдите медпункт. Там отперто. – И добавила глухо, подрагивая, лицом зарывшись в цветы: – На вдовый двор... хоть щепку брось...

А мы пошли прочь, виноватые и пристыженные.

7

Мы лежали, скорчившись, на детских кроватках, матрацев на них, естественно, не было, и железные сетки впивались в наши бока. Луна глядела в окно, беспокойная и настороженная, будто ожидала от нас какой-нибудь пакости, да дышал кто-то снаружи, за тонкой стенкой, прямо возле наших голов: мощно и размеренно.

Попробуй – засни.

– Неудобно, – сказал я после паузы. – Ноги затекают.

Мой невозможный друг круто повернулся на сетке.

– И пусть, – сказал капризно. – Пусть неудобно. Пусть затекают. Так нам и надо.

И закричал на луну:

– Хочу неладно! Пусть будет неладно! Желаю из принципа!

Тут она и пришла. Легконогая. Волосы узлом. Пестрый сарафан до пола. Глаза притушены ресницами. Принесла еды: картошки горячей, огурцов, хлеба ломтями, масла постного, молока бидон. Поставила на пол, к нашим кроватям.

– Чего уж... – сказала. – Раз вы тут.

Мой невозможный друг застонал в голос.

– Женщина, – сказал. – Мы больные. К нам надо относиться бережно, женщина.

После чего мы принялись за еду.

Макали картошку в масло, потом в соль, пихали в рот хлебную мякоть, хрустели огурцом, запивали по очереди из бидона. Она сидела на полу, спиной к стенке, лицо ее было в тени, и только зрачок блестел изредка: остро и раздражающе.

Молчала. Глядела неотрывно. Не разберешь на кого.

– Это чей детский сад? – спросил мой друг в промежутке.

– На что вам знать?

– Любопытствуем.

Ответила не сразу:

– Сад наш, – сказала, – как все сады. Летом дети отдыхают, зимою пустой стоит.

– Темните, женщина, – сказал мой друг.

– Темню, мужчина.

Еще поели.

– А вы чего тут? – спросил я.
– А я тут сторожем.
– И зимою?!
– И зимою.
– А если кто обидит?
– Меня не обидишь, – сказала. – У меня собака – зверь лютый. Вся округа опасается, стороной обходит.
– Да где она, ваша собака? Мы уж сколько тут бродим, а ее нет.

Усмехнулась:

– Время, значит, не пришло.

Кто-то вздохнул за стеной. Боком потерся о домик. Бидон поехал по полу.

Подхватили. Отхлебнули. Хрустнули огурцом.

– А не скучно? – спросил мой друг. – Зима-то долгая.

– Чего мне скучать? Что ни день – гости.

– Я знаю! – закричал. – К вам этот ходит! Чёрт вертячий!

Она и не удивилась:

– Берите выше...

Осталась последняя картошка.

– Кому? – спросил мой друг.

– Ему, – сказала она. – Тебе уже хватит.

Тут я, должно быть, заснул. С картошкой во рту. Выпал из разговора. На время потерял слух. Обоняние с осязанием.

Очнулся, как укололся: минуты не спал.

Тени пристыли у стены. Рядком. Голова к голове. И голос глухой, невторопях, через вату.

– ...сколько мне было тогда? Семнадцать было, да еще месяц. Он у нас во дворе – самый был светлый. Ванечка... Пошла с ним на отдачу.

И опять помолчала: или это я заснул?

– ...привел он меня в подвал, под самым домом: пыль, паутина, стул колченогий, кушетка, – не иначе, с помойки. «Тут?» – говорю. «Тут», – говорит. «Ванечка,

– говорю. – Не о том я мечтала, Ванечка, чтобы честь свою отдавать в чулане. Она же у меня одна, Ванечка... Или тебе без разницы?» – «Не, – говорит, – и мне с разницей...» Не состоялось на тот раз.

Помолчала.

– Друг твой – не спит. Слушает.

– Пускай, – отмахнулся. – Я бы ему и так рассказал.

– Ты-то?

– Я-то.

– Это у тебя со всяким?

– Всяких-то у меня – обчелся.

Чего-то они там пошуршали, потерялись, приладились поудобнее.

Долгие разговоры...

– ...зима. Снег завалами. Мороз трескучий. Ночью, в третьем часу, влетели в форточку красные тюльпаны, огромные и замерзшие, легли без звука на пол. Я побежала к окну, в одной рубашке: он уходил по улице, рукой махал на прощанье, Ванечка мой светлый... Потом была комната – общая, огромная, метров под сорок, поделенная ситцевыми занавесками. Угол деда, угол бабки, угол брата, наш угол. Да посередке – сестра с детьми, ни от кого прижитыми. Дедпил горькую, валялся у помоек, носом в собачью мочу, в злом протрезвлении орал на бабу: «Кланька, Кланька, Кланька... Гнида, гнида, гнида...» Бабу работала на мясокомбинате, волокла домой требуху ворованную, обмирала в проходной от страха, отлеживалась потом на кровати до самого утра, а утром – снова на казнь. Этой требухой и кормились, да еще покрикивали: «Мать, принесла бы колбаски!» А она в ответ: «За требуху-то, может, еще и скостят»... Брат что ни ночь приводил другую бабу, пил, пел, хрустел кроватью за занавеской. Лют был: бабы от него верещали по-страшному, спать не давали. Ванечка мой светлый бил меня кулаком в лоб, как быков бьют на бойне, запихивал в шкаф, замыкал на ключ. Я его молила тихонько, не

один час: «Выпусти, Ванечка, выпусти. Задыхаюсь, Ванечка...» Открывал шкаф, валилась замертво на кровать: тогда он меня брал. «Мне без разницы, – говорил. – Тебе с разницей, мне – без»... Он не работал тогда, а я зато бегала на фабрику, получала шестьдесят рублей. Несу получку, стоит – ждет, руку тянет мой Ванечка. Копейки не было. Вечно голодная. Хоть на побор иди. Девки на работе бегали от меня, чтобы взаймы не просила. Он всё пропивал. Вечером приду с работы: сидит с гитарой, ждет. Шляпа на голове, воротник поднят, усы подрисованы: сажает меня на кровать и песни поет. Есть охота, спать охота, а он не дает. Он меня весь день ждал, Ванечка мой светлый, он у меня артист. А задремлю – кулаком в лоб, и в шкаф... Была у меня подружка, мать у нее на молокозаводе. Жалели меня, кормили: придешь – сразу тарелку ставят. Даже не спрашивают. Чего спрашивать. Я всегда голодная. Раз привела Ванечку: он всем понравился. Он у меня светлый был, обходительный когда надо: разговоры, гитара, музыка... Пришла к ним в другой раз, а они тарелку не ставят. «Всё ты врала, – говорят. – Такой парень хороший!» И кормить перестали... Раз бегу с работы, голодная, промерзшая, а он в шашлычной сидит, за стеклом, барин-барин: получку мою проедает. Баба с ним, шашлыки на тарелках: тут меня и вырвало от голода... «Ванечка, – говорю, – а Ванечка! Нету моей мочи. Шел бы ты работать». А он: «Мне без разницы». Пошел в дворники – не ужился. Шибко гордый. Пошел на мясокомбинат, к матери, я ему подкладку у пиджака распорол, чтобы колбасу выносил. И опять запил, не работал: дома сидел, меня ждал. Как приду – сразу за гитару. Ходили с ним на рынок, в очереди стояла в бедняцкой, – тухлятина одна в ларьке, хвосты с ушами, – а он в сторонке ожидал, воротник поднят, очки черные: ему стыдно. Трескал зато потом – за милую душу... Начну его ругать, а он меня дернет за ногу – головой об пол. «Вот, – говорит. – Пару часов можно попеть». И сидит, струны перебира-

ет, Ванечка мой светлый, артист... Вынул меня из петли, ноги целовал, прощения просил: «Чудо моё!..» Пять лет отжила с ним. Ушла – он вены перерезал. Звонил из больницы на работу, шелестел без сил: «Приди». – «Нет!» – «Ты такая чуткая была...» – «А теперь – без разницы». – «Тебе без разницы, мне – с разницей!..» Бабка письмо мне прислала: «Ни о чем давно не мечтала. Мечтаю чайку с тобой попить на кухне»...

Помолчала. Сказала жестко:

– Всё теперь хорошо. Живу тут. Стоит изба, в избе доска, под доской тоска. Только цветов никто не кидает...

– Я кинул.

– Ты кинул. Будет тебе за это нечаянная радость...

Тут я опять отпал.

Как в самого себя провалился.

Выкарабкался – лепились они друг к другу, шептались, вздыхали, клонились заметно к полу.

Тут друг мой взвился от восторгов, его переполнявших, воспарил и взмыл в цветистом словословии, – откуда что взялось:

– Не любодеец я, и ты не любодееца, не любопохотные, но неистово любосластные, и любоблюбным огнем палимые, желаем мы нынче иметь любление, ибо любивый я, а ты моя любленица, и любство свое мы теперь учиним, – да не иссякнут любви наши. Аминь!

И упал вниз коршуном...

– Э-ге-геееее...

Звук прошел от озера.

Как позвали кого-то.

На долгом-предолгом выдохе.

И еще:

– Э-геге-еееее...

Она отстранилась от друга моего невозможного, замерла в чуткой настороженности, а оттуда, с озера, яснее уже и нетерпеливее:

– Шоно, шоно, шоно... Пинцо, пинцо, пинцо...

Она уходила к дверям: от протянутых рук, от липких глаз, от пробужденных чувств, – глина пудами на ногах.

Она уходила из дома, лицом оборотившись назад, сослепу шагая за порог, в пустоту, в глухоту, в холод луны сентябрьской.

Она шла по высоким травам, руки опустив понизу, и лицо становилось бледнее, и глядела жгуче, смаргивала чаще, и узел развязался сам собою, волосы уронив до земли, а от озера уже покрикивало, как подхлестывало:

– Шоно! Шоно! Шоно! Пинцо! Пинцо! Пинцо!..

И ждал кто-то в кустах, на краю воды, – или это ветви так переплелись? блики разложились? – глазами красный, телом в прозелени, носом – с хорошей сапог.

И мокрота разливалась понизу...

Мой невозможный друг издал вопль пронзительный, кинулся следом, не разбирая дороги, я помчался за ним, но дорогу загородило чудище, зверюга невозможная, клыки обнажила лениво. Известная порода – московская сторожевая: не собака – тигр лютый, лошадь кусучая. Шла на нас молча, грудью пихала небрежно, а друг мой несчастный, голову потерявший от горя, пятился перед нею обратно к домику, себя уговаривал на храбрость:

– Ну и что же, что собака... И что же, что собака... И что же...

Но храбрости не прибавлялось...

8

Мы лежали, скорчившись, на детских кроватках, униженные и несчастные, и собака сидела снаружи, задом придавила дверь: не откроешь. А там, внизу, озеро ходуном расходилось: крики, всплески, стоны, восторги пронзительные до неба, бой волны о берег, вскипание бурунов, обвалы хохота сатанинского, урча-

ние-бурчание утробное, всасывание вздох воронкой до дна, чмоканье-щелканье-шлепанье, – даже я разобиделся...

Тут с ним и приключилась истерика.

– Пусть! – закричал. – Пусть будет неладно! Пусть уже, пусть! Радость – не нам! Счастье – не нам! Нам с тобой – кожа с объедками! Пусть будет так, пусть!!

Грудью кинулся на дверь, бил ее, кусал и царапал, ругал, молил и унижался:

– Выпусти хоть в туалет, зверь бесчувственный!.. Выы-пусти!..

А собака к нему – без внимания.

Рухнул на пол, катался от стены к стене, потом затих, зажав уши...

Светало, когда успокоилось внизу, замерло и поутихло.

Собака ушла.

Дверь сама отворилась.

Зарозовело над кустами, и пошла снизу женщина – на ногу тяжела. Сарафан мокрый: облепил – пропечатал. Лицо белое: от ночи бессонной. Волосы распущены: капли самоцветами. Грудь пышная, стан гибкий, талия тонкая: красоты и соблазна невозможного.

Мой невозможный друг оскорбился до слез.

– Ты изменная изменщица, – сказал гневно. – Ты такая лицемерщица! Сладострастница. Гостиница бесовская. Где она, моя нечаянная радость? Отвечай!..

А она на это – горько и туманно:

– На вдовый двор...

И пошла себе...

Мы уходили прочь от поганого места, спешно и безоглядно, и друг мой бурчал на ходу, отыгрывался, обижал кого-то запоздало:

– Да деревенцы-то дикие, да кулаки-то немытые...

А я задремывал на ходу. Сны прихватывал мимолетные...

Барак стоял на прежнем месте.

Машина с выбитым стеклом.

Дед однорукий разжигал костерок.

Трактор с прицепом: девками полон кузов.

Мотор стучал гулко и редко.

– Девочки, вы чего тут?

– Очереди дожидаемся, – дружно ответили девочки. – Срок в дом отдыхе кончается. За каждой не находишься.

– Дед, – говорю, – поспать бы... Пусти в барак.

Дед глянул с пониманием.

– Там Вася-биток, – сказал. – Ему – только поспеть.

– Упаду, дед...

– Уезжайте, – посоветовал. – Чужим бы не надо...

Минута нынче благая.

Вышел из барака Вася-биток, вывел за руку девочку, румяную от ощущений, подтолкнул легонько, она и пошагала по тропке, в дом отдыха, ублаженная и бездыханная, на подламывающих коленках. Другая полезла с прицепа: деловито и озабоченно.

– Хватит уже! – раскричался мой друг. – Освободи помещение! Тебе всё, а другим ничего, – так, да?!

– Так, – сказал Вася. – Да.

– А ну пойдем, отойдем!

– Чего отходить? – рассудительно сказал Вася. – Время еще терять. Я тебя тут жикну.

И жикнул...

Мы ехали назад.

Ветер поддувал в лицо.

Синяк расплывался под глазом.

Дорога лучшела заметно.

Зыбкие дали. Редкие версты. Полотенцем путь.

Отселе и до Угор, от Угор и до Ляхов, от Ляхов до Чахов, от Чахов до Ятвази, и от Ятвази до Литвы, от Литвы до Немец, от Немец до Корелы, от Корелы до Устьяга, от моря и до Болгар, от Болгар до Буртас, от Буртас и до Черемис, от Черемис до Мордвы...

– Хочешь? – сказал мой невозможный друг и развязал рюкзак. – Снять деревенское напряжение.

Но я уже спал...

Глава вторая

А КТО ЛЮДЕЙ ВЕСЕЛИТ, ЗА ТОГО СВЕТ СТОИТ

1

Дело начатое, да не будет брошено.

И в голод, и в холод, и в скорби, и в радости, и в принуждении, и в понукании, и в лихолетье разбойничье.

Дабы не мучало потом сожаление едкой отрыжкой.

Дабы не ел себя поедом за упущенные годы.

Дабы не клял других, глупея от отчаяния.

Пошел – иди, живешь – живи, умираешь – умирай.

Вольному – воля, ходячему – путь.

– Пошли, – сказал мой надоедливый друг. – Я ружье купил. Заодно и поохотимся.

Я поднимал голову от руля тяжело и замедленно и увидел перед собой буйство огромных красных ягод вперемежку с острыми, длинными иглами. Они забрались в машину через переднее окно, где не было стекла: иглы торчали у самых моих глаз, ягоды – у самого рта, и капли росы еще блестели на их глянцевиных боках.

– Ха... – сказал я заторможенно. – Шиповник. Это мы где?

– В кустах, – пояснил мой друг. – По твоей милости.

– Я спал?

– Ты спал.

– Долго?

– Минут пять. А я пока что ружье купил. Тульское. Двустволочка. Шестнадцатого калибра.

– Когда это ты успел?

– Успел, – сказал он. – Я проворный. Но деньги я еще не отдал. Не успел.

Мы продрались через колючки, обрывая в клочья одежду, и машина тут же исчезла, целиком утонув в кустах. Дороги не было и в помине, плотной стеной стояли вокруг деревья, и оставалось только гадать, как же нас сюда занесло.

– Машину тут оставим, – сказал мой надоедливый друг. – Тут ее не украдут. Только уговор: кто стреляет первым, тот чистит ружье. Идет?

– Идет. А патроны у тебя есть?

– А зачем тебе патроны? Ты что, собираешься чистить ружье?

И мы пошли на охоту.

Мой надоедливый друг шагал впереди, ружье наизготовку, и прищуренным глазом оглядывал пересеченные местности, будто держал уже под прицелом. Лесами дремучими, болотами зыбучими, водами вязучими, мхами-крапивами, пеньем-кореньем, – но дичи нигде не было.

– Что такое? – говорил мой друг. – Где бекасы, дупельшнепы, гаршнепы, дрофы-журавли-перепелки? Где глухари, рябчики, куропатки, вальдшнепы-кроншнепы? Где хоть кто-нибудь?!. Хочешь понести ружье?

– Нет, – сказал я. – Ружье, жену и собаку на подержанье не дают. Закон леса.

Он даже остановился от изумления:

– Ты-то откуда знаешь?

– Знаем, – ответил я скромно. – Не всё вы, кой-чего и мы. Через наши гены тоже кое-кто прошел.

И посвистел независимо.

Тогда и он посвистел: погромче моего.

Стоял посреди поля одинокий мужик в ватнике, глядел на нас из-под руки.

– Вот, – сказал мой надоедливый друг. – Микула Селянинович собственной персоной. Бог в помощь, дядя!

– Благодарствуйте, – ответил тот картаво и нараспев. – И вас также.

В руке у него была картофелина, на голове соломенная шляпа, на ногах боты, на носу – пенсне. Мы изумились, конечно, но вида не подали.

– Как урожай? – спросили дипломатично. – Сам-треть? Сам-четверть? Сам-сколько?

– Урожай, – ответил, – отменный. Земля наша родит, не переставая, только оттаскивай. Но оттаскивать некому. Вот оно, вот оно, что я наработала: сто носилок отнесла, пятак заработала.

Очистил клубень от земли, пошел на другой конец поля, положил в мешок, воротился не спеша назад.

– Как работается? – спросили мы.

– Работается хорошо, – ответил. – Мешок уже полный. Не прошло и недели. Черный ворон-вороненок улетел за темный лес. Нам колхозная работа никогда не надоест.

И пошел со следующей картошкой.

– Вы, наверно, из города? – спросили мы вслед.

– Наверно, – ответил. – Но уже не уверен.

– А тут что есть: колхоз или совхоз?

– А есть тут, – ответил степенно, – головной институт теоретической физики. Я по тропке шла, размечталась, хорошо, что в колхоз записалась.

И лихо отсморгнул в сторону.

Вернулся он не скоро. Порылся в кармане, протянул визитную карточку. «Профессор, доктор наук, член лондонской королевской академии».

– Это вы?

– Это мы. Мы их в мешок кладем. Чтобы знали, кто собирал. – И похвастался: – У нас тут без обмана. Картошечки – одна в одну. Столицу кормим. Не пойду за Федю замуж, сколько бы ни сватали. Как прогульщика в газете его пропечатали.

И дернул плечиком.

– Пожелания есть? – спросили мы на прощание.

– Поля бы заасфальтировали, – сказал академик. – Грязи – невпроворот.

И мы пошли дальше.

– Чертовщина какая-то, – сказал мой друг. – Колдовство. Обаюн с пролазом. Господи! – завопил. – Защити эту землю от мужика-колдуна, от ворона-каркуна, от бабы-ведуньи, от девки-колдуньи, от чужого домового, от злого водяного, от ведьмы киевской, от сестры ее муромской, от семи старцев с полустарцем, от семи духов с полудухами: чтоб у них, у окаянных, глаза выворотило на затылок!

Тут он и появился невдалеке, зыристый мужичок с пузатым портфелем, бодро зашагал навстречу.

– Ну уж это вы бросьте, – говорил обидчиво. – Чуть что – сразу на нас. Сами наворотят безумия поверх голов, а ты за них отвечай. – И быстро: – Рогоуша недо-тыка брякоушечкой прикрыта. Попрошу отгадку.

– Чего?!

– Ничего. Я вами недоволен. Вас же просили не вмешиваться в естественный процесс.

– А мы и не вмешивались.

– Да?! А кто водку лил в заповедное озеро? Бутылками кидался? Женщин соблазнял?

Лучше бы он про женщин не напоминал. Мой надоедливый друг тут же надулся, сказал обидчиво и свысока:

– Да кто ты такой? Что ты за нами ходишь? Душу еще не купил, а уже командует.

Зыристый мужичок как подобрался:

– А продадите?

– Вот тебе!

Тогда он обиделся:

– Да без меня кто же вас пропустит! Отгадок простых не знаете. Всё в своем городе пере забыли. Ты хочешь попасть туда, где нет еще напряжения?

– Хочу.

– И я хочу, – сказал я.

Тогда он вынул из портфеля желтенький детский телефон-игрушку, набрал номер, дзынькнул звонком, сказал коротко:

– Со мной двое.

И мы пошли дальше.

Теперь уже он шел впереди, споро и ходко, а мы следом – нашалившими детьми.

– Вот я его из ружья, – бурчал мой надоедливый друг. – Вот я его навскидку. Вот я его влет.

Впереди была засека. На обе стороны. До левого и правого горизонта. Дервья подрублены умело, на большой высоте, завалены крест-накрест, верхушками к неприятелю, то есть к нам. Не пройдешь – не пролезешь. Как от татар отгородились.

Сунулись оттуда две рожи неумытые, рты разинули радостно:

– Рогоуша недотыка брякоушечкой прикрыта. Чего на это скажете?

– Печь и заслонка, – ответил зыристый мужичок. – А вы кто есть?

– Бес Потанька да бес Луканька.

– Отворяйте.

А они мнутя:

– Смеяться не будете?

– Будем, – мстительно сказал мой друг. – И еще как.

Полезли оттуда два мужичка-опенка, драные, заплатанные, худородные, в шапках-ушанках не по погоде, спины подставили под лесину, поднатужились, закричали жалобно, чуть приподняли макушку.

– Про-ля-зайтя...

Мой друг колыхнулся от жалости:

– Помочь?

– Неа... – пыхтят. – Не надо. Служба у нас такая.

– Сколько же вам платят за эту натугу?

– А нисколько не платят. Хоть кричмя кричи, хоть лежмя лежи. Оживеть не с чего.

– Чего ж вы тогда стараетесь?
– А чего не стараться? Нам за это, может, тринадцатую зарплату дадут. Обещались. Хлебца не кинете?
И стали уминать с двух концов подаренную краюху:
– То ли любо!
Мы шли дальше.
– Чего ж народ не кормите? – спросили с пристрастием.
– А чего их кормить? – ответил. – И так ладно.
– Да кто ты такой?! – напустился мой друг. – Ты кто есть в этой жизни?
– Анчутка. Черт вертячий. Освобожденный секретарь.
– Господи! – застонал. – И у них так же.
А тот на это:
– Церквей-то нету... Вот мы и расшалились.
И закряхтел от смущения.
Стоял впереди лес-красавец. Высокорослый. Голенастый. Прозрачный. Золотом прохваченный. Ствол к стволу – ратью победной. Такой лес, что в небо дыра.
– Место заказное, – сказал мужичок на прощанье. – Попрошу не шалить. Глядеть можно – трогать нельзя. – И быстро: – Патрон дать?
– Какой патрон?
– Неразменный. Бьет без промаха. Сколько хошь. И перезаряжать не надо.
– А мы тебе чего?
Промолчал.
– Не надо, – сказал мой надоедливый друг. – Еще ружье чистить...
И мы вошли в лес.

2

Всего есть исполнена земля Русская...
Курение смолистое.
Гудение органное.

Свечение теплое.

Дыхание легкое.

От ствола к стволу, как от столпа к столпу.

– Ах! – сказал мой надоедливый друг, голову потеряв от ощущений. – Под темными лесами, под ходячими облаками, под частыми звездами, под красным солнышком, среди лугов привольных, среди полей раздольных, от немецкой земли и до китайской стены...

Прилипал к стволам, обнимал, увязал в смоле, скусывал ее натеки, жевал, мычал, наслаждался: в волосах – иглы с паутиной.

Пружинила хвоя.

Качались макушки в облаках.

Уплывала земля из-под сомлевших ног.

– Ох, – сказали рядом, – ну и малинка! Мелка да сладка.

Глядел мужчина из глубины куста – размерами велик, голова – копной трепаной, с лица молод, клал в рот ягодку за ягодкой, чмокал-соблазнял-приваживал.

– У нас тут малины, – говорил, – какая хошь. Белая, черная, усатая. Коси малину, руби смородину.

– Не, – сказали мы и пододвинулись на шагок. – Мы на охоту идем.

– Какая теперь охота, – говорил. – Не сезон. Зайца драного не поднимешь.

– Не, – сказали мы и пододвинулись еще. – Отстрел разрешен. На пролет уток.

И положили в рот по ягоде.

– Какие тут утки, – говорил печально. – Тут и воды нету. И корму. И место непролетное. Давайте уж малинку щипать. Края наши – малинистые.

Потом было тихо. Малое время. Чего говорить попусту? Руки работают, рты заняты – в момент куст обобрали.

– Пошли со мною, – сказал. – Ложок знаю – земляника поспекает. Наберете – и по домам. То-то деткам радости.

– Какая такая земляника? – сощурился мой друг. – В сентябре, что ли? Плутуешь, дядя.

И мы пошли дальше.

Мой надоедливый друг снова шагал впереди, ружье держал наизготовку.

– Дурной глаз, – говорил, – пустая телега, баба со старухой, крик ворона – плохие приметы, лучше на охоту не иди. Да еще если встретят и скажут: «Принеси крылышко».

– Люди добрые, – сказали со стороны. – Принесли бы крылышко.

Мы так и подпрыгнули.

Стоял на полянке этот – с лица молод, телом нескладен, голова копной трепаной, руки – рогулины кривые, брюхом такой, что хороводы вокруг водить, а на поляне – красным-красно, зеленым-зелено: грибы тучами.

– Ох и грибок! – говорил. – Ох и хорош! Хоть в жарку, хоть в варку, в засол-маринад. Сиди дома, принимай гостей, под водочку сглатывай.

И мы сглотнули дружно.

– Не, – сказал мой друг. – Не до грибов. На дичь идем.

– Да какая дичь, – заблажил. – Какая теперь дичь! Пролетная птица несется без памяти. Станет она вам садиться, время терять. А грибок раскусишь: хрустит, стервец, сердце радует.

– Да у нас и времени нету, – сказали мы нерешительно. – И корзины...

– А мы мигом, мигом! Вот вам и корзина, и грибов – прорва. Тут тебе и белый, и боровик, и моховик с козленком, и свинуха с волнухой...

Потом было тихо. Недолгое время. Он шустро полз на четвереньках, волоча за собой корзину, уводил нас в нужную ему сторону, а мы – дурак-дураком – ползли следом, собирали наперегонки. В момент набрали с верхом.

– Эй, – сказал мой друг, – а где ружье? Ружье обронили.

– Да зачем вам оно! – закричал. – У вас грибов – корзина, пуд целый. Ешь – не хочу.

– Да не ем я их, – сказал мой друг. – У меня сыпь с грибов. Колики. Несварение. Нутро не принимает.

– И не надо, – зачистил. – И не ешь. Делов-то! Собрал – и на рынок. Озолотишься с корзины. Еще наберешь – еще озолотишься.

Мой надоедливый друг посмотрел на него с прищуром:

– Уводишь, дядя?

И мы пошли дальше.

Он шел рядом, враскачку, косолапый, нескладный, сапоги невозможного размера, шел – оставлял ямины на пути, косился неодобрительно на ружье, подпугивал ненароком:

– Места наши – где Богова полоса, где бесова. Народ наш – урви-ухо, с бору да с сосенки, убить да уехать. Ходить в лесу – видеть смерть на носу...

– Тебя как звать? – спросили мы поперек.

– Терешечка.

– Терешечка?!

– Терешечка. Гулящий детинка.

– А чего ты нас пугаешь, Терешечка?

Шмыгнул стеснительно:

– Утицу жалко... Вот и отваживаю кого ни есть.

– Да что ты! – закричали мы. – Тоже удумал! У нас и патронов нету.

Аж просиял! Подобрел. Расположился сразу. Губы пухлые. Глаза светлые. Улыбка ясная. Голова набок, как у дурашливого пса.

– Я бедокур, – сказал. – Я шебутной. Я вам меду за это дам. Лесного.

– Ты кто? – спросили мы прямо. – Лесничий?

– Никакой не лесничий.

– Тебе кто платит?

– Никто не платит.

– А кто кормит?

Промолчал.

– Не надо нам меду, – сказал мой надоедливый друг.

– Перебьемся...

Сунулось солнце над самыми макушками, лес залило доверху золотом дрожащим, столбы понаставило посреди стволов. Ровные, рослые, поднебесные: не разберешь, какой где.

Глаза заслепило – колеса огневые.

Лица ожгло – жар огнепламенный.

Сердца прихватило – благодать нездешняя.

Терешечка окунулся с ходу в золото натекащее, вспыхнул, просветился, сам задрожал в мареве.

– И мы! – закричали хором. – И мы!

– И вы.

И мы тоже просветились.

– Ах! – заблажил мой друг. – Ах, ах! Это и не лес вовсе – храм многостолпный. – И осел книзу на ослабевших ногах. – Всё. Остаюсь тут навечно. Растворяюсь. Растекаюсь. Распыляюсь на атомы.

А Терешечка – туманно:

– Вы тут – пришей-пристебай...

А чего сказал – хоть в словарь лезь.

Проявилось впереди очертание – размерами не мало, перетекло, как поманило, от ствола к стволу, от столба к столбу. Ясно, что женщина, видно, что пышная, понятно, чего желает, – остального не разобрать. Намерения у ней несомненные, интересы у ней нескрываемые, готовность у ней нулевая: то ли не надето ничего, то ли материи златотканые, – зарево-маревое, парение-пламенение, игра зрения, обман чувств.

Мой надоедливый друг уже стоял в стойке, одна нога на весу, носом дрожал в предвкушении.

– Это чего?..

А Терешечка – глаз не отрывая – глухо и невпопад:

– Которая бессися – я не уважаю...

Дрогнул, брыкнул, гоготнул, землю ковырнул каб-
луком, да и рванул следом: дым из ноздрей.

– Эй, – кричим, – а мы-то?!

А ему не до нас. Он уже вон где. Их уж и нету.

– Вот, – говорит мой надоедливый друг. – Рекомен-
дую. Это и есть их благодарность. Как грибы, так вме-
сте, а клубничку – на одного.

Тут загудела земля. Задрожали стволы. Просыпа-
лась хвоя. Завалились тонконогие поганки. Побежали
на нас двое: он за ней, да она от него. Огромные, коря-
вые, нескладные, золотом пропечённые, радостью упо-
ённые, дыханием запаренные, желанием переполнен-
ные, и груди у нее – чтобы бежать прикладнее – заки-
нуты за плечи, крест-накрест.

– Лешуха, – проорал Терешечка на бегу – рот
варежкой, рубаху скидывая за ненадобностью. – Леша-
чиха. Лисуха-присуха. Я с ею шалю!..

– Подумаешь, – сказал мой друг, белея от обиды. –
Не больно и хотелось. Которые сисястые – я не ува-
жаю... Эй! – взвизгнул. – У нее подруга есть?!

И рванул следом.

Я – за ним.

Меж столбов света. Меж стволов леса. В одни оку-
наемся, на другие натыкаемся: нам не разобрать. Огонь
чувств. Пламень желаний. Вихрь побуждений. Мы еще
– ого-го!

Тут на отшибе дерево – толщины неохватной. В
корневище дупло – пастью разинутой. Заскочили туда –
и нету, и сгнули, и с глаз долой, а мы забоялись, затыр-
кались, на пенек сели: чего делать – не знаем.

А оттуда, из дупла, курлыканье-мурлыканье, гуль-
канье-бульканье, зудение-гудение любовное:

– Дроля – матаня – залетка – приятка – любушка –
любава... – И напоследок: – Ах, – оттуда, – пригрево-
чек... Тёпла, – оттуда, – норушка...

И затихли.

– Пошли, – говорю. – Мы тут лишние. Пробежались – и за то спасибо.

– Пошли, – говорит. – А куда?

Стоял муравейник – конусом хвойным. Шебуршились муравьишки – числом несчитанным. Курился поверху парок – просыхали в тепле.

– Вот, – сказал мой друг. – Наступлю – и нету. Им год строить, мне – момент рушить. Но я-то случайный в лесу, а они свои. Я уйду, а они останутся. – Всхлипнул: – Пусть уж лучше другие уйдут, а я останусь... Хоть где!

Тут голос из дупла, мягкий да медовый:

– Ты меня ждала?

– Жда-аа-ала...

Сунулся наружу – копной трепаной:

– Слыхали? Жда-ала...

И нету.

– Ты меня звала?

– Зва-аа-ала...

Сунулся еще:

– Зва-ала...

И назад.

– Дразнится, – сказал мой друг. – Было бы из-за кого. Да я у батюшки да у матушки принцессами гребовал.

– Я тоже, – говорю.

Но вышло неубедительно.

А оттуда:

– Ты меня любишь?

– Люю-блю...

– А не врешь?

– Не врууу...

– А докажи.

– Докажу... Стала бы я стирать тебе без любви? Рубаху с портками: закорузнут – не ототрешь. Да штопать, да убирать, да мыть, да подметать, да огороды копать, да картошку сажать, да печь разжигать, да воду

таскать, да пуп надрывать, – что я вам, каторжная, что ли?! Пшел вон отсюда!

И Терешечка выпал из дупла.

Сел, покрутил головой, губы распустил от обиды:

– С бабой – оно непросто.

– Ой, непросто, – почему-то сказал я.

Мой надоедливый друг застонал в ответ, шустро полез в дупло:

– Ой-ей-еюшки... Любви хочу! Тепла! Угревочка! Чтобы задастая. Чтобы сисястая. Чтобы портки мне стирала, рубахи с портянками...

И тоже выпал наружу.

– Пошли? – сказал Терешечка.

– Куда?

– Куда шли.

– А она?

– Отойдет, – сказал знатоком. – Остынет к вечеру.

– Куда она денется! – знатоком сказал я.

Но друг не торопился.

Оглядел Терешечку с пристрастием, глаз сощурил – примерился.

– Разувайся!

– Чего?

– Чего сказано.

Тот снял сапоги, размотал портянки. Ноги босые, обыкновенные, человеческие, нечеловеческого только размера. Пошевелил пальцами, остудил на ветерке.

– Одевайся. Пошли дальше.

Терешечка ухмыльнулся понимающе, дальше потопал босиком.

– Отвечай, – приказал мой друг. – Это что за место?

– Место наше, – ответил обстоятельно, – за далью далей. С любого края – три года ехать. И то не доедешь.

– Врешь, поди?

– Не без этого.

Дорога пошла под уклон.

Сырела земля и мокрела, мрачнело кругом и скучнело.

Лес забивался мхом, хвощом, поганым грибом, тощей, недоразвитой порослью, что росла густо и кучно и без жалости давила друг друга.

Туман находил вялыми волнами, глушил звук, подьедал цвет, но оттуда, из его нутра, уже слышались спешные шаги, звяканье, разудалые вскрики.

Это охотник шел косяком на разрешенный отстрел.

Терешечка запечалился:

– Опять! Толпы несметные! На развод не оставят...

И побежал. По хвощам. По кустам. По поганым грибам. Махал руками. Взбрыкивал ногами. Валил деревца чахлые. Прогал оставлял широкий. Мы, конечно, за ним. Только поспеть!

Открылась вода под ногой.

Лодка-плоскодонка у берега.

Сиденья по борту.

Терешечка прыгнул туда, мы заскочили следом, и он заорал тут же:

– Эгеге! Наро-оды! А вот перевоз, перевоз. Кому на утку-селезня, на нырка-на чирка, – вали сюда!

И повалили...

3

Первыми вышли из тумана, в ногу, два молодца-удальца в ладных зеленых куртках с маскировочными пятнами, в блестящих болотных сапогах, с портупеями-патронташами, с новенькими, в масле, ружьями, с рюкзаками за плечом.

– Вы кто есть?

– Старшины-сверхсрочники особых десантных частей.

– Чего пришли?

– Утку бить.

– Лезь к нам.

Залезли. Сели. Ружья приставили к ноге. Глаз сощурили привычно.

– На сколько намылились? – спросили их осторожно.

– Да десятка на три.

Терешечка так и задрожал:

– А не жалко?

А они:

– Мясца, парень, охота. Прокол у нас с мясцом. Полный обвал. А мы мужики в силе, нам мясца надо. Настреляем – утятинки – поедим всласть.

– Вы еще попадите, – сказал мой друг.

– Мы попадем, – пообещали. – Нам не впервой. В десятку. С закрытыми глазами. Из положения «стрельба стоя». Кого ждем?

И проверили, как сидят фуражки: три пальца под околышем.

Пришли еще трое, пьянь-теребень ларьковая, дружно взбулькивали на каждый шаг. Один в шубейке, другой в кацавейке, третий в плаще брезентовом до самых пят, какие носят сторожа. На ногах галоши, сандалеты, кеды драные, да одно ружье на троих: вместо ремня – шпагатик.

– Вы чьи будете?

– Мы-то? – сказали. – Мы мамкины.

– Куда идете?

– А куда все.

– Лезь в лодку.

Залезли. Расселись. Ружье бросили на дно, в воду. Бережно уложили авоську с бутылками да неподъемную канистру.

– Шесть литров, – похвастались. – Да спирту канистра.

– Не, – заволновался мой друг, раздираясь противоречиями. – Я не пью.

– И не надо, – сказали. – Глотнешь пару стаканов, и будет с тебя.

И принялись разливать.

– А вы стрелять станете? – спросил Терешечка.

– Мы, друг, всё станем. Стрелки отменные. Охотнички до жареного. Кончится выпивка – сам увидишь.

И улыгнулись нехорошо.

Встал из травы малый – глаза запухшие, без ружья вовсе, сказал, как поздоровался:

– Выкусь закусь сикось накось... По рублику скинемся?

Эти, у канистры, оживились:

– А где купишь?

– Моя забота.

– Да тут лес кругом. На сто верст.

А он – знатоком:

– Лес лесом, а бес бесом.

– Старики, – сказал мой друг. – У вас и так – хоть залейся.

– По рублику, – пояснили, – святое дело.

И тот побежал на полусогнутых.

– Он тут с весны, – сказал Терешечка. – С прошлого отстрела. Всё пропил, никак домой не дойдет.

– Наш человек, – сказали от канистры и разлили по новой.

Пришел дед-дребезга, вертлявый да гунявый, встал за кустом, облизнулся, на глаза не кажется.

– Кто таков?

– Степа-позорник.

– Чего прискакал?

– Озерцо показать. Уток навалом. Сами на смерть лезут.

– Сыпь сюда.

– Да он заругается.

– Заругаешься? – спросили Терешечку.

– Заругаюсь, – сказал. – Ходит, выпивку клянчит, меня позорит.

– Терентий, – позвал дед из куста. – Лишу родительского благословения.

– Лиши, лиши. Не больно и надо.

– Терентий, – позвал тот слезливо. – Наследство не отпишу.

– Да чего у тебя есть?

– Чего, чего... Шубный пинжак. Галифе. Ремень с бляхой. Много чего.

А сам уже лез в лодку, бурчал обиженно:

– Да я в МеВеДе работал. В спецчастях. Бандитов ловил на высотных местах сибирской низменности.

– Наш человек, – сказали сверхсрочники.

– Не наш человек, – сказали от канистры.

Но – отлили.

Со знакомством – святое дело.

Пришел мужчина – калган бритый, двустволочка в узорах, не иначе, немецкой работы, ягдташ-патронташ с иноземной наклейкой, сапоги до пупа, дым сигареты ненашенской, строго спросил с берега:

– Что за народ?

– Сбродня, – ответили. – Лесовики. Дикие мужички. Дрянца с пыльцой. А ты кто есть?

– Кто есть, – сказал важно, – вам знать незачем. Кто буду – еще узнаете.

Степа-позорник подкатился незамедлительно:

– Нарботано. Бандитов наловлено. Медаль отхлопотать за героическую жизнь.

А тот:

– Зайдете в приемные часы.

И сел на носу. Отдельно от прочих.

– Не, – сообщил. – У меня коньяк.

– А никто и не подносит, – сказали от канистры.

И поглядели нехорошо.

Лодка уже осела заметно, но народ всё прибывал.

Пришел мужик с капканом.

Пришел малец с луком.

Пришел малоумный с рогаткой.

Пришел недорослик с фоторужьем.

Пришли вместе слепой с глухим: один слушает,

чего где шевелится, другой палит туда без передыху. Бой-гром по лесу: авось, в кого попадут.

Последним притопал звероватый дядя, побольше Терешечки, косорукий, косоротый и косоногий. То ли человек, то ли полулюдок.

– У меня фузея, – сказал. – Стволы-стаканы. Кило пороху, два кило гвоздей: стаю на лету снимаю.

Зауважали:

– А вы кто есть?

– Косой Гам-Гам.

– Из каких будете?

– Из недоносков.

– Чего надо?

– А чего всем. Я их руками рву, с пером ем.

– Годится. Иди к нам жить.

Влез. Лодка осела. Борта вровень с водой.

– Потонем, – сказал Степа-позорник.

– Не потонем, – сказали от канистры. – Еще не допито.

– Мы не потонем, – сказали сверхсрочники. – У нас плавучесть повышенная.

– У меня тоже, – сказал калган. – Везде всплывал.

– А и потонем, – слепой с глухим, – спирт не надо разводить. Сам разбавится.

И протянули складные стопочки. С виду неприметные, а раскроешь – ведро входит.

Прибежал малый с бутылкой, прыгнул на корму, лодка черпнула бортом:

– Чего стоим?

И мы тронулись.

Сбродня. Дрянца с пыльцой. Всякие разные.

Сбежать бы, да некуда.

От себя не сбежишь...

Дальше – туман.

Захочешь – не вспомнишь.

Туман снаружи и туман внутри.

Только прогалы редкие, как оконца в трезвый мир.

Терешечка толкался не спеша шестом, лодка ползла тяжело, брюхом раздвигала осоку.

Болотная жижа. Пузыри. Осклизлые коряги. Островки гнилых трав. Вода на дне. Ноги промокшие. Спины озябшие. Жуть и пьянь.

– Моё! – верещал малый и махал под носом бутылкой. – Сперва выпьем моё!

Мой друг глотнул с пониманием и сразу отпал.

–Бесиво, – сказал из беспамятства. – Зелье одуряющее. Настояно на голом спирту. Трава-дурман, да дуришник, да волчья ягода, да сонная одурь, да черная псинка, да певья вишня, да кошачья петрушка, да собачий дягиль, да свиная вша, да синий зверобой, да мужичий переполох, да мухоморов – по вкусу.

И сник.

Терешечка взял бутылку, оглядел на просвет.

– Где брал?

– У мужика у одного, – сказал малый. – Тут, за углом. Я у него всегда беру.

– Что за мужик?

– Да когда как. То он зверь, то жеребец, а то и гриб. А сегодня – не пойми чего. Снизу мохнато, сверху гладко, а посередке – дыра.

– Всё правильно, – сказал Терешечка. – Можно пить.

Тогда и другие глотнули и тоже отпали.

Кто-то лез искупаться.

Кто-то полз целоваться.

Кому-то лили в рот прямо из канистры.

Костер разводили в лодке.

Подгребали ружьем.

Малоумный пулял из рогатки.

Мужик ставил капканы на дне.

Малец кричал в туман, подманивая уток.

Косой Гам-Гам сворачивал дула в узел и на спор разворачивал их назад.

Бритый калган бил себя в грудь и отчитывался за истекший период.

Недорослик целился фоторужьем и мешал всем пить.

Тогда отобрали у него ружье и выкинули за борт.

Он завопил – выкинули и его.

Потом он долго брел следом по пояс в воде, жаловался, что его кусают пиявки, и просил прощения. Простить его не прощали, но наливать наливали.

Степа-позорник подкатывался к сверхсрочникам:

– Отхлопотать! Немедленно! Хоть чего! Хоть «Материнскую славу»...

А те отвечали с натугой:

– Сперва с Китаем разберемся, а уж потом – тебе.

Смазные, скрипучие, ружья у колен. Пили – не пьянели. У них от бесива только глаз жестче.

Глухой орал слепому:

– Эй, ты, подпрыгни! Я тебя влет возьму!

Слепой орал зрячему:

– Эй, ты, голос подай! Я тебя на звук сниму!

Эти, от канистры, задирались к калгану:

– Начальничек! Давай твою пукалку пропьем!

Калган цеплялся к косому:

– Эй, парень, выверни глаз! Целиться будет удобно!

Косой Гам-Гам нарывался на драку:

– Чёренький, а ты чего не пьешь?

– Да так как-то...

– Учти, чёренький! У меня ружье само стреляет.

Раз в году.

И ненавидел уже меня, трезвого.

Малый верещал с кормы:

- По рублику! По рублику!
- По рублику, – сказали от канистры, – святое дело.

И зашарили по карманам. Раз по своим, два раза по чужим.

Тут недорослик пустил пузыри, всплыл, ухватился за лодку.

- Тону, – сказал он радостно.

Лодка кружилась на месте, воды было по колено, но никто ее не вычерпывал. А из тумана глядели рожи с рылами, хари с мордами, перетекали одно в другое вялыми волнами. Смотрели. Удивлялись. Похохатывали уважительно. Когда им подносили выпить, отворачивались стеснительно, переплывали в тумане, меняли облики.

– Чего встали? – спросили сверхсрочники. – Нам стрелять пора.

- Омут, – объяснил Терешечка. – Шест не достает.

- Рукой гребь.

- Туман. Морока. Леший водит.

- Лешего нет, – авторитетно сказал недорослик. –

Отвечаю за это.

В тумане вздохнул кто-то. Кто-то подхихикнул. Кому-то сказали язвительно:

- Вот так вот. Отменили тебя, Игоша.

– Вот я его сама отменю, – ответили со скрипом. – Мутовкой по затылку.

Сунулась оттуда рожа: не приведи Господь! Зубы – как у пилы. Разведены на стороны, чтобы не заедало. Мой друг увидел – и снова отпал в беспамятство.

– Игоша, – сказал. – Кикимора болотная. Безрукая и безногая. Она же трясуха, гнетуха, желтуха, бледнуха, знобуха и трепуха. Ломовая и маяльница – тоже она.

– Красавица! – заорал Гам-Гам. – Сыпь сюда! Я тебя в жены возьму.

Ее и перекорежило от ужаса.

– В кале блуда, – сказала с омерзением, – яко свинья валяшесь... Сгинь, нечистая сила!

Он, естественно, не сгинул.

– Стану я тебе, – сказал важно. – Небось, не старые времена. Хватит уже, подурачили нас с попами.

И кинул сквозь нее бутылку...

5

В тумане – времени не разобрать.

Когда лодка ткнулась уже о берег, дело было под вечер.

Волны опали вялые. Небо порозовело закатное. Холод разлился по округе, гниль листа прелого, светлота глубин предосенняя.

Вышел на берег Терешечка. Вышли мы с другом. Вышли старшины-сверхсрочники, в ногу зашагали на мысок. Остальные спали вповалку на дне лодки.

– Может, передохнём? – вслед попросил Терешечка.

– Мяса поедим, – ответили старшины, – тогда и передохнём.

И дружно взвели курки.

Тишь зависла несмелая.

Небо загустело понизу.

Лес затаился до случая.

Будто ждал, выжидал, высматривал.

И оттуда, с закатной стороны, пошли на нас утки.

Розовым строем. Тяжело и размеренно. На излете долгого пути.

Зависали в раздумьи, валились на крыло, опускались на ночевку в болота.

– Кто стреляет, – сказал мой надоедливый друг, – тот чистит ружье.

– Я стреляю, – сказал Терешечка. – Дали бы мне.

– Куда тебе, – гордо сказали сверхсрочники. – Сиди на печи да золу пересыпай.

И вдарили дуплетом.

Была пауза.

– Странно, – сказал мой друг. – Что-то они долго с неба не валятся.

Сверхсрочники уставились друг на друга.

– Глаз застоялся, – объяснил один.

– Рука занемела, – объяснил другой.

И ловко переломили стволы.

Дальше – сплошной ужас! Стрельба, как при хорошем наступлении. Артподготовка. Массированный налет. Минометы с гаубицами. Только лес ухал жалобно. Да хвоя валилась. Да зверье разбежалось. Да жуки-таракашки валились на спины и прикидывались мертвыми. И хоть бы одна утка упала с неба. Подлетали, крутились над головой, грудью кидались на каждый выстрел, будто склевывали с воды дробь.

Старшины зверели.

Мы удивлялись.

Терешечка ликовал.

– Птица, – кричал, – заговоренная! За так не возьмешь!

– Врешь, – шипели сверхсрочники. – Не такую брали.

И снова переламывали стволы.

Подлетел зеленоголовый селезень, сел на воду, нагло подплыл к самым ногам. Они подобрались к нему с двух сторон, ухнули в упор с четырех стволов: тот даже не почесался.

Сломались старшины.

Захлопали сверхсрочники.

Пустили слезу особые десантные войска.

Сопели, сморкались, соплю растирали могучим кулаком.

– Мясца... – ныли. – Хоть какого. Силу потеряли без мясца... Ути-ути...

И пошли прочь несчастными, обиженными переростками.

И сгнули навсегда в лопухах-крапиве.

– Хе, – подхихикнул Терешечка. – Не таких брали.

Нам засветило чего-то:

– Ты умудрил?!

– Я шепутной, – сказал. – Я бедокур. Я им патроны поменял. Вместо дробы – картошка вареная. Утицам на корм.

– Когда это ты успел?

– А тогда. Зря я вас по туманам елозил?

И рот разинул варежкой.

Тут прискакал от лодки Степа-позорник, подхватил наше ружье, повел стволами за стаей.

– Зря стараешься, – сказали мы. – У нас и патронов нету.

Грохнуло громом.

Полыхнуло огнем.

Потянуло пороховым запахом.

Валится птица с небес – и к нашим ногам.

Ударилась грудкой о землю, выворотила крыло, и бусинка крови выступила на клюве.

Как умерло всё вокруг. Затаилось без дыхания. Приподнялось на носочки, чтобы разглядеть и убедить-ся.

Терешечка грозно поворачивался к нему:

– Ты! Срамник старый...

– А чего, – на голос взял Степа. – Их ружье – им и ответ.

– Патрон, – залепетали мы. – Не проверено... От прежнего хозяина...

– Да у них и прав нету, – нагло сказал Степа. – Пойти доложить, может, медаль дадут.

И ушагал без оглядки.

А сзади уже подкапливалось – свирепое, суровое, грозное: кожу ершило на спине. Как рука отпахнутая – для удара. Нога отведенная – для пинка. Пасть ощеренная. Коготь нацеленный. Клык. И закат утухал стремительно, кровью утекал из тела.

– Минута благая, – сказал Терешечка. – Вам бы не к месту...

И повел нас от беды. Спорым шагом.

А позади – свист, щелканье, уханье, плач навзрыд и хохот взахлеб.

– Дикенькие мужички, – сказал. – Лешии. Лисуны. Разгуляются теперь без меры.

Обогнули воды озерцо, осоку с кувшинками, поднялись в гору: вот он, перед нами, лес многостолпный, вот оно, понизу, дупло в корневище. Сколько в тумане бултыхались, не один поди час, а воротились в момент.

Терешечка уже лез внутрь, нас волок за собой.

– Пересидим тут.

И всё стихло.

В дупле было сухо, тепло, труха мягкая под ногой. Подстилочка. Одеяльце истертое. Одежка грудой. Букетик засохший. Моргасик керосиновый. Жилого жилья дух. Лечь бы, да укрыться с головою, да храпануть всласть.

Мой надоедливый друг уже щурил на Терешечку глаз.

– Ты чего это – такой к нам добрый?

– Тоже живые, – ответил. – Небось и вас жалко.

– Да мы-то – вон чего наворотили!

– Все наворотили, – сказал. – Кого тогда и жалеть?

Гудение прошло по лесу.

Густое. Нутряное. Тяжкое.

Как скотину повели на убой.

Шла меж стволов смытая далью процессия, лепились воедино невидные к вечеру фигуры, птица плыла над головами на вскинутых к небу руках, крыло провисало опавшее, и были приспущены ветви, и были притушены звезды, и были приглушены звуки, и плач шел оттуда, плач леса по утице, стон горький по живности – выбитой, стреляной, травленной, загнанной, запуганной, разбежавшейся, выродившейся, обреченной, выпотрошенной, ощипанной и обглоданной. Брюхом кверху. Кишками наружу. Чучелом на стене. Подстилкой на полу.

Стукнули по стволу стуком хозяйским.

Женщина сказала сурово:

– Терентий, выводи этих.

Он затаился.

– Терентий, кому сказано.

Дыру пузом заткнул.

– Я пойду, – заволновался мой друг. – Я повинюсь.

– Сиди! Не то получишь – грудями по ушам.

– А ты?

– Я-то привыкший.

Распалилась:

– Терентий, с корнями завалю!

Вылез с неохотой.

Дальше – шепот. Быстрый и горячий. Не разбери поймешь. Бурдело, зудело, прорывалось словами: «Ходят тут всякие... Не для них рощено... Я тебе кто?.. Пошел вон отсюдова!..»

И Терентий в дупло впал.

Сидит, за ухо держится, губы распустил от обиды.

С бабой – оно непросто.

Мой надоедливый друг подобрался поближе:

– Ты чего это – такой нам заступник?

– Дурные вы, – сказал. – Грустные. Неприкаянные.

Вам – прислониться к кому.

Мы с другом вздохнули от удовольствия:

– Еще говори...

Тут я поплыл куда-то, как на облаке, и плыл легко и долго, не желая опускаться на землю..., но завалился сразу и вдруг.

В дупле было черно.

Тепло и покойно.

Разинутая пасть наружу перемигивалась частыми блёстками.

И голос с хрипотцой ерошил-беспокоил...

– ...жили мы на отшибе, у самого леса. Мать-тихуха да я молчун. Хлеба ни куска – везде тоска... Бати у нас не было. Батя сбёг давно, я еще в люльке лежал, и

с той поры лица не казал. Мать за двоих горбатилась. Писем от него не было, денег тоже, кой-когда, к празднику, слал фото свои. С ружьем. В тулупе. Морда сытая. Мать их на стенку кнопила, ночью вставала, глядела, ладонью оглаживала. А то у окна сидела, на дороге высматривала. «Мать, – говорю, – шла бы ты замуж, пока годы не вышли». А она: «Что ты! Ты что?! Я ведь повенчана». Так и померла, не дождавшись. Велела напоследок: «Отец воротится – прими». Один остался, совсем уж молчком жил...

Тут разгнезвился кто-то: возился долго, располагался удобно, вздыхал, кашлял. Потом сплюнул наружу...

– ...тут к нам училку прислали. Красы неоглядной. Таких и не бывает вовсе. Раз только такую и видал, на обертке на ненашенской. Я по ночам к ей бегал, у избы постоять. На улице караулил. У школы. Огородами обегал. Увижу – глаза тупит, шаг прибавляет. Засмеяли меня: «Где тебе, дураку, чай пить! Да у ей жених есть, директор школы, не тебе, навознику, чета». А я им: «Ну и что же, что директор. Я ее сню зато, училку нашу». «Чеего?!» «Сню, – говорю. – Лягу, закрою глаза и сню». «А чего снишь? Расскажи в подробностях». «Так я вам и сказал». Смех пошел по селу: Терентий училку снит. Всякую ночь. Да по-разному. «Раз так, – говорят мужики, – мы тоже попробуем. Такая баба – грех пропускать». Не пошло у них. Я сню, один я на всю деревню, а у других – никак. А они уж по улице ходят, директор с училкой, под ручку, чин-чинарем, а я стою себе в сторонке, улыбаюсь без дела. Он с кулаками: «Опять снишь?» «Опять». «Я на тебя в суд подам!» «Подавай, – говорю. – Нешто они запретят? Да хоть кто не запретит». А она стоит – глаза тупит... Тут беда. Чего-то с ей стряслось, с училкой моей. Поросль по лицу пошла, как у мужика, всю приглядность подъела. Этот, жених ее, тут и отступился, будто и под ручку не водил, а она сбегала из села. В город, говорят. От позора. Ночью.

Собрался я, покатил следом. «Где тут у вас, – говорю, – бороды у женщин выводят?» «В институте красоты». Подкараулил, встал на крыльце, говорю: «Поехали домой. Я тебя и бородатую люблю». Ничего не сказала. Поглядела быстро, в глаза, в первый, быть может, раз, и в дом ушла. Потом глянула из двери: «Поезжай, – говорит. – Я следом»... И не приехала. Болтали потом: свела поросль, в городе осталась. При институте красоты. Там ей и место, красе ненаглядной...

И опять кто-то расшебурился: места не находил удобного...

– С니шь? – спросил из темноты мой надоедливый друг.

– Сню, – сказал. – Теперь кой-когда... Лисухе не говори.

– Да ты что!

И опять я поплыл...

– ...ночами потом не спал. Лежал. Слушал. Ждал. Сказала: «Поезжай. Я следом». Раз слышу – скулит кто-то. За дверью. Вышел – собака под амбаром. Бок в крови. Глаза нету. Веревки огрызок. Кто-то привязал, видно, да дробью и шарахнул. Веревку перебило, она ко мне приползла. Мелкая, злая, кусучая: как черт. Я ей еду подставлял, она мне руки грызла. Я ей воду менял, она за ноги цапала. Садился в сторонке, говорил с ней, душу выкладывал, – кому бы еще? – а она рычала без передыху, как горло полоскала. Потом отошла, признала меня, стали вдвоем жить. Я да Катька, стерва кусачая. Только погладить – ни-ни. И под амбар руку не суй – тяпнет... Тут батя воротился. Без ружья, без тулупа, старый, протертый, на фото свои непохожий. Может, и не батя он вовсе, кто его разберет? «Здорово, – говорит, – сын мой единственный. С тобою жить стану». «Чего вдруг?» «Желаю я на закате дней передать тебе мой житейский опыт. Зря, что ли, землю топтал, народ сторожил, набирался за жизнь всякого? Готовься – тебе буду отдавать». Стали втроем жить: он, Катька да я.

Мать велела напоследок: «Воротится – прими»... Первым делом он лампу продал. Керосиновую. Память мою по бабке, по матери. Из голубого стекла лампа, в цветах, с узорами: нынче таких и нету. Зажжешь, а она изнутри теплится... Туристам на бутылку сменял. «На кой, – говорит, – у нас электричество есть. Лампочка Ильича». Хотел я его погнать, да мать пожалел. Ночью вставала, на фото глядела, ладонью оглаживала... Пошел на могилу, окликнул: «Матушка, моя породушка, чего с им делать прикажешь?» «Терпи, – отозвалась. – Не ты один». Живи, Бог с тобою... На праздник надел баты форму свою, сапоги смазные, вышел на двор: с Катькой падучая. Не иначе, кто ее стрелял – сам такое носил. Цапнула его, на ноге повисла, галифе порвала – еле отодрали. Тут баты взревел – и косою ее. Поперек. Развалил надвое. Взял за хвост да в колодец кинул...

Кашлянул...

– ...она на сносках была, Катька... Под амбар не пролазила... Схорониться – никак...

Еще кашлянул...

– ...я потом в болоте топился... в месте глухом... Выдернули за уши, – и не скажу кто...

– Ну! – подтолкнул мой надоедливый друг. – А теперь чего?

– Теперь хорошо. В деревне не бываю. Всё тут есть. Был раньше тощак, стал нынче сытеть. Хлеба край – и под елью рай...

– А зимой?

Помолчал.

– Зимой и медведь спит...

И засмеялся несладко.

– А не теребят тебя?

– Кому теребить?

– Власти.

– Я дурак, – сказал. – С дурака какой спрос?

– Какой ты дурак?

– Такой и есть. Станет тебе умный в дупле жить?

– Я остаюсь с тобой, – решительно сказал мой друг.
– Найди и мне дупло.

6

Опять напозла луна, всё вокруг заворожила, чар подпустила – полон лес.

Всплыла за деревьями тень – не тень, фигура – не фигура: хребтом виляние, головою кивание, ногами скакание, руками плескание, бедрами завлечение: сатанинские игры, бесовская похоть, чужеродная плоть.

Терешечка отключился сразу, стал подвигаться к выходу.

– Бывают друзья для радости и веселия, – зачастил мой друг, чтобы успеть. – Бывают друзья для горя и утешения...

Терешечка уже вылезал наружу, глядел жадно, дышал бурно, руками шевелил, как обтрагивал.

– Бывают друзья, – торопился мой друг, – которые и не друзья вроде... Давайте попробуем! Мы найдем свой вариант!

А Терешечка – глухо и задавленно, слюну глотая с трудом:

– Которая тугосится – я уважаю...

Топнул, взбрыкнул, гоготнул: земля затряслась окрест.

Они убегали при полной луне, огромные, корявые, запаренные и ликующие, воплями будили лес, будоражили желанием, а мы глядели с тоской из глубины дупла, лишние и случайные.

– На чужой-то стороне, – бормотал мой друг, губу разрывая в кровь, – растут леса вилявые, живут люди лукавые...

– А что ты хочешь, – отвечал я. – Мы тут – пришей-пристебай.

И пошлепали восвояси...

Около кустов шиповника стоял Степа-позорник и улыбался нам пакостно и загадочно, будто секрет имел.

В кустах застряла наша машина, и в ней, на заднем сиденье, поленицей была уложена вся гоп-компания. Недорослик, малец, трое с канистрой, мужик с малоумным, слепой с глухим, калган бритый. К крыше был привязан Косой Гам-Гам, и ноги его свисали на капот, а голова на багажник.

Переднего сиденья у машины не было, и взамен стояли два чурбака.

Для меня и для друга.

– Это ты постарался? – спросил мой друг.

А Степа – туманно:

– Не то доложу...

И поволок чего-то в темноте, цепляя за кусты.

Тут потемнело.

Затучилось над головой.

Загудело, зарычало, зафыркало не на большой высоте, как подбиралось по нашу душу.

– Опять! – завопил мой надоедливый друг. – Хватит уже! Враг, шут, летун, нечистый с неладным, – сколько терпеть можно?!

Размахнулся – палицу запустил в небо. Тульскую. Двустволочку. Шестнадцатого калибра.

Треснуло что-то на высоте, фыркнуло, огнем брызнуло....

Валится на поляну вертолет – дыра в боку, пыль поднял до небес.

Вылез наружу мужичок в шлеме, силач-крепыш, пошел к нам, готовя кулаки.

– Да я материально ответственный, – говорил с обидой. – У меня из зарплаты вычтут. Дать тебе лупака?

– Ну дай, – сказал мой друг.

Он и дал...

Мы ехали назад.

Чурбаки вертухались под задом.

Нос расплывался сизой картошкой.

Сопели дружно мужички из поленницы.

Ноги Косого Гам-Гама подпрыгивали на ухабах, пятками проминали капот и заодно ограничивали обзор.

Ни шло, ни ехало. Ни с горы, ни на гору. Ни с поля, ни в поле. Ни землю, ни межою, ни колодою. Ни в зеленые луга, ни в раздольные леса, ни в далекие края. Одолеть бы мне горы высокие, доли низкие, леса темные, пни и колоды: Господи, научи. Сумеречными далями, утренними зорями, полуденными зноями: Господи, помоги!

– Хочешь? – спросил мой друг и развязал рюкзак. – Снять лесное напряжение.

– Наливай! – хором сказали из поленницы.

– Аааа!.. – закричал мой друг рваным и тонким голосом. – Да за что же это?!

И вышел на ходу из машины.

Я, конечно, за ним.

Как друга бросить?

И машина укатила в темноту...

(Окончание в следующем номере)

Дорогой Владимир Емельянович!

От души поздравляем Вас с десятилетием «Континента», в который Вы вложили столько труда, души и умения, и желаем, чтобы Ваш журнал процветал еще много, много лет под Вашим, таким деятельным и мудрым руководством.

Дай Бог Вам много сил.

С искренним приветом

*Тамара, Людмила и
Ксения Ивановна Гончаренко*

ИЗ КНИГИ «СТИХОТВОРЕНИЯ»

ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА

Маманя корове хвостом крутить не велит.
Батя не помнит, с какой он войны инвалид.
Учитель велит: опишите своими словами.
А мои слова – только *глит* и *блит*.

Вот здесь было поле. В поле росла конопля.
Хорошая телка стоила три рубля.
Было тепло. Протекала речка.
Стало зябко. Течет сопля.

Посмотри на картинку и придумай красивый рассказ.
Однажды в принцессу влюбился простой свинопас.
Вернее, в свинарку. Вернее, простой участковый.
Вернее, влупил. Хорошо, что не в глаз.

Однажды Ваське Белову привиделся Васька Шукшин.
Покойник стоял пред живым, проглотивши аршин,
и что-то шуршал. Только где разберешь – то ли голос,
то ли ветер шумит между ржавых комбайнов и
лопнувших шин.

ТРИНАДЦАТЬ РУССКИХ

Стоит позволить ресницам закрыться,
и поползут из-под сна-кожуха
кривые карлицы нашей кириллицы,
жуковатые буквы ж, х.

Воздуху! – как объяснить им попроще,
нечисть счищая с плеча и хлеща
веткой себя, – и вот ты уже в роще,
в жуткой чащобе ц, ч, ш, щ.

Встретишь в берлоге единове́рца,
не разберёшь – человек или зверь.
«Е-ё-ю-я», – изъясняется сердце,
а вырывается: «Ъ, Ы, Ь».

Видно, монахи не так разрёзали
азбуку: за буквами тянется тень.
И отражается в озере-езере,
осенью-есенью,
олень-елень.

ИНСТРУКЦИЯ РИСОВАЛЬЩИКУ ГЕРБОВ

I вариант

На фоне щита
иль таза, иль мелкого блюда,
изображение небольшого верблюда
застрявшего крепко в игольном ушке,
при этом глядящего на кота, сидящего в черном мешке,
завязанном лентой цвета нимфы, купающейся в пруду,
по коей ленте красивым курсивом надпись:
SCRIPTA MANENT
(лат. «Не легко, но пройду»)

II вариант

На постаменте в виде опрокинутой стопки
две большие скобки,
к коим стоят как бы привалившись:

справа – лось сохатый,
слева – лев пархатый;
в скобках вставший на дыбы Лифшиц:
из рта извивается эзопов язык,
из горла вырывается зык,
хвост прищемлен, на голове лежит корона в виде кепки,
фон: лесорубы рубят лес – в Лившица летят щепки,
в лапах и копытах путается гвардейская лента
с надписью:
ЗВЕРЕЙ НЕ КОРМИТЬ

III вариант (окончание)

Земной шар
в венце из хлебных колосьев,
перевитых лентой;
на поясках
красивым курсивом надпись:
ЛЕВ ЛОСЕВ
на 15-ти языках.

* *
*

Мне памятник поставлен в кирпиче,
с пометой воробьиной на плече
там, где канал не превращает в пряжу
свою кудель и где лицом к Пассажу

сидит писатель с сахаром в моче
в саду при Александр Сергеиче,
и мне, глядящему на эту лажу,
дождь по щекам размазывает сажу.

Се не со всех боков оштукатурен
я там стою, пятиэтажный дурень,
я возвышаюсь там, кирпичный хрыч.

Вотще на броневик залез Ильич –
возносится превыше мой кирпич,
чем плешь его среди больниц и тюрем.

ПОДПИСИ К ВИДЕННЫМ В ДЕТСТВЕ КАРТИНКАМ

I

Молился, чтоб Всевышний даровал
до вечера добраться до привала,
но вот он взобрался на перевал,
а спуска вниз как бы и не бывало.

Художник хмурый награвировал
верхушки сосен в глубине провала,
вот валунов одетый снегом вал
там, где вчера лавина пиновала.

Летел снег вниз, летели мысли вспять,
в сон сен-бернар вошел с напитком неким
густым, чтоб было слаще засыпать
и крепче спать засыпанному снегом.

II

Болотный мох и бочажки с водой
расхристанный валежник охраняет,
и христианства будущий святой
застыл в кустах и арбалет роняет.

Он даже приоткрыл слегка уста,
трет лоб рукой, глазам своим не веря,
увидев воссияние креста
между рогов доверчивого зверя.

А как гравер изображает свет?
Тем, что вокруг снованье и слоенье
штрихов, а свет креста есть только след
отсутствия его прикосновенья.

III

Штрих – слишком накренился этот бриг.
Штрих – рвутся снасти. Скалы слишком близки.
Мрак. Шторм. Ветр. Дождь. И слишком близок берег,
где водоросли, валуны и брызги.

Штрих – мрак. Штрих – шторм. Штрих – дождь.
Штрих – ветра вой.
Крут крен. Крут берег. Все скалы слишком круты.
Лишь крошечный кружочек световой –
иллюминатор кормовой каюты.

Там крошечный нам виден пассажир,
он словно ничего не замечает,
он пред собою книгу положил,
она лежит, и он ее читает.

IV

Змей, кольцами свивавшийся в дыре,
и тело, переплетшееся с телом, –
гравер, не поспевавший за Доре,
должно быть, слишком твердыми их сделал.

Крути картинку, сам перевернись,
но в том-то и загадочность спирали,
что не поймешь – ее спирали вниз
иль вверх ее могуче распирали.

Куда, художник, ты подзалетел –
что верх да низ! когда пружинит звонко
клубок переплетенных этих тел,
виток небес и адская воронка.

V

Мороз на стеклах и в каналах лед,
автомобили кашляют простудно,
последнее тепло Европа шлет
в свой крайний город, за которым тундра

Здесь конькобежцев в сумерках едва
спасает городское освещение.
Все знают – накануне Рождества
опасные возможны посещения.

Куст роз преобразается в куст льда,
а под окном, по краешку гравюры,
олений гонят хмурые каюры.

Когда-нибудь я возвращусь туда.

ДВА СЪЕЗДА В ОДНОМ ОТЕЛЕ

Цветной туман, отдельные детали
(как в детстве, прежде чем надел очки:
игра «Летающие колпачки» –
я позабыл, куда они летали).

Конгресс масонов в пестрых колпаках,
крутятся в сигарных облачках слоистых,
сливался с конференцией славистов
и растворялся в нижних кабаках.
Жидомасонский заговор в разгаре:
один масон уже блюет в углу,
слависты пьют, друг другу корчат хари,
и лязгают зубами по стеклу.

Случайный славофильный господин,
писатель книги «Русская идея»,
т. е. уж распоследняя надея,
надравшись в своем номере, один
сидит, жуя тесемки от кальсон,
на краешке кровати пустомерзкой
и ждет, когда с отвесом иль стамеской
ворвется иудей или масон.
Чужбинушка – подмоги ждать откель?
По стенкам бесы корчатся – доколе?

Как колокол, колеблется отель.
Работают лифты на алкоголе.
А это что там, покидая бар,
вдруг загляделось в зеркало, икая,
что за змея жидовская такая?
Ах, это я. Ну, это я .бал.
От шестисот шестидесяти шести
грамм выпитых, от пошlostей, от дыма
какое там до Иерусалима –
тебе бы до постели доползти.

БАХТИН В САРАНСКЕ

Капуцинов трескучие четки.
Сарацинов тягучие танцы.
Грубый гогот гог и магог.

«М. Бахтин, – говорили саранцы,
с отвращением глядя в зачетки, –
не ахти какой педагог».

Хоть и не был Бахтин суевером,
но он знал, что в костюмчике сером
не студентик зундит, дьяволок:

«На тебя в деканате телега,
а пока вот тебе alter ego –
с этим городом твой диалог».

Мировая столица трахомы.
Обжитые клопами хоромы.
Две-три фабрички. Химкомбинат.

Здесь пузатая мелочь и сволочь
выпускает кислоты и щелочь,
рахитичных разводит щенят.

Здесь от храма распятого Бога
только щебня осталось немного.
В заалтарьи бурьян и пырей.

Старый ктитор в тоске и запое
возникает, как клитор, в пробое
никуда не ведущих дверей.

Вдоволь здесь погноили картошки.
книг порвали, икон попалили,
походили сюда за нуждой.

Тем вернее из гнили и пыли,
угольков и протлевшей ветошки
образуется здесь перегной.

Свято место не может быть пусто.
Распадаясь, уста златоуста
обращаются в чистый компост.

И протлевшие мертвые зерна
возрождаются там чудотворно,
и росток отправляется в рост.

Непонятный восторг переполнил
Бахтина, и профессор припомнил,
как в дурашливом давешнем сне

Голосовкер стоял с коромыслом.
И внезапно повеяло смыслом
в суете, мельтешеньи, возне.

Всё сошлось – этот город мордовский.
Глупый пенис, торчащий морковкой.
И звезда. И вселенная вся.

И от глаз разбегались морщины.
А у двери толкались мордвины,
пересдачи зачета прося.

ОДИН ДЕНЬ ЛЬВА ВЛАДИМИРОВИЧА
(СС 356-78-3856)

Перемещен из Северной и Новой
Пальмиры и Голландии, живу
здесь нелюдимо в Северной и Новой
Америке и Англии. Жую
из тостера изъятый хлеб изгнания
и ежеутренне взбираюсь по крутым
ступеням белокаменного зданья,
где пробавляюсь языком родным.
Развешиваю уши. Каждый звук
Калечит мой язык или позорит.

Когда состарюсь, я на старый юг
уеду, если пенсия позволит.
У моря над тарелкой макарон
дней скоротать остаток по-латински,
слезою увлажняя оком,
как Бродский, как, скорее, Баратынский.

Когда последний покидал Марсель,
как пар пыхтел и как пилаась марсала,
как провожала пылкая мамзель,
как мысль плясала, как перо писало,
как в стих вливался моря мерный шум,
как в нем синела дальняя дорога,
как не входило в восхищенный ум,
как оставалось жить уже немного.

Однако что зевать по сторонам.
Передо мною сочинений горка.
«Тургенев любит написать роман
Отцы с Ребенками». Отлично, Джо, пятерка!

Тургенев любит поглядеть в окно.
Увидеть нив зеленое рядно.
Рысистый бег лошадки тонконогой.
Горячей пыли пленку над дорогой.
Ездок устал, в кабак он завернет.
Не евши, опрокинет там косушку...

И я в окно – а за окном Вермонт,
соседний штат, закрытый на ремонт,
на долгую весеннюю просушку.
Среди покрытых влагою холмов
каких не понапрятано домов,
какую не увидишь там обитель:
в одной укрылся нелюдимый дед,
он в бороду толстовскую одет
и в сталинский полувоенный китель.

В другой живет поближе к небесам
кто, словеса плетя витиевато,
с глубоким пониманьем описал
лирическую жизнь дегенерата.

Задавши студиозусам урок,
берем газету (глупая привычка).
Ага, стишки. Конечно, «уголок»,
«колонка» или, сю-сю-сю, «страничка».
По Сеньке шапка. Сенькин перепрыг
из комсомольцев прямо в богомольцы
свершен. Чем нынче потчуют нас в рыг-
-аловке? Угодно ль гонобольцы?
Все постненькое, Божии рабы?
Дурные рифмы. Краденые шутки.
Накушались. Спасибо. Как бобы
шевелиятся холодные в желудке.

Смеркается. Пора домой. Журнал
московский, что ли, взять как веронал.
Там олух размечтался о былом,
когда ходили наши напролом
и сокрушали нечисть помелом,
а эмигранта отдаленный предок
деревню одарял полуведром.
Крути, как хочешь, русский палиндром
барин и раб, читай хоть так, хоть эдак,
не может раб существовать без бар.

Сегодня стороной обходим бар.

Там хорошо. Там стелется, слоист,
сигарный дым. Но там сидит славист.
Опасно. До того опять допьюсь,
что перед ним начну метать свой бисер,
и от коллеги я опять добьюсь,
чтоб он опять в ответ мне пошлость высер:

«Ирония не нужно казаку,
you surely could take some domestication:
недаром в вашем русском языку
такого слова нет – sophistication».

Есть слово «истина». Есть слово «воля».
Есть из трех букв – «уют». И «хамство» есть.
Как хорошо в ночи без алкоголя
слова, что невозможно перевести,
бредя, пространству бормотать пустому.
На слове «падло» мы подходим к дому.

Дверь за собой плотней прикрыть, дабы
в дом не прокрались духи перекрестков.
В разношенные шлепанцы стопы
вставляй, поэт, пять скрюченных отростков.
Еще проверь цепочку на двери.
Приветом обменяйся с Пенелопой.
Вздохни. В глубины логова прошлепай.
И свет включи. И вздрогни. И замри:
...А это что еще такое?

А это – зеркало, такое стеклецо,
чтоб увидеть со щеткой за щекою
судьбы перемещенное лицо.

ПИСЬМО НА РОДИНУ

Как ваши руки, Мэгги, загубели,
Как опустился ваш веселый Дик...

Кузмин «Переселенцы»

Дали нары. Дали вилы. Навоз
ковырять нелегко,
но жратвы от пуза.

С тех пор, как выехали из Союза,
воды не пьем – одно молоко.
По субботам – от бешеной коровки
(возгонка, какая не снилась в Москве).
Доллареску откладываем в коробки
из-под яиц. У меня уже две.
Хозяева, ну, не страшнее овира,
конечно, дерьмо, но я их факу.
Франц – тюфяк, его Эльзевира –
мразь, размазанная по тюфяку.
Очень дешевы куры. Овощи
в ассортименте. Фрукты – всегда.
Конечно, некоторые, как кур в ошип,
попали сюда, с такими беда.
Выступал тут вчера один кулема,
один мой кореш в виде стишков,
мол, «хорошо нам на родине, дома,
в сальных ватниках с толщиной стежков».
Знаем – сирень, запашок мазута,
родимый уют бессменных рубах.
А все же свобода лучше уюта,
в работниках лучше, чем в рабах.
Мы тут не морячки в загране,
а навсегда. Вот еще бы скопить
коробку... Говорят, за горами
еще не все успели скупить.
Нам бы только для первой оснастки,
а там пусть соток хоть семь, пусть шесть.
Есть за горами еще участки.
Свободные пустоши есть.

Характерная особенность натюрмортов петербургской школы состоит в том, что все они остались неоконченными.

Путеводитель

Лучок нарезан колесом. Огурчик морщится соленый. Горбушка горбится. На всем грубоватый свет зеленый. Мало свету из окна, вот и лепишь ты, мудила, цвет бутылки, цвет сукна армейского мундира. Ну, не ехать же на юг. Это надо сколько денег. Ни художеств, ни наук мы не академик. Пусть Иванов и Щедрин пишут миртовые рощи. Мы сегодня нашустрим чего-нибудь попроще. Васька, где ты там жива! Сбегай в лавочку, Васёна, натюрморт рубля на два в долг забрать до пенсионера. От Невы неверен свет. Свечка. Отсветы печурки. Это, почитай, что нет. Нет света в Петербурге. Не отпить ли чутку лишь нам из натюрморта... Что ты, Васька, там скулишь, чухонская морда. Зелень, темень. Никак ночь опять накатила. Остается неоконч

Еще одна картина	Графин, графлений угольком, граненой рюмочки коснулся	знать	художник
под хмельком	заснул	не проснулся	

Л. Лосев (1937–?) НАТЮРМОРТ. Бумага, пиш. маш.
Неоконч.

СКАЗКА ГОЦЦИ

Ему часто снился один и тот же сон.

На черной гондоле он плывет к Дворцу Дожей, чтобы просить политическое убежище. По зеленой воде всю ночь он плывет вдоль Гран Канале, мимо Ка д'Оро и Ка Резоннико, где жили когда-то знатные венецианцы, те самые, из которых выбирали дожей, мимо дома Гольдони, который не был дожем, но в пьесах которого играла его мама, мимо Гритти Палас Отель, в красных стенах которого жилал Хемингуэй и где он тоже сможет жить, если ему предоставят это самое убежище.

Он снимет тогда тот номер, где писал и пил Хэм, будет перечитывать «За рекой в тени деревьев», смотреть на лагуну, и официанты в белых мундирах с витыми золотыми погонами, словно адмиралы флота, будут обслуживать его.

А из дворца напротив выйдет Мирандолина, молодая, похожая на его маму, и будет полоскать белье и звонко смеяться.

И он поможет ей нести корзину...

Так плыл он ночной Венецией и концерт для гобоя с оркестром звучал в его сердце.

Уже с лагуны он видел Антонио Вивальди, который сбегал по белым ступеням церкви Санта Мария делла Пиета, где он написал этот самый концерт, приветственно махал ему, приглашая пристать и, сложив тонкие ладони, кричал.

– Чао, Антонио, – кричал ему Вивальди.

Потому что его, как и блестящего маэстро, звали Антонио, естественно, на итальянский манер.

Антон Гоц звали его.

– Буонджорно, Антонио, – улыбался Вивальди.

– Буонджорно, маэстро, – отвечал Антон Гоц.

– Не гобой ли там у тебя в футляре? – интересовался Вивальди.

– Гобой, маэстро, – скромно отвечал Гоц.

– Не сыграешь ли нам что-либо из Вивальди? – говорил маэстро.

Гондола покачивалась.

Гоц брал футляр, доставал из него инструмент, прикладывал к губам и начинал играть концерт для гобоя с оркестром.

Откуда каждый раз брался оркестр – он объяснить не мог.

Эти знакомые надоевшие морды появлялись прямо из лагуны, откуда-то из-за острова Джудекка, верхом на пюпитрах, а мерзавец Вайнштейн плыл на своей дирижерской палочке и дирижировал своим толстым, корявым, как лопнувшая сарделька, пальцем.

Эта сарделька не дирижировала, а как бы грозила Антону, и смычки грозили, и даже старый контрабас.

Он не мог уплыть от коллектива даже во сне. Даже когда играл соло – они не исчезали, хотя были совершенно не нужны.

И лишь когда он прятал гобой, весь оркестр синхронно тонул на рейде Сан-Марко, и только палочка Вайнштейна мерно покачивалась на воде.

– Неужели я написал такую божественную музыку? – вытирал слезы Вивальди.

– Вы, маэстро, вы! Может, хотите что-нибудь из времен года?

И маэстро всегда просил одно и то же.

– Пожалуйста, «Весну», – говорил он и садился на ступеньки.

И Гоц начинал играть «Примаверу».

Вивальди вытирал кружевным манжетом легкие слезы.

Всё, что написал старый маэстро для гобоя, исполнял ему Гоц.

И каждый раз после этого Вивальди приглашал его

в свой оркестр, в церковь Санта Мария делла Пие-та.

– Ты будешь концертмейстером, Антонио, – обещал он ему.

– Скузи, – извинялся Гоц, – не могу.

– Перке? – удивлялся маэстро.

– Это невозможно, – разводил руками Гоц.

– Ты получишь тысячу дукатов, – обещал Вивальди.

– Дело не в зарплате, – отвечал он.

– Ты можешь стать прокуратором, – продолжал Вивальди, – даже дожем. Никто в венецианской республике не играет так, как ты, и во всей Италии нет музыканта подобного тебе.

– Что толку, – говорил Гоц, – ведь я живу в Советском Союзе.

По всему виду Вивальди было ясно, что он никогда не слышал об этой стране, но каждый раз после этого с него почему-то сползал парик, он бросался наверх, на кампаниле, и начинал судорожно раскачивать колокол, как это делали в старину, когда на Венецию двигалась турецкая армада... И вот под эту музыку, уже в десяти гребках от Дворца Дожей, где он должен был просить убежище, Гоц всегда просыпался.

«Концерт Вивальди для колокола с оркестром» – называл он ее...

Этот сон снился ему всегда перед поездками за рубеж, причем только в капиталистические страны.

Когда же они ехали в Болгарию или там в ГДР – ему не снилось ничего. Однажды, перед Прагой, во сне он увидел танк. Он сидел на стволе пушки и снова просил убежище.

Тогда он проснулся в поту...

Гондола волновала его. Потому что реализовать свой сон он не мог – не в смысле встречи с Вивальди, а в смысле убежища. Останься он – и никогда больше не увидел бы он Ирину. А зачем ему нужна была свобода без любви?...

Он не мог ее бросить – ни когда был в Амстердаме, ни в Мельбурне, ни в Севилье.

Но когда вернулся из Токио, то узнал, что она бросила его. Она уехала с Бергером в Израиль.

– Неужели ты не могла оставить меня до Японии? – только проговорил он. А что еще можно было сказать?..

Ему было так плохо, что даже Вивальди не мог он играть.

И в следующую поездку решил остаться. Вместе с гобоем – больше никого не было у него во всем этом мире...

Маршрут их турне был продуман как был специально. Три звезды сияли на его пути – Париж, Рим, Венеция.

В каком бы из этих городов вы не остались?

Гоц остался бы во всех трех.

Но он начал с французской столицы – там начались гастроли.

В первый же вечер весь Париж рукоплескал ему. Потому что в зале был «весь Париж».

На банкете были устрицы. Женщины в мехах. Брат испанского короля. Какая-то дама его поцеловала, говорили, жена министра. Потом спорили, какого. Его называли гениальным. Паганини гобоя. Вундеркиндом, хотя ему было под сорок. Он плыл в духах Ив Сен-Лоран. И, наконец, в голову ударило французское шампанское.

И тут же захотелось убежища, просить убежища, но он не знал, у кого. Жена министра куда-то исчезла, их импрессарио был пьян, брат короля уехал в Испанию.

Пока он искал глазами «у кого» – остался один оркестр.

Ему стало тошно, и он протрезвел. По залу мелькала лысина Вайнштейна.

– Не вздумайте собирать бутерброды, – предупреждал он, – и вино из рюмок не сливать. Мне хватит лондонской истории.

Он запихал в рот сэндвич с модзареллой и баклажаном.

– Репетиция в десять!..

Они спустились по широкой лестнице. Гоц вдруг схватился за мраморные перила – внизу, раскинув руки и улыбаясь прямо ему, стоял Айсурович. Лет десять назад они вместе играли у Рошалы, но вот уже пять лет как Айсурович жил на Западе.

– Только не хватало встречи с эмигрантом, – подумал Гоц.

Только бы никто не заметил.

– Старик! – заорал снизу Айсурович и простер к нему руки, – вот мы и встретились.

Он был в белом льняном костюме. На шее – коричневый шелковый фуляр.

Антон бросился к нему и, чтобы заткнуть рот, поцеловал прямо в губы.

– Сука, – горячо зашептал он, – что ты орёшь?!

– Семь лет не виделись, – шумел Айсурович.

– С акцентом, – шептал Гоц, – говори с акцентом!

Их окружили оркестранты.

– Это кто? – поинтересовался Вайнштейн.

– Мишель, – представил Антон, – швейцарец.

– Вы говорите по-русски? – поинтересовался Вайнштейн.

– Нымног, – с грузинским акцентом ответил Айсурович. Другого он просто не знал.

– Был на наших концертах в Ленинграде, – объяснил Антон, – и вот специально приехал сюда.

– То-то лицо знакомо, – промямлил Вайнштейн.

– Очынь лублу класычэскы музык, – опять произнёс Айсурович.

Вайнштейн вздрогнул.

– У вас странный акцент, – заметил он.

– Жынэвский, – объяснил Айсурович.

Вайнштейн подозрительно посмотрел на Гоца.

– Напоминает наш кавказский, – заметил он.

– Не сказал бы, – возразил Гоц.

Потом они пошли в «Доминик».

– Скотина, – всё время повторял Антон, – ты с каким акцентом говорил?!

– Другого не знаем, – извинился Айсурович, – а в чем дело?

– А в том, – объяснил Гоц, – что ты уже здесь, а я еще там.

– Идиот, – заметил Айсурович, – я играл с Вайнштейном в одном оркестре, в кинотеатре «Титан»!

– Ты думаешь, он тебя узнал?

– Мне как-то всё равно, – заметил Айсурович.

– Ты думал о себе там, – вздохнул Гоц, – ты думаешь и здесь.

– К сожалению, – вздохнул Айсурович, – мне здесь не о ком больше думать!

Он заказал старого вина.

– У меня много денег, Гоц, – сказал он, – и мы будем закусывать лягушками. Как тебе там живется?

– На провокационные вопросы не отвечаем, – улыбнулся Антон, – а как тебе тут играется?

– Чудесно, старик. Я играю с большим успехом.

Принесли яства. Всё было диковинное. Антон не знал, как подступить.

– Ешь руками, – приказал Айсурович, – чего церемониться, мы в Париже.

Он подкладывал ему кальмара, устриц, осьминога, гусиные печёнки. И старое вино вливалось в него ручьём.

– Ты где играешь? – поинтересовался Антон.

– На бирже, – ответил Айсурович.

Старое вино, жена министра, кальмары – всё смешалось в голове Гоца.

– Там что, неплохой оркестр? – спросил он.

– Отличный! – крикнул Айсурович.

– К-кто дирижер?

– Башли, – ответил Айсурович, осушая очередной бокал, – слышал такого?

– Н-нет...

– А-а, – протянул он – выдающийся! Лучший на сегодняшний день.

Айсурович громко расхохотался.

– Фазан в вине! – заказал он.

– А духовики вам нужны? – спросил Антон.

– Очень, – сказал Айсурович, – нам все нужны, и инженеры, и химики.

– Как? – не понял Гоц.

– Так, – ответил тот, – у нас все играют. Из музыкантов я один.

Гоц недоуменно смотрел на Айсуровича.

– Запад, старик, – разъяснял тот, – свобода. Кто хочет – тот и играет.

Приплыл в вине фазан.

– Ешь руками, – орал Айсурович, – ты в Париже!

– А ты? – спросил Гоц.

– И я. Но я тут остаюсь, а ты возвращаешься.

– Кто тебе сказал? – хотел выкрикнуть Антон, но сдержался.

– Если ты вернешься туда, – шептал Айсурович, – ты будешь последним идиотом.

Антон обнял Айсуровича.

– Венчик, – торжественно заявил он, – я остаюсь.

Айсурович осоловело глядел на него.

– Ну и дурак, – сказал он.

Антон не понял.

– П-почему? – поинтересовался тот.

– Надо быть последним кретином, чтобы вернуться туда.

– Так я ж хочу остаться!

– Вот и дурак, – вновь повторил Айсурович.

Он был пьян и походил на фазана в вине.

– В каком случае я дурак? – настаивал Гоц, – если останусь или если уеду?

– Если не будешь есть фазана! Париж, Гоц, создан для того, чтоб оставаться! И не только из нашей вонючей державы, но и из стран порядочных. Пришёл, увидел, остался – вот что такое Париж. Но остаться, Гоц, – это полдела, если оставаться – то со скандалом!

– Почему? – не понял он.

– Тогда, старик, к тебе придут импрессарио! У тебя будут турне. И слушатель!

– А без скандала? – спросил Гоц.

– Без скандала ты будешь играть в оркестре на бирже...

Гоц не любил скандалов.

– Разве я заиграю хуже, если останусь тихо? – спросил он.

– Может, и лучше. – ответил Айсурович. – Играть ты, может, будешь и лучше. Но тебя будут слушать хуже! Всё дело в слушании.

– Это как?

– А так, – рявкнул Айсурович, – что лучше играть плохо, но остаться со скандалом, чем хорошо, но без! Я остался без! Где я играю? На бирже! А Шмуклер?

– Он в Париже? – удивился Гоц.

– От его афиш некуда деться. Его рожа щурится со всех домов. А всё потому, что он въехал на грандиозном скандале.

И в это время в окружении полуголых красавиц в ресторан вошел Шмуклер.

– Антохер, – заорал он, завидев Гоца, – в Париже?! С ума сошел!

– П-почему? – не понял Антон.

– Потому что надо быть идиотом, чтоб эмигрировать!

– Я еще не эмигрировал, – оправдывался Гоц.

– И правильно сделал! Не хрена тебе здесь шаландаться! Ты привык к обожанию, идущему из зала, и к корзинам цветов!

– А здесь этого, что ли, нет?

– Антохер, – ласково сказал Шмуклер, – пойми простое: когда ты дуешь в свою дуду в советском фраке – браво орут таинственной русской душе, а не пейзаюму еврею. И жена министра целует великую державу, а не твою жидовскую морду! Как только ты пересекаешь навсегда границу, твоя таинственная русская душа улечувивается, и министерскую жену ты не поцелуешь даже в затылок.

– Но ты же целуешь, – ухмыльнулся Айсурович.

– Потому что я не музыкант, – сказал Шмуклер, – я боюсь скрипки и скрипка боится меня. Я торговец, Айсурович. Я могу продать себя. Там, Антохер, надо продаваться, здесь – продавать! Ты не умеешь ни того, ни другого.

– Но я умею дуть, – сказал Гоц. – Никто не дует в дуду так, как я!

– А вот мы сейчас это проверим, – сказал Шмуклер.

Он схватил Антона за руку и потянул на улицу.

– Сейчас ты увидишь цену себе.

Он поставил его на углу, протянул гобой.

– Дуй!

– Зачем?

Шмуклер сорвал шляпу с головы одной из красавиц и бросил её к ногам Гоца.

– Играйте, маэстро!

Он кинул в шляпу десять франков.

– Играйте, маэстро, и ослепляйте парижан вашей музыкой. И вы увидите ваше будущее.

И Антон заиграл.

Он играл Вивальди. Тот самый концерт, из сна.

И так хорошо, что даже Шмуклер прослезился. И даже его полуголые девицы. Но люди шли мимо, не останавливались, куда-то торопясь и спеша.

Может, за билетами на его концерт.

Когда Антон кончил – Шмуклер и Айсурович устроили овацию. Девицы лобызали его. В шляпе лежало десять франков.

– Шмуклер прав, – протянул Айсурович, глядя на жалкую монету.

– Не слушай его, Антохер! – завопил Шмуклер, – ты играл, как молодой Бог! И я не отпущу тебя в это болото! Идем!

– Куда? – спросил Гоц.

– В полицию. Тут за углом участок.

– Прямо сейчас?!!

– Ты мало ждал?

– Но я ещё не созрел, – растерялся Гоц.

– Сорок лет плюют в лицо – и он еще не созрел!

Они подхватили его под локти и поволокли в участок.

– Я не созрел, – отбивался он, – дайте подумать...

Участок оказался закрыт. Полицейские бастовали. И они пошли пить! И пили всю ночь. И обсуждали, как остаться со скандалом. Они думали над чем-нибудь грандиозным. К утру было решено, что Гоц на завтрашнем концерте в зале Плейель вместо Вивальди исполнит государственный гимн Израиля!

– Вот это будет бомба, – сказал Шмуклер.

– Во всяком случае работа в Израиле тебе будет обеспечена, – заметил Айсурович.

Гоц задумался.

– Может, мне на всякий случай сыграть тогда и гимн Франции? – поинтересовался он.

– Это не скандал! – ответил Шмуклер, – из всех гимнов только гимн Израиля – это скандал!

Антон взял гобой, и в первых лучах парижского утра понеслись звуки «Атиквы». Последние пары танцевали под гимн...

На репетицию он опоздал.

Лысина Вайнштейна пылала.

– Где вы были? – строго спросил он.

– Я разучивал гимн, – ответил Гоц.

Никогда еще он не затыкал так пасть Вайнштейну.

Тот молчал до обеда... И весь концерт неотрывно смотрел на Антона и приторно улыбался.

«Аतिकву» Гоц так и не сыграл. Он не любил скандалов...

После концерта, еще не остывших, их посадили в автобус.

Через окно Антон видел, как метались Шмуклер и Айсурович и делали ему какие-то знаки.

– Швейцарцы? – ухмыльнулся Вайнштейн.

– Любители классической музыки, – развел руками Гоц.

Утром они въезжали в Рим.

Привет, Тит. Чао, Веспасиан. Салют, Феллини.

Слева поплыл Колизей.

– Лучше здесь умереть гладиатором, – подумал Гоц, – чем концертмейстером там.

Там ему не хотелось жить, но больше всего он не желал там умереть. Здесь, под пиниями, даже это было не страшно...

– Буонджорно, Италия, – запел он, – буонджорно, Мария!

Это была модная песенка.

Когда он въезжал в эту страну, на душе всегда становилось удивительно спокойно – от красных стен, от зеленых ставен, от неба и арок. Здесь всё пахло. Запах истории мешался с запахом хвои, и сердце его начинало насвистывать пастораль.

Он понял, что само Провидение не дало ему остаться во Франции и что его земля бежит сейчас под колесами.

Камни Терм Каракаллы горели в римской жаре, казалось, площадь Испании расплавилась и плыла по Тибру, а они сидели на античной сцене в зимних фраках и играли Вивальди.

Гоца всегда это бесило – фрак в любую погоду!

А Вивальди, если хотите, надо было играть в пастушечьем костюме, на лужайке. Но разве советский музы-

кант мог появиться в пастушечьем наряде? И они, как бараны, пыхтели во фраках.

Когда ему дадут убежище, – подумал Гоц, – он будет играть на гобое в рубашечке с открытым воротом и короткими рукавами.

Рим не только рукоплескал. Он ликовал. Он кричал. В зале творилось такое, будто они были не музыканты, а гладиаторы, и он гобоем прибил льва. Пышность банкета напоминала времена Цезаря, до того, как его прикончил Брут. С ним чокался потомок Борджиа. Тряс руку Карло Понти. Его бывшая жена. И, наконец, опять кто-то чмокнул в лоб. Он вздрогнул – это был крёстный отец Каморры, неаполитанской мафии, специально прибывший на концерт на белоснежной яхте.

И вновь ударило шампанское. На этот раз итальянское.

Снова до боли захотелось убежища.

Ничто иное, как шампанское, почему-то толкало его к этому акту. Он начал думать, к кому бы обратиться, но пока искал – все нужные смылись. Крёстный умчался назад, к Санта-Лючии, Понти – к молодой жене, его бывшая жена – к детям в Швейцарию, и остались одни постные лица солистов государственного оркестра.

Вайнштейн говорил опять что-то насчет бутербродов, вина, завтрашней репетиции и языка за зубами.

Гоцу захотелось опустить свой гобой на лысину Вайнштейна, но что мог сделать хрупкий старинный инструмент с хорошо забетонированной головой.

И Гоц впервые пожалел, что не играет на контрабасе...

– Прошу не опаздывать! – добавил Вайнштейн и выразительно посмотрел на Антона.

– Хорошо, – ответил Гоц, – я не опоздаю.

Он одернул фрак, взял инструмент и пошел в Квестуру.

Он даже не думал, что идет просить убежище. Он

просто уходил от коллектива, от лысины Вайнштейна. Он думал, что завтра он не придет ни в 10, ни пять минут одиннадцатого, ни в 11! А в полдень он позвонит.

– Я задерживаюсь, – скажет он ему.

– Где? – услышит он хайский вопль Вайнштейна, – где?!!

– В Италии, – ответит он. И добавит: – Чао!

Гоц шел по Риму, по виа Кондотти, и думал, что вот, через минут двадцать этот город станет его, и он станет Антонио, Антонио Гоцци, и это будет сказка. Он будет учить язык Петрарки, свободно сидеть в шумных пиццериях, играть этим добрым людям Вивальди, просто так, от доброты сердечной, будет пить «Фраскатти» и любить смуглых синьорин, которые никогда не будут от него уходить. И куда – к Бергеру!!!

Гоц чувствовал, как наливались его мускулы, увеличивался рост, расправлялись плечи, голубели глаза, белела кожа и он ощущал себя человеком Возрождения, восставшим рабом!

А может, Моисеем или Давидом. Или Ночью с гробницы Медичи!

Во всяком случае, он чувствовал, что его вылепил Микельанджело Буонаротти. И он, Гоц, был лучшим из его творений!

Так он вошел в Квестуру.

– Буонджорно, Италия, – поздоровался он с полицейским.

Полицейский положил руку на пистолет.

– Скузи, – сказал он.

– Буонджорно, Мария, – улыбнулся Антон.

Полицейский несколько отступил.

– Вы кто? – спросил он.

– Гобоист, – ответил Гоц.

Полицейский не понял. Он знал всё о «Красных бригадах», о «Прима линеа», о баскских террористах. О гобоистах он не слышал ничего.

– Это что еще за организация? – глаза его насторожились.

– Камерный коллектив Союза, – ответил Гоц.

Полицейский щелкнул затвором. Сейчас его уже насторожили два слова – «камерный» и «союз».

– Тайный? – спросил он.

– Что? – не понял Гоц.

– Союз!

Гоцу такое в голову не приходило.

– Да вроде нет, – ответил он.

– А почему тогда камерный?

– Потому что нас немного.

– Сколько?

– Около двадцати.

– Конкретнее!

– Девятнадцать.

Полицейский записал.

– Чем занимаетесь?

– Вивальди, – ответил Гоц, – Скарлатти, Марчелло.

Полицейский начал что-то вспоминать. Вивальди и Скарлатти он не знал. Но на окружного судью Марчелло действительно недавно было совершено покушение.

– Так это вы убили Марчелло? – спросил полицейский.

– А разве его убили?

– Будто вы не знаете!

– Даже если это и так, – ответил Гоц, – даже если его и убили, это было два века назад! Как я мог его убить?

– Вот из этой штучки, – полицейский указал на футляр, где лежал гобой.

– Разве можно убить из гобоя? – удивился Гоц.

– А почему бы и нет, – ответил полицейский.

И Гоц подумал, что Вайнштейна можно было бы и пристукнуть. Но Вайнштейн не Марчелло. Хотя было

бы неплохо, если б они поменялись местами – ими дирижировал Марчелло, а Вайнштейн умер два века назад...

– Как можно им убить? – повторил Антон и потянулся к гобой.

– Не трогать оружия! – приказал полицейский и взял гобой. Такого рода «автомат» он видел впервые.

Полицейский направил гобой в потолок и начал нажимать на клапаны.

Гобой не стрелял.

– Как стреляет эта штука? – спросил он.

– Возьмите в рот, – посоветовал Гоц.

Полицейский раскрыл пасть и начал засовывать туда раструб.

– Так не влезет, – заметил Антон, – другой стороной.

Полицейский подозрительно покосился на Антона и сунул гобой иначе.

– Теперь дуйте!

Тот раздул щеки и задул. Странные звуки заполнили Квестуру. Полицейский перестал дуть.

– Не стреляет, – обиженно сказал он.

Гоц иронично взглянул на стража.

– А скрипка стреляет? – спросил он, – а тромбон?

Про скрипку полицейский промолчал.

– Про скрипку не скажу, – протянул он, – а из тромбона, по-моему, стреляли в нашего прокурора.

Музыкальная тематика начинала надоедать Гоцу.

– Сеньор, – сказал он, – гобой – музыкальный инструмент, для которого писал великий итальянский композитор Вивальди. Если хотите, я вам с удовольствием сыграю что-нибудь.

И он вновь заиграл концерт из своего сна.

Полицейский слушал внимательно. Ему вспомнилось детство. Сицилия. Лимонная роща. Кармелла в белом воздушном платье. И как он плакал, когда катер увозил его с острова.

– Это-таки оружие, – сказал потом он, – оно стреляет прямо в сердце. Зачем вы пришли сюда, сеньор?

Итальянское шампанское покинуло голову Гоца.

– Я советский музыкант, – сказал он.

– Очень приятно, – ответил полицейский, – а я – Марио. Вы бы что-нибудь хотели?

Антон понял, что на трезвую голову он остаться не может. Даже без скандала.

– Шампанского, – попросил он.

Марио развел руками.

– К сожалению, в Квестуре запрещено пить, – объяснил он, – но утром мы пойдем ко мне, и я угощу вас дивным вином.

– Утром будет поздно.

– То есть, вы хотите сейчас?

– Да.

– И ради этого пришли?

– Н-нет, – ответил Антон.

– А ради чего?

– Я, – убежище опять уплывало от него, – я хотел бы вас пригласить на концерт...

На репетицию он пришел раньше других.

Но Вайнштейн, который явился почти час спустя, всё равно подозрительно посмотрел на него.

– Что-то вы слишком рано, – проворчал он.

Вайнштейн боялся Гоца. В этой поездке это был единственный музыкант, у которого в России не осталось заложников.

И если б Гоц, упаси Бог, остался в Италии, то он бы навсегда остался в России. Его б не выпустили даже в монгольские степи...

И поэтому вдруг он заулыбался Гоцу. А после репетиции обнял.

– Вы играете, как волшебник, Гоц, – сладко произнес он, – я думаю взять вас с собою в Грецию.

– В Элладу ты поедешь без меня, – подумал Антон.

На вечернем концерте какой-то полицейский все

время махал Антону, и Вайнштейн просто не мог дирижировать. И вообще зал был полон полицейских. Ему было не по себе.

- Гоц, – спросил он, – что у вас общего с полицией?
- Я убил Марчелло, – сознался Антон.
- Как? – крикнул тот.
- Из гобоя...

После концерта Гоца окружили полицейские.

Вайнштейн думал звонить в посольство. Но, увидев, что Марио распахнул перед Антоном дверцу машины с надписью «Полиция», взмахнул палочкой – и весь оркестр бросился на помощь. Быстрее всех, на криковых ногах, нёсся Вайнштейн.

- За что? – спросил он у Марио.
- За Марчелло, – ответил тот.

– Это недоразумение, – не слушал Вайнштейн, – товарищ Гоц крупный музыкант, политически выдержан. Морально устойчив. Вы взгляните на его характеристику. – Он выхватил листок: – Товарищ Гоц, 1945 года рождения, является...

– И не только за Марчелло, – добавил Марио, – но и за Скарлатти. И за Вивальди, – и он распахнул заднюю дверцу: – Прошу и вас.

– Меня?! – завизжал тот.

– Да.

– Я никого не убивал.

– Вы убили наповал всех нас, – ответил Марио, – всю Квестуру.

Вайнштейн потерял голову.

– Провокация, – вопил он, – я требую немедленно связать меня с послом.

Весь оркестр мчался в неизвестном направлении в полицейских машинах. В головной машине сидел Вайнштейн и выл, как сирена.

Римляне кидались в стороны.

– Вы разбудите Рим, – предупредил Марио, – вот вам телефон, звоните.

- Куда?
- Куда хотите.
- Я хочу в Грецию!
- Вначале шампанское, – предупредил Марио.

Они пили у него дома, в Альбано, на берегу озера. Потом запели. Итальянцы – «Белла, чао», Вайнштейн – гимн Советского Союза. Оркестранты встали. Марио стал их усаживать.

- Куда вы? Еще рано.
- Ему удалось их усадить.

Тогда Вайнштейн затыкнул «Интернационал». Члены партии вскочили. И Марио тоже.

– Мы танцевали под него на Сицилии, – объяснил он.

И тут шампанское снова ударило в голову Гоца. И не надо было далеко ходить. Он склонился к уху Марио.

- Ты знаешь, зачем я вчера приходил? – спросил он.
- За шампанским! – ответил Марио, – и чтобы пригласить на концерт.
- Нет, – возразил Антон, – я хотел попросить... Он запнулся.
- Всё, что угодно, – закричал Марио, – проси!
- Тихо, – оборвал его Гоц, – не шуми.
- Проси! – гремел Марио, – для тебя ничего не жалко.

«Интернационал» прервался. В доме повисла тишина. Вайнштейн перестал дышать.

– Ну, проси, – шумел Марио, – итальянская полиция к твоим услугам!

Весь оркестр смотрел на Гоца, будто он был дирижер. Вайнштейн начал молитву.

– Шма Израэл, – произнес он.

Гоц долго молчал.

– Передайте, пожалуйста, соль, – наконец, вежливо попросил он.

Всю дорогу в Венецию Вайнштейн нежно целовал

Гоца, а недалеко от Вероны сообщил, что будет рекомендовать его на свое место дирижера.

– Знаете, Гоц, я уже стар. И моя палочка по праву принадлежит вам. Только у меня к вам просьба – не просите больше соли. Вы не представляете, как она повышает давление...

В Венеции Гоц понял, что убежище он попросит здесь. Потому что здесь – родина Вивальди. Не зря во сне он плыл именно по этому городу. Не зря качалась гондола на волнах...

Венецию он не мог понять, схватить. Она уплывала от него в каналы, в лагуну, в море, и лишь белые мраморные колонны вставали из воды и уходили в небо.

В первый же вечер он взял гондолу и поплыл в свой сон.

Всё было так, как приснилось, – зеленая вода, и Ка д'Оро и Гритти Палас Отель. Наконец, он заметил белую Санта Мария делла Пиета.

Небывалое волнение охватило его. Он встал в гондоле и стал ждать, когда из массивных дверей появится старый маэстро и попросит сыграть что-нибудь из Вивальди.

Но старый мастер не вышел. Было тихо, и только на фронтоне молодая мадонна оплакивала своего сына...

Гоц достал гобой и заиграл концерт.

И опять на ступеньках не появился маэстро, не снял парик и не пригласил его к себе.

– Вы божественно играете, – сказал гондольер, – во всей Венеции нет музыканта, подобного вам.

Вечер спустился на Венецию. Гоц взглянул на статного гондольера, и ему показалось, что перед ним старый маэстро.

– Вы Вивальди? – сказал он.

– Вивальди, – ответил гондольер, – переезжайте в Венецию. Я буду бесплатно катать вас на гондоле.

– Не могу, маэстро, – вздохнул Гоц.

– Почему? – удивился гондольер.

– Я из Советского Союза.

Гондольер печально взмахнул веслом.

И колокол на Санта Мария делла Пиета тревожно забил.

Гоц понял, что пора просыпаться. Но он не спал...

Вечером Гоц пошел в гетто. Говорили, что оно первое в мире. Они принимали евреев, эти венецианцы, когда их гнали из всех стран. Может, они примут и его? Ведь никто так блестяще не играет Вивальди...

Он прошел по площади Нового гетто, мимо колодца, мимо синагоги, где почему-то играли дети, и спустился в лавку.

Толстая красивая женщина в синем платье продавала хрусталь, муранское стекло, пепельницы и вазы из оникса, и на всём была или звезда Давида, или менора.

– Я еврей, – почему-то сказал Гоц.

– Очень приятно, – ответила женщина.

– Много евреев в Венеции? – поинтересовался он.

– Тысяча, – ответила она.

– Я буду тысяча первым, – улыбнулся он, – тысяча и один еврей! Разве это не сказка?! Как тысяча и одна ночь.

– Тогда вам подойдет этот хрусталик на шею, – предложила женщина.

– А что это в нем? – спросил Антон.

– Это «ХАЙ».

– ХАЙ? Что это «ХАЙ»?

– Хай – это жизнь, – ответила она.

– Жизнь – это мне подходит, – сказал Гоц.

– Если вы возьмете две жизни, – женщина мягко улыбалась, – я вам сделаю скидку.

– Почему бы и нет, – произнес он, – две жизни лучше, чем одна.

Он заплатил за две жизни и вышел на площадь Нового гетто.

Смеркалось. Красные облака плыли над красными домами.

Они уплывали из Венеции, а ему не хотелось.

Он вернулся в лавку.

– Сеньора, – спросил он, – где здесь Квестура?

– Квестура, – сеньора немного удивилась, – в двух шагах, на той стороне канала.

Поднявшись из лавки, он увидел ее. Она отражалась в темнеющей воде. Он мог быть там через минуту.

Но вначале Гоц все-таки решил выпить шампанского. Без удара в голову идти в Квестуру он не мог.

– Сеньора, – он в третий раз очутился в лавке, – у вас есть шампанское?

– Нет, – ответила сеньора, – но у меня есть к нему бокалы.

– Но мне надо шампанское.

– Неужели вы будете его пить из бутылки? – поинтересовалась женщина, – вы взгляните на бокалы, их только что доставили из Мурано. Они едва остыли. И потом, такого цвета давно не поступало...

Гоц выбрал багровый бокал с позолотой.

– А шампанское, – добавила женщина, – вы купите у табачника, по дороге в Квестуру...

Шампанское он взял самое дорогое, в бирюзовой бутылке с длинным лебединым горлом.

Гоц шел в Квестуру и подливал из бирюзовой бутылки в багровый стакан золотое шампанское.

Наконец, оно ударило. И как! Недаром оно было дорогое.

– В самый раз, – подумал он и решил войти в Квестуру. Дверь была прямо перед глазами, прямо вот, в двух шагах! Но эти два шага был канал. Он обежал его по каменному мостику с черной решеткой, и она оказалась почти в одном шаге. Но тоже за каналом.

Тогда Гоц рванул налево, вернее, канал вел его туда. Он вел его минут двадцать. Квестура была почти на горизонте.

Он побежал обратно, но канал уводил его, не давая приблизиться. Это был странный город – не Гоц выби-

рал дорогу, а дорога диктовала ему. Он бегал, как пес. С моста на набережную и снова на мост. Забегал в подворотни, тупики, на мостки, дважды чуть не свалился в воду и, наконец, оказался на Пьяцца Сан-Марко.

Красная колокольня улетала в багряное небо. Зажигались фиолетовые фонари. Гондолы качались на фоне Сан-Джорджо.

Ноги его гудели, и он сел в кафе. Это был «Флориан». Здесь сиживал Гёте. Писала Жорж Санд. Дремал Стравинский.

Меж столов сновали адмиралы с подносами.

– Может быть, здесь бывал и старый маэстро, – подумал Гоц.

– Простите, – обратился он к «адмиралу», – за каким столиком сидел Вивальди?

«Адмирал», не задумываясь, показал, за каким.

Гоц пересел и заказал «капуччино»

Средь нарядной толпы летали голуби.

Принесли кофе и счет. На счете было тринадцать тысяч.

– Позвольте? – встрепенулся он, – за что?!!

– Пять – за кофе и восемь – за Вивальди, – объяснил официант.

Гоцу полегчало.

Оркестр из трех стариков играл мелодии сороковых годов. Антон любил их. В эти годы он родился. Прилетел голубь и сел на стол.

Гоц угостил его «капуччино».

Ему было хорошо за столиком великого маэстро. И он подпевал оркестру.

– Скузи, сеньор, – остановил он официанта, – где здесь Квестура?

– О-о, это далеко. Вам придется взять гондолу, дотторе.

«Дотторе» пересчитал лиры. Шампанское, бокал для шампанского, столик Вивальди – в кармане почти

ничего не звенело. Когда платили двадцать долларов за концерт – гондолы, видимо, в виду не имелись...

Он зашагал в Квестуру пешком.

Шел он долго, под венецианским вечерним небом, под свежевывстиранными панталонами и простынями, колыхавшимися над ним.

Многочисленные кошки дружелюбно мяукали ему, и немцы, которые, казалось, были всюду, кивали друг другу белыми головами на красных шеях, и в воздухе летало «я», «я»...

Квестура напоминала мираж – она то приближалась, то отдалялась, но ни разу Гоц не оказался у ее дверей. К ней нельзя было подойти. К двери можно было только подплыть. А плавать Гоц не умел. Он метался вдоль канала и смотрел на отражение двери, плавающее в воде.

У моста, в тельняшке и широкополой соломенной шляпе с красной лентой, сложив на мощной груди загорелые руки моряка, стоял гондольтер.

– Ля гондола, – повторял он, – ля гондола...

Вот уже полчаса он наблюдал за Гоцем.

– Сеньор, – окликнул он, – что-нибудь случилось?

– Мне надо туда, – почти в панике указал Гоц на ту сторону канала.

– Ногами здесь не помочь, – ответил гондольтер и прыгнул в свою гондолу, – давайте руку.

Он протянул свою сильную ладонь Гоцу.

– Тридцать тысяч – и будете там.

– Тридцать тысяч! – ужаснулся Гоц, – тут же плыть секунда!

– Я беру за час, – объяснил гондольтер, – и плыви куда хочешь, – уна ора – транта миля!

– Мне ж не кататься, – воскликнул Антон, – мне ж уб... – Но спохватился. – А, чёрт с тобой! Давай уна ора – транта миля! Только престо!!!

Он неловко перековылял в гондолу, устало уселся на резную банкетку, покрытую красным бархатом, гон-

дольер встал на корму, уперся длинным веслом и запел.

– Скажите, девушки, подружке вашей, – выводил гондольер, – что в мире всех она милей и краше...

Голос гондольера успокаивал Гоца.

Гондольер пел баркароллу, «Санта Лючию», Леонавалло, арию Риголетто. Никто еще не отправлялся за убежищем под звуки «бель канто».

– Именно так должен отправляться музыкант, – подумал Гоц.

Он достал багровый бокал и бирюзовую бутылочку.

– Прего, сеньор, – он протянул гондольеру шампанское, – за музыку!

Тот с удовольствием выпил.

Затем выпил Гоц.

Потом они пили за оперу, за Карузо, за Джузеппе Верди!

– ...И вот я умираю, – заливался гондольер. Он перешел к Пуччини.

– Чуть выше, – попросил Гоц, – «и вот я умираю».

Гоц запел, гондольер подхватил, и они пели вместе, обнявшись и стоя на корме.

Белые головы из черных гондол поворачивались в их сторону.

– «Я», «я», – доносилось из гондол.

На мосту Риальто Гоц вдруг увидел Вивальди. Тот улыбался ему и пел что-то свое.

– Белла, чао, белла, чао, белла, чао! – пел Вивальди и весело махал ему рукой, высунувшейся из кружевного манжета.

А из-под моста вдруг выплыла гондола, и ему показалось, что в ней сидит Вайнштейн.

– Ерунда, – подумал Гоц, – просто все лысины мира похожи.

Это была явная галлюцинация – Вайнштейн ни за что на свете не взял бы гондолу. Трента миля – уна ора!

Он был дикий жмот. За все годы он не позволил себе даже чашечки «ристретто», стоя, а не то что за столиком Вивальди!

Да к тому же лысина, сидевшая в гондоле, пела, а Вайнштейн не пел даже на собственной свадьбе.

Гоц успокоился. Уплыл сеньор, похожий на Вайнштейна, растаял на мосту Вивальди, а Квестуры все не было.

Время от времени она, правда, появлялась вдали, но тут же таяла, как Вивальди...

Гоц перестал петь.

– Сеньор, – сказал он, – если через десять минут мы не будем в Квестуре, мне там делать нечего. Всё выветрится, – он постучал по голове.

Гондольер с удивлением смотрел на Гоца.

– Станный вы турист, – сказал он, – первый, кто смотрит в Венеции Квестуру. Как-никак, это не самая большая достопримечательность. Там нет ни Тьеполо, ни Веронезе. Ее не строил Сансевино. Она омерзительной архитектуры – ни лоджий, ни колонн. К тому же плохо пахнет.

– Хотите, – предложил он, – я отвезу вас на Мурано?

– Мурано, – равнодушно повторил Гоц. Хмель покидал его.

– Или Бурано? – сказал гондольер.

Антон махнул рукой.

– Вези, – ответил он, – все равно – Мурано, Бурано...

Он был уже абсолютно трезв.

Мурано было далеко, Бурано еще дальше, и Гоц чуть было не опоздал на концерт.

Они сидели на сцене изумительного зала, где золото спорило с бархатом, а жемчуг с горностаем.

Публика была такой богатой, что, казалось, в зале сидели одни дожи с дожихами, или как их там.

В зале сидели дожи и дожихи, а на сцене – жидожские морды.

Все ждали выхода дирижера.

На красочном плафоне летали ангелы и мадонны. Дирижер не появлялся. Раздались аплодисменты. Вайнштейн любил эти первые робкие хлопки. Он всегда ждал их. И после он подтягивал живот и выпрыгивал на сцену, как барс.

Аплодисменты усиливались, но барс не выпрыгивал.

В голове Гоца вдруг проплыла гондола с лысиной на борту, и он с ужасом увидел, что лысина плыла в сторону Квестуры...

Зал уже волновался. Аплодисменты стали сильнее и нетерпеливее. Никто не знал, что же предпринять.

И, наконец, из-за кулис вышел человек.

Это был не Вайнштейн. Это был какой-то офицер, совершенно не похожий на Вайнштейна, и без палочки.

Он приблизился к авансцене, поднялся на возвышение, откуда обычно дирижируют, и объявил довольно странную программу.

– Вайнштейн, – торжественно произнес он. – Политическое убежище!

Такого концерта они еще не играли.

Зал онемел. Оркестр тоже.

И вдруг, все вместе, не сговариваясь, не репетируя, они заиграли траурный марш Шопена, как бы провожая себя в последний путь.

И даже дожи в зале догадались, что больше никогда не услышат этих жидожских рож.

Крылатый лев летал над лагуной...

В ту же ночь их сажали на специально зафрахтованный самолет. По дороге в аэропорт он попросился в туалет. Он еще на что-то надеялся.

– В Москве! – сказали ему.

При посадке их трижды пересчитали. Затем задраили двери. Самолет взлетел, навсегда оставляя под

собою Мурано, Бурано, недоступную Квестуру, столик Вивальди и песнь гондольера. Оставляя под собой свободу, серебристый лайнер летел в гетто. Гоц смотрел в иллюминатор и, когда пересекли границу, – уснул. Ему приснилась Венеция. На черной гондоле он подплывает к дворцу. Навстречу выходит дож – и Гоц вежливо просит его передать ему соль...

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США, с 1910 г.

Главный редактор **Андрей Седых**

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

519 Eight Avenue, 5th floor, NEW YORK CITY, N. Y. 10018 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

«СНЕГ, СВЯТАЯ ПРОСТОТА...»

* * *

Прими, о Господи, уродца,
приспособленца и вралю!
Я не могу совсем бороться
с круговращеньем февраля!

Когда – сплошное полыханье,
мартофевраль, январьапрель.
О, это белое дыханье!
Еще ни гроб, ни колыбель.

ВОСХОД СОЛНЦА

Сказать простое слово,
последнее! поверь,
и первое! – и снова
звонок жандармский в дверь.

Что делать, если снова
беременна гортань!
Крест на паркете, словно,
пылая, Иордань*.

* Крестообразная прорубь, которая устраивалась для освящения воды в праздник Крещения. В такой проруби купались.

СНЕГ НА БОЛЬШОЙ НИКИТСКОЙ

Пока не будет снега,
не будет и стихов.
Светлейший этот с неба
ворох ворохов!

Пока не будет счастья,
не будет и стихов.
Заблаговестят засветло
сорок сороков!

Целуя твой глазастый
морозный, ясный лик,
я крикну: «Пушкин, здравствуй!
Смотри-ка, снег велик!»

* * *

И тянется дымок с порога
и до деревьев достает.
В хлеву Мария Сыну-Богу
простую песенку поет.
И тихо ангелы слетают
и взлетают во хлеву.
У входа ослик рвет траву
и вол кадильный дым вдыхает.

* * *

Загробный март. Всему конец.
Полузадушенные проруби.
И мокрый терн. Когда б не голуби!

Легко, усилий и не делая,
вступает в небо серебро.
И во весь мир победа белая
стучит, толкается в ребро.

* * *

Моя любовь, мой сад лучистый,
где Шуберт песенку поет,
где тайно-белый, вечно чистый
с утра боярышник цветет!

...Снег с боярышнева куста.
Снег, святая простота.

* * *

Когда умру, я стану дурачок.
А ты не плачь! Нисколько не вдоваея,
ты тут же станешь тоненькая фея
и потеряешь в лавке башмачок.

ФОТОГРАФИЯ ДЕСЯТЫХ ГОДОВ

Недалеко от Сивцев-Вражка
сфотографирован апрель.
Вот человек шагнул. На нем фуражка
и долгополая шинель.

Светло, и снег свободно тает.
Последним светом куполы горят.
С Каширы ветер налетая,
захлопывает форточки подряд.

* * *

То – нивы полные. Стрижи
мгновенные, с предсмертным стоном.
Когда же, Господи, скажи?
То платиной, то молоком топленным.

* * *

О Господи, да все отдать!
Кипит Покровка листопадом.
И золотая благодать
сияет в сердце тайным вкладом.

* * *

«...и продолжал
полет в сторону Японского моря».
Сообщение ТАСС

Когда молчу, тогда вполне
я разделяю ваш обычай.
Когда молчу,
тогда лечу
в ночи камчатской за добычей,
и кровь невинная на мне.

Как тошно в нашей тишине,
глухонемые мои братья!
Когда молчу – и я каратель,
и кровь невинная на мне.

Как это можно всё забыть?
Ходить, как прежде, на работу
и в гости к бабушке в субботу?
На четвереньки! И завывать!

Отныне все мы наравне!
Закон – тайга. И правда волчья.
Когда молчим, мы воем молча.
И кровь невинная на мне.

* * *

Везде Господь – в дожде и стуже
и чистой складочке любой
последних астр, и в этой луже
от неба слепо голубой,
в голодной и неугомонной
всей воробьиной гольтьбе,
и неумолкнувшей мольбе
мгновенно рощи осветлённой.

ноябрь 83 г.

Многие лета «Континенту» – главному редактору Владимиру Емельяновичу, редакционной коллегии и всем читателям «Континента».

Евгения Лерхе из Оффенбаха

ЛОПАРСКИЙ ПОСЕЛОК

Рассказ

Машина дров стояла шестьдесят рублей. За самовывозом с дровами в деревне давали сорок: кузов короче. Пыжиковую шапку лопари уступили за сорок. Оставалось два червонца, но отдавать их никто не собирался.

– Привезите еще, будет две шапки, – сказала лопарка. – Каждому.

У Спиридонова уже имелась лисья шапка на дембель. Федя Панов брал себе эту. А Тиме не полагалось. Он отслужил только год. Ему предстояло еще тянуть и тянуть. Да и парень он был не из запасливых.

– Две красненьких, – хрипло сказал Панов. – Гони червонцы, и хорэ бакланить.

Маленькие глаза его остановились и сблизились. Он как бы прицеливался. Капюшон был надвинут низко на лоб. Пар от дыхания оседал на усах, побелил брови. Панов был тяжелый, как статуя. И хотя он стоял неподвижно, снег скрипел под валенками. Если Федя спрашивал двадцать копеек на станции Оленья, ему давали полтинник. Но на женщину ни его бас, ни фигура не произвели впечатления.

– Может, шкурку вдобавок возьмете? Хорошая, песок.

– Бабе? – Саня Спиридонов скосил глаза на Панова. – На воротник сгодится.

Он был шофер – ноги мерзли в сапогах, – ему не терпелось разделаться, да и мотор быстро остывал на морозе.

Тима тоже посмотрел на Панова с надеждой. Он помнил смуглую, черноглазую, с золотыми, выгоревшими под кубанским солнцем косами, худенькую казачку.

ку, навестившую Федю летом, – редкий случай, чтобы жены в такую даль приезжали повидаться.

– Обойдется, – сказал Панов и с тоской оглядел двор, заваленный мерзлым лесом.

Торговаться надо было раньше, машину они разгрузили. Он переступил с ноги на ногу и надвинулся на женщину.

– Нет у меня денег. Нет, – сказала она. – Что хочешь забирай: шапку, воротник, малицу, чулки оленьи. А денег нет.

День выдался хмурый, морозный, короткий. С утра они договорились с сержантом за бутылку, чтобы не было секи, отвалили с работы, нагрузили машину лесом на просеке, где работал чужой отряд, чужим лесом. И рванули в поселок к лопарям.

С лопарями было условлено: самосвал дров – пыжиковая шапка. Но они привезли больше, здоровую машину. И дрова никто не брал. Деньги у лопарей не держались. И никто не хотел связываться с солдатами. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не эта женщина. Она прибежала к машине с шапкой. Пыжик понравился Панову. Она говорила по-русски хорошо, правильно, чуть смягчая согласные. И они поверили ей, дрова сгрузили во дворе. А теперь она не хотела платить. Должно быть, деньги у нее на самом деле не водились. Оставить сгруженный лес солдаты не соглашались. И деть его было некуда. Шапку они добыли, но сержант ждал бутылку, которую купить пока было не на что.

Мотор остывал. Трубки радиатора сухо потрескивали. Саня Спиридонов переминался с ноги на ногу. Он не носил валенки даже в сильные морозы, не любил управлять машиной в валенках. Прошлой зимой он пару раз подморозил пальцы. И теперь на холоде ноги болели, они быстро замерзали в сапогах.

– Нет денег, водку ставь, – предложил Спиридонов.

Панов с Тимофеем одобрительно переглянулись. Они взмокли на разгрузке и уже начинали зябнуть.

– Водка хорошо, – закивала лопарка, и лицо ее смягчилось: румяные скулы раздвинулись шире, в уголках глаз побежали морщинки, а сами глаза сузились и синеватно засветились. – Хорошо, только...

– Что только? – грубо оборвал Федя.

– Пить здесь только, – спокойно договорила она. – У меня пить будете. В развоз не продаю, – и, заметив недоумение солдат, добавила: – Водка своя.

– Что у тебя тут, кабак? – хмуро спросил Спиридонов.

– Кабак, кабак, – засмеялась она. – Водка своя, закуска своя, дочки две да я сама. Хватит?

– Комплект, – усмехнулся Тима и тотчас пожалел.

– Комлет, комлет, – подхватила она. – Комлет.

Саня и Панов не сговариваясь двинулись к крыльцу. О дровах они забыли.

– Одну бутылку дашь с собой. – уточнил Федя. – Командиру.

– Командиру дам, – согласилась она, – командиру, пожалуйста.

Тима шел сзади. На крыльце перед дверью, когда женщина вошла в дом, они остановились.

– Договоримся насчет девок, – предложил Саня.

– Увидим, тогда решим, – сказал казак.

– Когда увидим, поздно будет делить, – невозмутимо возразил Спиридонов, он был из Торжка и на гражданке работал шофером у районного начальства, так что понимал толк в делах.

И Панов согласился:

– Мне какую потолще, – сказал он.

– А хозяйку молодому, – засмеялся Спиридонов.

– Тетка в соку, – одобрил Федя и оглянулся на Тимофея. – Опыту набирайся.

Тима не нашелся ответить. Он кивнул. Ему хотелось в тепло. Хотелось посидеть за столом и выпить. Хотелось забыть, что впереди два года солдатчины. Что к вечеру надо вернуться в отряд, в казарму. Что утром

все опять пойдет неспешной чередой. А еще год назад это выглядело иначе, казалось иначе. Теперь давние, минувшие времена хотелось забыть. Забыться – было единственное желание. А лопарка и то, что ему предстояло с ней, в тот момент маячило так далеко, что ни за что бы не удалось соединить это в единый образ, в картинку, – увидеть. Он и не пытался.

Тима вошел в дом за товарищами, притопывая ногами, сбивая веником снег с валенок. Сеней не было, а только холодный коридор, оснащенный голой лампочкой, болтавшейся под потолком на проводе. Он повесил спецак на гвоздь рядом с бушлатами Панова и Спиридонова и шагнул в полутемную комнату, где хозяйка уже шустрила у раскаленной печи, заливала водой очищенную картошку, гремела чугунами и ухватом. В комнате было жарко, и, если бы не голод, Тиме захотелось бы спать.

Девки оказались молодые, девятнадцать и двадцать один. Обе плотные, румяные, с льняными волосами, белесыми бровями и бледно-голубыми вымороженными глазами. Они обрадовались солдатам и быстро собрали на стол. Старшая внесла большую трехлитровую бутыл, почти полную, плотно закупоренную газетной затычкой. Младшая расставила тарелки и стаканы, спустилась в погреб за огурцами и моченой брусникой. Ягоды, яркие и крепкие, плавали в багряном соке. Обе работали ладно, быстро, толково, исподволь поглядывая на солдат. На Спиридонова и Федю Панова они глядели с уважением. Тима им не понравился.

Тима угадал это. Понял нутром, уловил безошибочно, что не нравится им. Они не принимали его всерьез. А ему они нравились. Обе. По его понятиям, красавицами они не были, но его влекло к ним. И чувство было теплое, здоровое. «Телки», – подумал он.

– Садитесь, что ли, – крикнула хозяйка, она хлопотала в кухне, за занавеской.

Федя сел со старшей, а Спиридонов на углу. Младшая бегала по комнате. Тима выбрал дальний конец стола. Он сидел там один.

Хозяйка вернулась в комнату. Теперь, без ватника и платка, она выглядела мягкой и домашней. И совсем не старой. Странно было видеть, какие у нее взрослые дочери. У печи она покраснелась, распарилась и теперь хотела пить. Она поставила на стол фаянсовые чашки и разлила по чашкам брусничный настой. Ягоды выплеснулись из банки и плавали в чашках.

– Запивочка, – сказала она. – Мужскую силу подымает.

Она выпила настой и налила себе еще. Потом принесла картошку в чугушке, обмотав его грязной тряпичей, и принялась раскладывать по тарелкам закуску.

– Что сидите-то, участвуйте!

Федя протянул руку и выдернул газетную затычку из бутылки. Спиридонов положил ему на тарелку огурец. Потом себе, потом Тиме. Девки обслуживали себя сами. Панов налил водки им и матери, потом друзьям. Рука у него была уверенная и честный глаз.

Хлипкий стол шатался, и водка в граненых стаканах радужно сверкала. Хозяйка закончила с картошкой, накрыла чугунок и, обтерев ладони об юбку, под села на угол к Тимофею. Он нравился ей, такой городской и скромный, и совсем зеленый парнишка. Она положила на него глаз. Всем это было ясно. Только Тима пока не понимал. Он ее не чувствовал. Он сидел одиноко и ждал, когда можно будет сделать глоток и приступить к еде.

– Ну, поехали, – Федя Панов поднял стакан.

– Пора, – поддержал его Спиридонов.

Они пили и ели много и быстро. И опять пили, и наливали друг другу, и подкладывали на тарелки, и не спрашивали друг у друга имен.

– Мужика у тебя нет, что ли? – поинтересовался Спиридонов.

– Был, – сказала хозяйка.

- Был, да весь вышел, – пошутил Федя.
- Не знаю, – сказала хозяйка, – может, живой.
- Как это?

Дочери молчали. Они молча жевали хлеб. Скулы у них трещали. Тима подумал, что нехорошо так прямо расспрашивать. В том не доставало деликатности. Но ему тоже стало интересно.

– Бригадира он подранил. На охоте. Ну, и подался в лес. На финскую границу. С тех пор ничего не знаю.

– Давно?

– Четыре года.

– И не поймали?

– Ни слуху, ни духу. Может, в Финляндии.

– Финны выдают наших, которые бегут, – авторитетно сообщил Спиридонов. – Норвеги другое дело.

– То ваших, а его не выдадут.

Солдаты посмотрели на нее недоверчиво.

– Родня у него там. Спрячут.

– Ты откуда по-русски так хорошо знаешь? – спросил ее Федя Панов. – Мужик, что ли, русский был?

– Саами, – она засмеялась хитро и указала на дочек.

– Мать у меня русская. Ссылная. Прижилась в тундре. Пригрелась. Вышла за лопаря.

– А бригадира он того, не нарочно? – спросил Тимофей.

– Кто же его знает? – сказала она и задумалась, и лицо ее на секунду стало грустным. – Однако бригадир известный гад был. Не поверит никто, что случай.

Самогонка Тиме понравилась. Она была лучше казенной водки из магазина. И казак тоже похвалил продукт. Он сделался пунцовым, лицо горело. Спиридонов тоже покраснел. Девушкам было весело. Они хихикали. Хозяйка подливала.

Тима не почувствовал хмеля. Ему было жарко, он расстегнулся до пупа, но градуса не чувствовал. Он выпил еще стакан и со стеклянеющей отчетливостью сообразил, что напрасно старается – не опьянеет. Сего-

дня не получится. Нервы натянуты. С ним такое случилось. Это началось после госпиталя. С тех пор, как он угодил в штрафную команду, такое случалось уже четыре раза. Нервы слишком напряжены, и он не почувствует алкоголя, если будет пить дальше, пока не свалится, пока не станет худо.

Он посмотрел на друзей и порадовался за них. Они были сильно на взводе. На женщин водка действовала меньше. Или они лучше держались. Утром они не работали на воздухе, на морозе. И питались лучше.

– А я тебя запомнил, – среди общего шума сказал Саня Спиридонов старшей сестре. – Запомнил, запомнил. Ты приходила в дивизию на танцы. В дом офицеров, а?

– Летом приходила, – сказала она.

– Что, парней у вас тут мало? Не хватает?

Она смутилась.

– С солдатами интересней?

Девушка молчала. Она покраснела больше.

– У солдата с ногтем, – смеясь ответила мать.

Старшая сестра совсем смешалась под смехом и взглядами. И Федя Панов обнял ее. Она спрятала лицо на его плече. До сих пор сидели чинно. Но Федя встал и поднял девушку за руку.

– Пойдем.

Спиридонов встал. Он шагнул к младшей. Мать смеялась. Она тоже была пьяная. Четверо вышли в другую комнату. За дверью послышалась возня, притворные протесты.

Тима сидел не шевелясь.

Комната перед его глазами слегка покачнулась. Комната поплыла и остановилась. Он обрадовался. Но радовался он зря, голова осталась ясной. Тима сидел за столом и смотрел на женщину. Она подняла лицо, красное и веселое. Он остался спокоен. Она подмигнула. Но это ему не понравилось, потому что он чувствовал себя

слишком спокойно. Она потрогала его за плечо. А он сидел и рассматривал ее.

За стеной дружно взвыли и заухали панцирные сетки кроватей.

Лопарка опять засмеялась. Она поднялась с табуретки, подошла к окну, задернула занавески. Он продолжал ее рассматривать. Она была симпатичная, еще не старая, мягкая и умелая женщина. Хорошая женщина. То, что нужно. «А я ее рассматриваю», – подумал Тима и понял, что ему никуда не деться.

Игорь Павлиско, смуглый гуцул из Львова, рассказывал, что в таких случаях он вспоминает другую женщину. Одну и ту же. Всегда одну. Просто старается представить, что он опять с ней. Вообразить. И если удается, все идет путем.

Тима так не мог. У него это было иначе. Он знал, если вспомнит хоть что-то из прежней жизни, у него вообще ничего не выйдет. Не получится. Он это понимал. Он сидел за столом совсем спокойно и не вспоминал. Лучше было не вспоминать.

В комнате стало сумрачней. Лопарка подошла к нему сзади и обняла. Губы у нее были мягкие и вкусно пахли огуречным рассолом. И сама она опрятно пахла простым мылом и крахмалом. В комнате было жарко, и на виске у нее Тима заметил бусинки пота. Пот ее пах приятно. Тима и это отметил. Он все отмечал про себя и знал, что так не хорошо. Он чувствовал себя подло и был спокоен.

Она начала раздеваться. Она раздевалась очень быстро. «Тут нет кровати, – подумал он. – Даже лавки нет». Она стояла перед ним в длинной зеленой майке. На ней была только майка, и Тима рассматривал ее короткое крепкое тело. Она подошла близко, еще ближе. Она стояла перед ним совсем рядом и не смеялась. На белом, округлом плече ее Тима разглядел шрам, круглый и старый, и она поняла взгляд.

– Девчонкой еще. Собакахватила.

Ему стало жаль ее.

«Не могу же я делать это из гуманных соображений», – подумал он и положил руку на гладкое голое плечо. Рука у него теперь была холодная, и он сам был холодный.

Лопарка вздрогнула. Она сказала сочувственно:

– Городской. Небось, по молодым сохнешь.

Тима кивнул. На всякий случай.

– Удовольствия не понимаешь, – сказала она.

Тима опять кивнул. Он встал и пошел к двери.

В коридоре он отыскивал свой спецачок, легонький, но теплый, украденный Спиридоновым для него, для Тимы, у летчиков. Он накинул спецак на плечи и вышел во двор.

Когда товарищи в белом солдатском белье – Панов в валенках, а Спиридонов в черных хромовых сапогах – вывалились на крыльцо, Тима заканчивал складывать дрова в штабель.

– Отстрелялся уже?

– Быстро ты!

Они помочились в сугроб прямо с крыльца и закурили одну папироску на двоих. Тима молчал. Они курили, и что-то доходило до них.

– Пойди сюда, молодой, – позвал Саня Спиридонов и протянул ему бычок. – На, докури.

Тима снял рукавицу и нервно затянулся. Ему опять было жарко. Теперь от работы. Да и мороз помягчал. В воздухе редкими хлопьями кружился легкий снег.

– Мотор не остыл? – спросил Сеня, он забыл про воду и теперь спохватился, как бы не разморозило блок.

– Долил горячей, – успокоил Тима.

– Все в порядке? – спросил Спиридонов.

– Нормально.

– А ты не брешешь? – не поверил казак.

– Честное пионерское.

Солдаты рассмеялись. Они ушли в дом. Через пять минут Спиридонов, уже одетый, выглянул и позвал его:

– Иди, зачифирим.

Тима подобрал последние поленья. Оглядел сложенный лес, отряхнул с робы дровяную труху и снег. Он не торопился.

В комнате было прибрано. И на столе прибрано. Вокруг ковшика с дымящимся варевом опять стояли стаканы. Рядом валялись две пустые упаковки грузинского чая. Женщины сидели притихшие и от чифиря отказались.

Тима не смотрел на хозяйку. Он был по-прежнему спокоен и делал так для нее. Она тоже старалась на него не смотреть. И водку для сержанта в пустую поллитровку переливала неохотно.

Тима сделал глоток горького чая. Ему понравилось. Он залпом выпил всё. Скоро он поплыл. Он заторчал неожиданно. Это было как подарок.

Прощания Тима не запомнил. Он не прощался. Он был под балдой и не помнил о приличиях. Иногда он хихикал. И почему-то Саня Спиридонов радовался за него.

У машины они долго возились, закрывали борта. Лопарка вышла на двор проводить. В толстом платке, теплой кофте и телогрейке она опять была похожа на шарик. Она помахала им рукой и засмеялась. Тима был за это ей благодарен.

Снег падал больше и больше, легкий и сухой. Двор был уже белый, скрыло следы и щепки, и обломанные ветки. И грузовик белый. Но мотор не остыл.

– Что? – Спиридонов кивнул на аккуратно сложенный штабель. – Поблядовал?

Тима смутился, покраснел и от смущения заулыбался, хотя было ему вовсе не весело.

– Молодой еще, – хрипло сказал казак. – Пообломается.

– Чего ж хорошего? – Спиридонов взглянул на товарища и злобно сплюнул в сугроб.

– А не обломается, человеком станет. Не то что...

Спиридонов не ответил. Он полез в кабину. За рулем он сидел, как на троне.

– Я понимаю, – сказал Тима. – Вы не думайте.

Сеня протянул ему стальную тяжелую ручку.

– Крути, молодой. Через час дороги заметет. Не ночевать же здесь.

Шоссе через тайгу было гладкое и хорошо накатанное. По снегу машина бежала уверенно. Но Спиридонов знал цену этой обманчивой легкости. Он молчал и крутил баранку. Скрипели по стеклу дворники. Панов уютно посапывал в углу кабины. Тима сидел между ними и смотрел вперед, на дорогу, на темный заснеженный лес. На белые штрихи подымавшейся поземки.

– Почему денег у них нет? – наконец спросил он. – Ведь полярка, коэффициенты, бесплатные дома им ставят.

– Пропивают. После полочки не просыхают неделями, – отозвался Панов. – Вымирающий народ.

– Это конечно, – согласился Тима, но было ясно, что думает он о другом, он опять вспомнил о чем-то своем. – Как они могут, – сказал он. – Подумать страшно.

– Не мучайся ты, – сказал Спиридонов.

– А вы? Вы ничего? – вдруг спросил Тима.

– Чего?..

– Я понимаю, есть обязательные вещи, – сказал он.

– Нельзя отказываться.

– Ничего ты не понимаешь, – пробурчал Панов.

– Это малодушие, отступать от нормальных вещей.

– А ты не бери в голову. Не бери, и всё, – утешил

Спиридонов.

Он сосредоточенно смотрел на дорогу и даже не повернул лица. А Панов заворочался справа, устраиваясь поудобней в углу. Тима, зажатый посередине, старался не шевелиться. На коленях он бережно держал бутылку для сержанта и шапку.

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ МЕНЯ РАЗБУДИЛИ

Из книги стихов

* *
*

Много поэтов пишет помногу о многом для многих.
Стихи захотел почитать – пришлось написать самому.

* *
*

Падает медленно снег за окном,
Падает плавно.
Шпиль Петропавловки как метроном –
Влево и вправо.

Утренних сумерек заячий мех
Бело-лиловый,
Рыщут зигзагами телепомех
Ветки еловые.

Глобуса глыба – кубарем в ад
Вечных падений,
Но догоняет ее снегопад –
Свет сновидений.

* *
*

Естественный отбор – да не в ту сторону.
Наушники всеильнее Батя.

И, если завтра буду арестован,
Сосед мой вставит зубы золотые.

* *
 *

Так низко тучи, что ржавеет
На крышах жечь.
Вот лишь когда душа не верит,
Что небо есть.

Так низко тучи, что нам нечем
С тобой дышать.
Без воздуха погаснут свечи,
Без родины – душа.

НАДЕНЬ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ!

Давным-давно цыганские гитары догадались,
Что черный цвет соперничает
С каждой струной.
Наденешь платье черное – и в музыке тогда лишь
Наступит равновесие меж музыкой и мной.

* *
 *

Небо наполнено –
Дымом, далью, тайной.
Люди наполнены –
Небом, снегом, светом.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДРУГА

Пан Паутянский, со взглядом хмельного раввина!
Четверть – столетья, а жизни – уже половина.

Свечки в тортах были б символом, так как из каждой
Черный фитиль – словно грифель торчит карандашный

Деньги транжирь на севрюжные срезы застолья:
Скупость – болото творческого застоя.

Надо быть римским патрицием, киевским князем!
Грусть-персианку – за борт, как бешеный Разин!

Шизофрения – свобода мысли и плоти.
Встать у станка – это спать на своем эшафоте.

Будь безработным, о горбе раба не тоскуя:
Тот, кто поденщик, тот в денщиках у холуя.

Но не транжирь золотоносное время:
В дреме створожится даже зачатия семя.

Ташит нас время за зуб, как драчливая баба.
Лысый мой череп – как панцирь витринного краба.

Не разъясняет Господь мимолетные сути
Счастья земного или кладбищенской жути.

ЯПОНСКИЙ ПОЭТ С ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПРОПИСКОЙ

Мякоть кисточки тушью полна
И по шелку – жирней чернослива.
Что поделать! Нужна тишина –
Чтобы не прозябать молчаливо.

Иероглиф – как перья в снегу
После драки двух воронов старых.
Указательный мой разогнут
Опоздавшие санитары.

* *
 *

Скалит зубы пианино:
Бом-бом-бом, динь-динь-динь,
Кто вдвоем, а кто один,
Кто вообще наполовину...

Тихим вагнеровским гробом –
Бахромой однобок –
Пианино, ты порог,
За которым встреча с Богом.

* *
 *

Я болен был, и часто мне казалось,
Что смерть, как полупьяный парикмахер,
Который тоже простынею пахнет,
Не в меру лихо кадыка касалась.

Я озирался в панике, не зная,
В каком углу каморки холостяцкой
Артелью засутулится бурлацкой
Архангелов широкоплечих стая.

Я вверх глядел испуганно, однако,
Поскольку не было иконы в доме,
Был Божий Лик бесформенно огромен
С дохристианским нимбом зодиака.

Я умолял ту пустоту над свечкой
Отсрочку дать, не торопить поминки,
Пересмотреть мои рентгено снимки
И время жизни с фосфорной насечкой.

Уж я тогда ну ни минуты даром!
Покрою сердце пенкою кисельной –
С врагами буду барышней кисельной,
Со шлюхами – Дега и Ренуаром.

Я не забыл о клятвах тех внезапных,
Но вновь живу вполсилы, потому что,
Чтоб день был громом, а не погремушкой
Во всем витать обязан смерти запах.

* *
 *
 *
 *

Часовщик с моноклем рачьим
Зорок, словно астроном.
Мы в будильник время прячем,
А оно – со всех сторон.

Приутихни, ипохондрик:
Проиграет только тот,
Кто большой трубе походной
Всем нутром не подпоет.

ИЗ АРМЕЙСКОГО БЛОКНОТА

Мы смирились?
Мы – смеялись!
В самоволку – удирай!
Самогонку – через край!

Мы пэтэушниц обжимали
То под оркестр, то в подвале
То Уссурийска, то Уфы
И в лихорадке ласк – увы! –
Перецепляли мандовох
(Кудрявый пах – зеленый мох...)

Потом стройбатовцев лупили
За то, что били нас вчера,
И снова с ними ели-пили
(Стройбатовцы богаче были:
И белый хлеб, и ветчина!)

От нашей матерщины нервной
На всех церквах колокола
Давали трещину, наверно,
Как дуба старого кора!

День дембиля. Бронёй мундиры.
На пряжках хоть картошку жарь.
Придурки чертовы, мудилы,
Мне расставаться с вами жаль,
Но из грязюки непролазной
Я в Питер не спешу домой:
Я остаюсь у той, заразной,
У той, заплаканной, у той,
Которую и бил, и мучал,
И грабил на последний рубль.
Я остаюсь. Так будет лучше –
Жить с той, которую люблю.

* *
 *

Вместо будущих яблок пока еще
Лепестки, словно чайные ложечки,
Свет разменивают – успокаивающе,
Просвечиваются – тревожаще.

* *
 *

Яблоки – затылки августа
И заморозка лбы.

* *
 *

У ресниц наколю: «Не буди!»,
«Не стреляй!» – наколю на груди.

Или в спящего целятся – или
Перед смертью меня разбудили.

* *
 *

Свечение ума –
Священная стихия!
И что нам дурдома,
Когда везде Россия.

СЛОВАЦКИЕ ФРАГМЕНТЫ

Перевод автора

1956 год

По воскресеньям утром дедушка приходил и забирал меня. Мы шли в кино, а потом долго и медленно прогуливались по главной улице, по корсо. Людей там было всегда много, и дедушке все время приходилось приподнимать шляпу и едва заметно кланяться. Из громкоговорителей громыхали лирические песни вперевивку с объявлениями о каких-то спортивных состязаниях. В шлягерах содержалась неоспоримая правда жизни. Высокие женские голоса пели о любви к несовершенным мужьям – домоседам, читающим газеты, иногда играющим в карты, не курящим и, слава Богу, не пьющим. Голоса из громкоговорителей воспевали тот самый компромисс, на котором держались все жизненные устои нашего старого городка в сердце Словакии. В одно воскресенье, осенью 1956 года – мне тогда едва исполнилось шесть лет, – дедушка пришел возбужденным. Торопливо и растерянно он потянул меня в город.

На корсо, возле Главпочтамта, на каменных стенах висели застекленные витрины с последними новостями. На этот раз в витринах были черно-белые фотографии с грудami мужских трупов на мостовых и повешенными. Головы повешенных поникли, а сами виселицы казались хрупкими и шаткими. Лица лишь угадывались, все было размыто, только очертания трупов отчетливо проступали на белом фоне. Казалось, они вот-вот сольются в черную неподвижную массу. У витрин останавливались прохожие, молча рассматривали снимки, но в их молчании чувствовалась какая-то недоговоренность, тайна. Дедушка не выдержал и, волнуясь, шепнул мне

на ухо: «Видишь, вот те плохие, а эти – хорошие». На груди у трупов были таблички с какими-то надписями. Была пора венгерского восстания, и мой дедушка, убежденный социал-демократ, под «плохими» имел в виду коммунистов.

По дороге домой мы несколько раз останавливались. Дедушка приглушенным голосом говорил по-венгерски со встречными знакомыми. В молодости он несколько лет проработал слесарем в Будапеште и оттуда привез в Тренчин молодую жену, мою бабушку. В ту осень 56-го года все в нашей семье говорили дома по-венгерски. Окна были плотно закрыты, взрослые возбужденно жестикулировали. В нашей семье по-венгерски говорили, чтобы скрыть что-то от детей. Мы внимательно вслушивались, даже научились имитировать интонацию, и у меня было чувство, что в один прекрасный день передо мной откроется тайна венгерского языка, и я внезапно все пойму. Но Сезам не открылся.

Еще несколько раз мы приходили с дедушкой к витринам, и я буквально впивалась глазами в снимки с трупами. Я изо всех сил старалась понять, как дедушке удастся отличить «плохие» трупы от «хороших». У меня появилось безумное желание дождаться того часа, когда «плохие» трупы нападут на «хороших». Я внимательно разглядывала круглые белые пятна лиц, тяжелые, слегка растопыренные руки повешенных. Но ничего не происходило. Я не испытывала ни страха, ни ужаса – скорее, трезвое любопытство.

Но вскоре в витринах появились привычные улыбающиеся лица колхозниц и рабочих. Жизнь, казалось, вернулась в свое русло. Это было мое первое в жизни столкновение с политикой.

Фрагменты

На уроках истории на меня производила самое сильное впечатление Великая октябрьская революция.

Несмотря на духоту в переполненном классе, меня бодрила мысль, что миллионы угнетенных восстали. Я любила революционеров и мечтала стать вождем поднявшихся масс. Борьба, геройство, смерть за идею приводили меня в восторг. Учительница истории рассказывала нам, сама растрогавшись, о русской девушке Зое Космодемьянской, сорвавшей с глаз повязку перед расстрелом. Дрожащим голосом читала учительница дневник приговоренного к смерти чешского коммуниста Юлиуса Фучика, говорила о нищете в капиталистической Чехословакии, и мы учили наизусть боевые стихи. Наконец, учительница сказала, что мы живем в самом счастливом мире и твердо движемся к еще более счастливой жизни. Я жалела, что родилась в мире, где явно больше не было угнетенных, которых бы я могла освободить. Во дворе мы играли в антифашистское партизанское восстание. Жизнь после революции была безнадежной, парализующей.

Когда несколько лет спустя я открыла, что этот мир вовсе не так совершенен, передо мной забрезжил широкий горизонт, на котором взметнулась новая революция. И она тоже не будет последней – упорно надеялась я.

* *
*

Я с тайным и радостным нетерпением ждала первого урока русского языка в четвертом классе. Нелестные высказывания о русском языке, презрительно бросаемые моими одноклассниками, были своего рода предостережением. Русский должен был стать моим первым иностранным языком. Я ждала от него волнующей возможности перевоплощения, перемены. Ни один другой предмет не приносил мне такого глубокого удовлетворения, которое я испытывала прямо телесно. Внешне я старалась выглядеть равнодушной, даже холодной. Лишь в разговоре с двоюродной сестренкой, кото-

рая соглашалась со мной во всем, я объявила русский нашим государственным языком. Кроме нее, никому не было дозволено слышать мои страстные языковые эскапады, благодаря которым я как бы вела иную жизнь. Я понимала: за мои языковые оргии меня ожидает самое страшное наказание – презрение.

Правда, русский язык восхищал меня сам по себе – я не связывала его со страной, где на этом языке говорили. Рассказы учителя географии о Советском Союзе вызывали у нас, учеников, громкий смех. Наше недоверие к этой стране заходило так далеко, что даже такой неприятный, но все же бесспорный факт, что СССР – по территории самая большая страна в мире, мы считали наглой ложью, как и все прочие славословия по адресу этой империи, которые нам приходилось выслушивать ежедневно.

Словацкий славянофил поэт Ян Коллар во второй половине XIX века призывал словаков опереться на великий русский дуб. Мне, семнадцатилетней старшекласснице, казалось, что мы уже слишком долго простояли в сырой тени этого дуба. Я перестала готовиться к урокам русского и, когда меня вызывали к доске, вызывающе молчала. Весь класс был в восторге. Особого ущерба в образовании я не понесла, так как к тому времени открыла для себя другой распространенный наркотик: английский. Лишь в период подготовки к экзаменам на аттестат зрелости я осмотрительно оставила свое «диссидентство» и с энтузиазмом декламировала русские стихи о революции.

Много лет позже, уже в эмиграции, в Базельском университете, я выбрала себе главным предметом русский язык и литературу. Первые годы я еще стеснялась, извинялась: мол, выбрала, так как мне удобно и легко учить его. Мне было стыдно: сбежала, мол, с родины, да еще и учу «язык оккупантов». Мои земляки до сих пор не прощают мне, что русские слова я из себя не вымучиваю, они словно льются из меня сами. Соотечествен-

ники улавливают, как я почти эротически зачарована русским языком, а я замечаю, как их отталкивает эта чужеродность. Только с двумя подругами, рассеянными теперь по разным континентам, у меня общая языковая мания. Встретившись, мы перебрасываемся русскими словечками, такими, которые нам кажутся особенно русскими, и нам становится легко и смешно.

* *
*

Уже в раннем детстве я больше всего любила всякую патетику. Мои любимые песни были «Интернационал» и словацкий гимн. Я чувствовала себя героиней, когда на пионерском сборе, набрав полные легкие воздуха, запевала вместе с другими. К этим коротким моментам проявления политической преданности мои одноклассники относились как к чему-то, что приходится перетерпеть. Во всем остальном властвовала строгая цензура насмешки. Красный галстук, получение которого привело меня в восторг, я не посмела надевать. А мне так хотелось стать искренним, непоколебимым борцом за новый, коммунистический мир. Идея жертвовать собой ради коллектива пронизывала меня насквозь.

Боясь неизбежного остракизма, я вмещала свой энтузиазм в организованные, общеобязательные рамки. Каждая первомайская демонстрация давала такую возможность. Как и все, я глядела скучным взглядом, когда мы собирались утром, но потом, проходя перед трибуной, восторженно орала в общем хоре: «С Советским Союзом – на вечные времена!», «Да здравствует КП Чехословакии!», «Миру – мир!» Скоро мы узнали, что слова могут не иметь значения. Слова вырывались изо рта, как будто отвечали глубоким внутренним потребностям, я шагала решимо, как во сне.

Мы насильвовали слова. Такие слова я использовала, только чтобы питать мой рождающийся фанатизм. Но обычно мой фанатизм отлетал рикошетом от трезвого юмора моей среды. Этим юмором хорошо владели уже дети, и мне казалось, что я веду жизнь одинокого карлика в подполье. Но, может быть, моя одинокая жизнь была не такой уж исключительной. Сколько несостоявшихся фанатиков жило в подполье? То, что другие думали и чувствовали, я узнавала лишь косвенно.

Мы жонглировали словами. На оковы слов из газет и учебников, которые душили мысль, люди реагировали словами, слои которых терялись где-то в вечности. Ничего не было обидней и презрительней, чем понимать слова прямо. Такого болвана высмеивали беспощадно. Всюду были выдолблены изощренно украшенные словесные ловушки. Я должна была все время остерегаться, каждый день приходилось сдавать экзамены, столь опасные для чувства самоуверенности. Постепенно я и сама выучилась ставить ловушки. Самой простой было перевернутое понятие: подразумевалось противоположное сказанному. Сложными ловушками были слова частично правдивые, и надо было вычленить эту правдивую часть. Грубой ловушкой была чистая ложь. А приятными ловушками с неприятными последствиями были комплименты. И между ними всеми простирались словесные минные поля. В разговоре все ловушки смешивались в катающийся клубок и предавались инцесту. Лишь повзрослев, я оказалась в состоянии кое-как овладеть этим обхождением с ближними. Это искусство было основано на непередаваемом опыте: слово – наемник. Мы его точили, мучили и получали от этого циническое удовлетворение, ибо оно действительно давало принудить себя к чему угодно. Зато мы всё больше уважали паузы между словами – они стали настоящим общепонятным языком. Мы рано выучили этот язык. Прислушивались к тому, что было опущено. Каждый

нанимал себе шпиона, знающего шифр. Это была захватывающая ум, эстетически блистательная игра.

* *
*

Но были еще и слова, приходившие из эфира, – мы впускали их в дом и принимали как дорогих гостей: их достоинство для дедушки было неприкосновенно. Они доходили сквозь помехи изорванными, волнами выплывали из радиоприемника, обволакивали нас и опять откатывались назад. Дедушка прижал ухо к приемнику, стал отчужденным и сосредоточенным, крикнул:

– Захлопни дверь!

«Говорит Голос Америки», – важно произнес тягучий женский голос и исчез. Еще ребенком я резко ощутила не столько допущенную дедушкой преступность, сколько впечатление, что это звучат голоса покойных словаков и словачек, которые влачат свое эфирное существование в раю, прозванном Америкой. Они представлялись мне нечеловеческими существами, так как к словам, приходившим от них, дедушка никогда не притрагивался испытующе. Эти слова разбухали в такие вечера у нас на кухне, как розовая сахарная вата, пока наши собственные слова, как летучие мыши, шмыгали вдоль стен.

* *
*

Слово было всемогуще. Слово угрожало всем. Слово было диктатор. С тех пор, как я научилась говорить, я ежедневно слышала в нашем микрокосме заклинание: «Ничего из того, что мы здесь говорим, ты не должна нигде рассказывать», – и мама поднимала палец. Я видела себя пожизненно заключенной в камере, повисшей в вечном космосе.

Полная, матерински выглядящая учительница словацкого с искренней верой рассказывала о врагах социализма, затаившихся повсюду и жаждущих разрушить нашу счастливую жизнь. Я представляла себе врагов социализма в виде голодных волков за кустами. Одна рано созревшая девочка из нашего класса с решимостью подняла руку. Дрожащим голосом она сказала, что ее отец – враг социализма, он, мол, все время ругает коммунистическую власть. Она села зарумянившись, с видимым облегчением. Что-то вроде предчувствия начало подступать мне в голову. Мысленно я увидела красное от гнева лицо отца и ожесточенные губы бабушки, когда я ей призналась, что хочу стать коммунисткой, и услышала, как торопливо говорит мама: «Оставь ее, ну, оставь».

* * *

Я рано почувствовала, что слова жизненно опасны и волшебны, что они взрывают застывшую лавину. Молчание позволяло пережить и притворство, и ложь. Макрокосм был могуч, но все же не враждебен: я принадлежала и к нему. Он тяготел над нашим микромиром, обвал которого казался мне таким близким, как мое собственное дыхание. И я была сторожем этого микромира. Ничто не должно было просочиться вовне. Но я несла свою службу плохо, едва удерживая тяжелый щит, который мне так естественно вручили. Я вновь и вновь нарушала молчание, по кусочкам выдавала военные тайны, была постоянным перебежчиком, принадлежала к обоим лагерям и готовилась оказаться кругом виноватой.

Были времена, когда при каждом звонке в дверь все взрослые вздрагивали и останавливались, как выключенные машины. Затем они становились усердными, как в фильме Чаплина: мама, побледнев, прикрывала

машинку, на которой тайком вязала шапки и свитеры на продажу: бабушка строго подходила к двери и неприветливо спрашивала: «Кто там?» Изредка это были действительно милиционеры, они штрафовали маму. Однажды они пришли вдвоем, настырно всё у нас осмотрели да так и ушли, на прощанье еще пошутив в коридоре; мама засмеялась, и больше ничего не случилось.

Моя двоюродная сестра не выдержала этого раздвоения и однажды окончательно перебежала в другой лагерь. Она стала страстным пропагандистом макрокосма, затевала споры с дедушкой, провокационно и непреклонно объясняла ему положение Словакии во время Второй мировой войны. Дедушка попадался впро�ак, разъярялся, но потом брал себя в руки и только молча бегал по комнате. Его доказательства были скудными, он прятал их за своими глазами и не смел оттуда доставать. А у нее был учебник – там все стояло черным по белому. Наши семьи постоянно разрезала невидимая, но осязаемая линия. Политика продергивалась толстыми стежками сквозь нашу частную ткань.

* *
*

От слов люди бежали в молчание и в слова. Было беспомощное молчание, но было и молчание благородное и свободное. Но самая большая свобода разряжалась в слове – запретном, насмешливом, чудном, надменном, бранном. Слово было освободительным. Но им и исчерпывалась наша политическая инициатива.

Большой толстый соседский мальчишка стал передо мной, широко расставив ноги, и неожиданно сказал:

– Ленин – сволочь и скотина.

Меня ранили его слова. Я онемела, но мой ужас кричал:

– Ленин – не сволочь, не скотина.

И каким безбрежно свободным внезапно показался мне этот заурядный мальчишка, каким далеким и таинственным. А он снова и снова садистски бросал мне свою свободу в лицо, словно опьяненный ею. Но я охраняла свои табу и на такие проявления свободы поглядывала из безопасного отдаления.

* * *

Тайком я прибегала к благородным словам и в 16 лет вывесила у себя над постелью: «Словакия нуждается в сильных людях». Эти слова я выписала из молодежного журнала и понимала их прямо. Вставала в шесть утра и совершала утомительные забеги в утреннем тумане. Мое дыхание становилось разреженным, в груди едко щипало и жгло. Потом я мечтала о закалке в замерзшем Ваге.

Бесцветные слова компромисса были всюду. Мои школьные сочинения кончались общепринятыми, необходимыми, скучными фразами. Я их больше не замечала, они текли сами собой, никому не бросались в глаза, никому ничего не говорили. Они были с нами как будто с начала времен, неизбежные и естественные, как ежедневное «Здравствуй». Их было много, много – похожих друг на друга в своем бессилии, растягиваемых нашими официальными буднями. Никто больше не думал об их первоначальном значении – они были пошлыней, которую мы платили каждый день, не сопротивляясь, не задумываясь.

И секретные слова прыгали вокруг нас, как резиновые мячики. Мы все были заговорщиками, каждый должен был, хоть и не признавался, бояться самого себя. Мы уже настолько отделились запретному, что полюбили его заманчивость, – некоторых из нас оно отшлифовало в хрусталь.

Когда мне было восемь лет, мама позвала нас с братом к себе, посадила на диван, закрыла дверь и рассказала нам свой план: мы убежим, сказала она, через Польшу и Северное (?) море в Швецию. Я забеспокоилась о своем большом мишке. Когда мама согласилась взять его, я больше ничего не говорила. Швецию я представляла себе в виде нелюдимой равнины и надеялась, что мамин план не удастся.

Затем мама заклинала нас никому ни словом не проговориться, иначе случится что-то ужасное. Она сама сразу испугалась, поглядела на нас вопросительно, внезапно ослабела и, видимо, жалела, что нагрузила нас этим бременем. Потом она уехала и обещала скоро вернуться за нами. Я снова и снова представляла себе, как мы выходим в наши большие ворота, как я оглядываюсь на наш двор, откуда оцепенелые дети провожают меня взглядом, и на этом нить мыслей обрывалась. Дальше думать не хотелось.

Мама не возвращалась, и я спрашивала про нее бабушку, сначала бойко, потом все больше смущаясь. А бабушка меня всякий раз отгоняла, чтоб я наконец-то прекратила эти вечные расспросы. Прошло несколько месяцев, и о маме никто не проронил ни слова. Я стала вялой, обросла зимним салом, и тоска по ласке мучила меня. Бабушка не считала нужным так тщательно заботиться о шике моей одежды, как это делала мама, — она только стирала, гладила и штопала. В тот год я не казалась себе какой-то исключительной, часто краснела и предпочитала играть одна. Как-то раз один незнакомый мальчишка крикнул на весь школьный двор: «Твоя мамка сидит!»

Меня это глубоко ранило, но, когда боль унялась, я испытала почти облегчение. Теперь я знала, где она, знала, что ее беспокоивший меня план рухнул. Я ни с

кем не поделилась обретенным знанием и со дня на день ждала ее возвращения.

Она появилась в начале лета, усталая и изможденная, и я не могла скрыть своего отчуждения. Но она оставалась недолго. Несколько недель спустя она тряслась в истерических рыданиях, вновь и вновь обнимала нас, и, когда наконец уходила, отцу пришлось ее поддерживать. Я догадалась, что́ будет, и, когда к ночи она не вернулась, приняла это молча. Опять потянулись унылые месяцы, бабушка стала еще раздраженной, а мы еще молчаливей. Я вытеснила ее образ из своих грез и, лишь когда она вернулась во второй раз, полюбила ее с новой силой и страстью. На этот раз она была удивительно красивой и веселой, с волосами, выкрашенными в темно-красный цвет.

Время ее отсутствия по-прежнему оставалось запретной темой. Я так и не посмела ее расспрашивать, и, только когда я стала взрослой, она, поколебавшись, принялась с юмором рассказывать тюремные истории.

– Посмотри, вот так я там выучилась гладить, – мама сбрызнула брюки, сложила их, выровняла складку, растянула в длину под матрасом и легла.

– Каждое утро мы выглядели, словно вынутые из шкатулки. За одну сигарету женщины дрались, кто добела постирает мне рубашку. Темно-зеленые тюремные брюки мы обуживали так, что они нас туго обтягивали. Мы красились чернилами из спичек, еще много чего изобретали. Из хлеба мы сделали шахматные фигуры.

Перед моими глазами вставала огромная камера с соблазнительными женственными существами, обтянутыми зеленой змеиной кожей. Некоторые расхаживали и курили, другие сидели на нарах и играли в шахматы. Мама рассмеялась расслабленно и сказала:

– А то бы так и умерла и не узнала, что это такое – тюрьма.

Мы любили мелкие происшествия. Наши жизни были скопищем пересказываемых происшествий. Не было ничего достаточно ранимого, печального, святого. При пересказе все превращалось в фарс. Боль тонула в шутке. Многие жили лишь ради охоты на анекдоты, всю жизнь перепрыгивая от одного фарса к другому. И смерть становилась последним фарсом.

Мы смеялись сами над собой, предавались самокритике вплоть до самоуничужения. Но, еще валяясь в пыли обращенных к самим себе упреков, мы сами себе подмигивали, сами себе были клоунами, выворачивали трагизм комической изнанкой наружу – так он лучше переваривался.

Глубочайшим экзистенциальным опытом было ощущение провинциальности, чувство скучной, узкой, запыленной, несовершенной жизни в стороне от всего. Непроницаемые границы создавали у нас ощущение вакуума. Изоляция тяготила как проклятие. Было больно сознавать, что наша страна лежит в захолустье, вдали от главной дороги жизни. Наши жалобы изливались в ругательствах. Ругаться стало общепринятой формой существования. Мы ругали самих себя, но и других тоже, ругали жизнь, систему, ругали всё. Это был салонный, пристойный стиль, присущий всякому. А все наши иллюзии мы, как дети, поставили на одну карту, и этой картой был Запад. Представляя себе западную жизнь, мы теряли всю обретенную жизненную мудрость. Запад представлял для нас суть жизни как таковой, понятие достоинства, совершенства, свободы, широты. От этого мы чувствовали себя еще униженной и угнетенной. Но мы и не пытались достичь хотя бы проблесков этого предполагаемого совершенства: мы не верили, что способны на это.

Вопреки этим комплексам, иногда мы заряжались национальной манией величия, которая встряхивала нас, как горячая баня.

«Мы самые великие», – торжественно уверяли мы друг друга, и, слушая эти заклинания, я радовалась, что у нас нет власти над целыми континентами, как у некоторых других народов, что мы лишь маленькая жертва, иногда раздувающаяся от гордости.

В особенности на пиршествах, которых люди так жаждали, о которых они с такой тоской говорили, происходил взрыв национальных чувств. Всякий званый ужин становился национальным праздником. Расслабленные алкоголем и людской теснотой, мы ощущали экстатическую связь друг с другом. Дыхание моего соседа ложилось мне на кожу, краешки его зрачков размывались, было темно и тепло, я пела вместе со всеми и на мгновение испытывала блаженство принадлежности. Это была такая близость, словно я в материнском чреве касаюсь своего брата-близнеца. Я была уверена, что никогда не смогу полюбить словака: это был бы инцест.

В ежедневном общении мы мазохистски обнажались друг перед другом, рассказывали о своих неудачах и неловкостях – так это и должно быть, думали мы, наверное, и перекладывали на свои плечи бремя других, нагружая их своим. И больше всего нас соединяла тягостно переживаемая смешная и жалкая сторона человеческого существования.

Нашими героями были комики. Всякое уважение звучало фальшиво. Легкомысленно и щедро выдавали мы унижительные детали своей жизни. Чем тесней и интимней, тем лучше, тем ближе к жизни – таков был наш девиз. И наши существования с размытыми берегами сливались друг с другом каждый день. Долгом каждого было не скрывать своих слабых сторон. Кто отказывался участвовать в этом всенародном слиянии, попадал в опалу, а тот, кто отдавался, – растворялся в чем-то подобном всенародной душе. Частной жизни почти не было, не должно было быть. Ее сразу же разламывали доверительными сообщениями о своей и чужой личной жизни, постоянными советами, указани-

ями, открытыми свидетельствами чувств, желанной или нежеланной интимностью. Так мы контролировали, чтобы никто не стал выше других. Где-то в глубине этого лежали корни неуважения к себе, к другим и вообще ко всему.

В восемнадцатилетнем возрасте мне казалось, что нашим всенародным хобби и национальным спортом был секс. Во всяком случае, о нем говорилось чаще, чем о результатах футбольных матчей. Режим обкарнал наших мужикам крылья карьеры, и они с повышенным интересом переключались туда, где еще могли чувствовать себя мужчинами. Ритуал соблазна был любимой забавой, хотя сравнительно редко он действительно венчался однозначным успехом. По долгу принадлежности к мужскому полу, мужчины почитали себя обязанными приставать к любому случайно встреченному существу женского пола. С дрожью в голосе они намекали на свои былинно-легендарные физические возможности. «Словаки – на втором месте, после югославов», – так уже в эмиграции сделал мне любовное предложение один мой отчаянный земляк. В мужчинах таился сильный охотничий инстинкт, раздувавший их ноздри. Из уст в уста передавались фантастические истории, подробные, весьма откровенные, повышавшие самоуважение рассказчика. Секс не замалчивался, не подтягивался под понятия объективности и научности, как это бывает в германских странах, – о нем всегда говорили с привкусом порочности, приключенчества, даже извращенности, с оттенком чего-то тайного, безусловно необходимого и в то же время достойного презрения. Политика тугими веревками затягивала плоть, и плотское обростало диким мясом.

Все непристойное приобрело высокое национальное значение. Однообразный, но рождающийся во всех ситуациях и полностью оторвавшийся от своего первоначального значения мат, входивший даже в язык маленьких ребятишек, причинял мне физические страдания.

Чудовищные половые органы окружали меня и скребли мне кожу до самых костей. Они вторгались в мою отчаянно защищаемую внутреннюю жизнь и повисали там, незванные, источая враждебный смрад. Непристойные слова были всюду нацарапаны на стенах домов, их дополняли недвусмысленные рисунки, и, хотя я долго ничего в них не понимала, я ощущала их обнаженную агрессивность. В моем детском понимании они никак не были связаны с любовью, которую они в этой странной форме провозглашали. Я даже не спрашивала себя, почему никто не сотрет их: мне казалось, что только я так от них страдаю. Атмосфера макрокосма была перегружена ими сверх меры. Мат выставлялся как почетная грамота, как строка в списке национальных добродетелей. Склонность к образной речи достигала в нем своих высот.

Великое братание осуществлялось и в алкогольном унижении. В злоупотреблении выпивкой находили нечто героическое, нечто общеобязательное. Шли неустанные поиски новых приверженцев. Алкоголизм тоже был возведен в национальное достоинство, сопровождался бесчисленными рассказами, воспевался в народных песнях.

– Вчера напился как скотина, а ночью всего наизнанку вывернуло, – хвастался наш сосед у забора. Наверно, ночью он только и думал, как назавтра будет рассказывать о своих подвигах. Это придавало смысл его физическим страданиям. И наши соседи-мужчины своими ухмылками выражали ему свое уважение и взаимопонимание.

К хорошему тону принадлежало и хвастаться драками. Угрозы вроде: «Да я из твоей рожи гуляш сделаю», задиристость, ностальгический боевой пыл разрежали дым в кабаке и укрепляли национальные чувства.

Но это был макромир – те, другие. Наш двухэтажный, бывший барский дом возвышался, как крепость, над домишками, разбросанными вокруг, как избы кре-

постных. И они не были крепостные, и мы не были дворяне. Сословные различия состояли во взаимном недоверии, в остерегающей шепоте бабушки: «Не играй с ними, играй лучше одна», – так она заклинала свое прошлое, словно некогда была феодальной княгиней. Но и это прошло. Дожив до 80-ти лет, и она под ежедневным влиянием газеты «Праца» стала болельщицей пролетарской диктатуры. Ослабев от дряхлости, почти слепая, она стала верным рупором официальной прессы.

Гостеприимство

С раннего детства я узнала, что и еда в жизни высоко ценится. В свой национальный характер словаки включают и склонность к кулинарным наслаждениям, выработанным смесью народов в старой австро-венгерской монархии. Всего должно быть много, все должно истекать соком, быть сытным от пуза и потом залегать тяжестью в желудке. Все тощее, сухое, аскетичное воспринимается как отрицание радостей жизни и презирается. Кормить и поить гостя – национальный долг. Если гость хочет быть умеренным, это толкуется как грубое нарушение законов гостеприимства. Пословица «Гость в дом – Бог в дом» должна соблюдаться.

Гостя, в глотке которого исчезают огромные количества наших блюд, широкое словацкое сердце принимает с растущим восторгом. Но он должен скрывать, что ест по собственной воле. Самое важное в ритуале – сначала категорически отказываться, потом смиряться, смягчаться и, наконец, обезоруженно разведя руками, сдать на милость хозяев. Хозяева – победители. Они одолели своего гостя. Они привели его к блаженству, ибо словацкие хозяева знают, что хорошо для человека. На этих пирушках они сами испытывают глубокое удовлетворение, словно питают самих себя.

Еще в детстве при этом спектакле мне казалось, что я сижу за кулисами, вижу актерский грим и знаю, чем кончится пьеса.

– Очень вкусно, Мацка, но я, действительно, больше не могу, – защищался бабушкин свояк, толстый мужчина в мундире лесничего, заглянувший к нам проездом через Тренчин.

– Нет, бери, бери, обязательно возьми еще. ты меня обидишь, такой здоровый мужик, еще одну ножку. хотя бы одну, прошу тебя, пожалуйста, как тебе не стыдно... И выпей еще стаканчик, а то обижусь... – разыгрывала бабушка от души свою роль.

– Ладно, еще кусочек, и на этом конец, – пыхтел лесничий и вгрызался в хрупкую панированную ножку.

На дорогу домой бабушка набила ему полные карманы венгерскими салями и пряными колбасками. Для виду он оборонялся от этой последней атаки, но, наконец, застегнул пальто и ритуально произнес:

– Ну, это уж действительно было лишнее, берегите себя, будьте здоровы.

Когда он уехал, бабушка, моя посуду, проговорила сухо, удовлетворенно и в то же время с пренебрежением:

– Проголодался мужик, видно было, и жрал за троих.

Приходя домой из своих редких походов в гости к приятельницам, бабушка сжато высказывала свои впечатления короткой словацкой пословицей: «Всего хватало, да предлагали мало».

Закон джунглей

Жизнь среди своих соотечественников я всегда воспринимала как чередование холодного и горячего душа. Это было больно, но и приятно, смущало и отчасти закаляло. Бегемотова кожа выросла по всему телу, но легко, струпьями, отшелушивалась.

Реакции людей были непредсказуемы и казались произвольными. Вот мы распростерли перед собою пух наших душ, и вдруг кто-то грубо дунул, и пух испуганно разлетелся. Похвал мы не встречали, зато критики – сколько угодно. Гармонию никто не ценил. Ссор не избегали. Критика часто звучала вызовом, понуждавшим к обороне. Считалось, что не слишком-то умно принимать такой вызов всерьез. На атаку надо было отвечать подобной же контратакой. Хороший боец был тот, кто развил утонченный нюх на сладковато пахнущие раны противника. Взаимная критика была частью естественного острого интереса к другим – как и обезоруживающая сердечность и постоянные старания переделать всех окружающих по своим меркам. Каждого следовало втянуть в этот круг, никого не щадили. Сострадание не культивировалось. Друг от друга требовали невозможного. Рамки были разные, и надо было каждый раз заново вмещаться в них, и все мы с болью привыкали постоянно оказываться неподходящими. Опека стесняла, зато давала ощущение безопасности. Каждый считал своим долгом опекать других и отвечать за всех. Круг был замкнутым – вырваться из него означало бы выбрать свободу, но такую, как невесомость космонавта в пространстве без силы тяготения. И я с презрением обзывала тех, кто не выработал в себе «словацкую душу», индивидуалистами.

В разговорах все пустые слова сминались – требовалось говорить ярко и образно. Мать в злости выкрикивала ложь, рыдала, возводила чудовищные обвинения на отца. Слово отрывалось от значения, содержание исчезало. Важна была лишь окраска слова, а она в такие моменты бессилия была пурпурно-лиловой.

Всю нашу силу, воображение, способности, любовь и гнев мы ежедневно вкладывали в человеческие отношения. Там творилась наша литература, там ставились наши спектакли. Важен был только стиль и его оттенки. Содержание и цель разговора подчинялись стилю, раз-

говоры шли без всякого стремления достичь какой-то цели, словно люди наслаждались лишь обостренным удовольствием стилизации. Эта огромная игра казалась мне настоящей сутью жизни. И, пожалуй, человеческие отношения были тем единственным, чему мы неустанно предавались.

Рассказывать с юмором, давая пищу воображению, с вниманием к оттенкам, не избегая остроты, реагировать точно и искренне, быстро, реалистично и цинично оценивать ситуацию, уметь хорошо выпить, поесть, накормить и напоить, развить в себе общительность, распевать народные песни – вот были лучшие предпосылки для человека, который хотел представлять собой национальный характер. Что-то мне не давало полностью развить в себе эти качества, и меня часто упрекали, что я-де не настоящая словачка. Я, видимо, прежде всего, не была достаточно прагматичной, мне не хватало практического энтузиазма. Мне выговаривали за то, что я не хотела напиваться и постоянно проявляла, по их мнению, наивность.

Людам во всем была присуща расточительная щедрость, хаотическая интенсивность, тяга к беспорядку, к постоянным сдвигам отношений. Они действовали и говорили так, будто их все время настигали какие-то внутренние вихри. В самом глубинном слое их существа таилось что-то непослушное, не прямое и скрытое, что можно было бы назвать коварством. Никто не мог положиться ни на другого, ни на себя. Свойство, непригодное для демократии, но служившее неистребимым червяком в трухлявых подмостках диктатуры.

Большей частью, люди были неспособны владеть собой и легко соединяли нежность с грубостью. Их откровенность манила к полету и часто соблазняла меня. Горизонт влек, и кто однажды отдался полету, вновь и вновь предавался ему. Откровенность волновала, обзывала, а главное – обещала нечто подлинное, что далеко не всегда выполняла. Она открывалась как про-

пасть и внушала мне страх. Люди представлялись мне существами крайне опасными и глубоко сродненными с моей собственной душевной сумятицей. Я позволяла их теплоте заводиться меня далеко, их очарованию – вводить меня в заблуждение и попадала в тупик насмешек. Симпатии и нападки чередовались, никакая система не позволяла их предвидеть. Люди постоянно меняли тактику, словно зависели от расположения звезд. Чтобы выжить, надо было выработать интуицию, осторожность и вечную настороженность, как у жителя джунглей.

Весна 1968-го

Сначала я мало замечала, что вокруг стало свободней, помню лишь, как несколько парней на перемене сорвали портрет узкогубого президента и растоптали его ногами. В классе неожиданно запахло кровью и течкой. Директор приказал вымести осколки стекла и ответил на инцидент какими-то незначущими словами. Как и мы, он хорошо знал, что дни Новотного уже сочтены.

По дороге домой мы написали на стене: «Президент – свинья!» – и нервно смеялись. Весенние дни 68-го были особенно долгими и ветренными. Газеты читались как настоящие. Они были полны сообщений о реформах и реабилитациях. Придя домой, я возмущенно напала на родителей:

– А, вы знали о политических процессах и молчали?

– Тебе этого не понять.

Я обозвала их трусами.

Свобода сразу стала повсеместной и бесконечно растяжимой. Ее поток нес нас всех – попутчиков и трусов. То, что раньше считалось неизбежным реалистическим компромиссом, маскировалось, – теперь разоблачалось как обман. Требовали правды.

Авторитет учителей и родителей был подорван. Отец моей подруги, верный сталинист, не выходил из инфарктов. Его дочь сняла со стен сталинские портреты. Ходят слухи, что теперь он опять здоров.

Прежде всего мы окунулись в националистическое опьянение. Голоса, призывавшие к независимой Словацкой республике, раздавались смелее, и к ним все больше прислушивались. Переняла и я в свой словарь слово «независимость». На наших джинсах, выцветших от стирки, мы рисовали старый словацкий символ: три холма с двойным крестом – и распевали в винных погребках запрещенные националистические песни времен краткого существования независимой Словакии. Ненависть к чехам, до тех пор как-то сдерживаемая, носилась в воздухе.

Вершиной национального возрождения был весенний поход на гору Брадло. Тысячами и тысячами шли мы из городов под словацкими флагами, вытащенными из пыльных тайников. Вот тут был спрос на патетику. Над горой из громкоговорителей неслись революционно-националистические стихи наших просветителей и романтиков. Границы между людьми размывались в потоках сливовицы, всю долгую ночь мы объяснялись друг другу в нашей словацкой любви.

Я лежала в траве с каким-то случайным студентом-электротехником и напряженно из безопасного отдаления глядела, как мой пьяный брат криками о своем национальном возрождении хлестал по морде запуганного чешского солдата, который, к своему величайшему несчастью, нес здесь службу. Но меня мало беспокоило, в опасности ли его жизнь, – я боялась за себя: забота брата о своей младшей сестре с годами становилась все более угрожающей. У меня по голове опять побежали мурашки, как тогда, когда он обнаружил меня с моим другом и избил.

Летом 1968 года, едва сдав экзамены на аттестат зрелости, я проскользнула через расслабившийся тогда железный занавес и поехала в студенческий трудовой лагерь во Францию.

В поезде, который шел в Бордо, в купе напротив меня сидели двое усталых рабочих. У них были огромные руки с глубокими впадинами. Узнав, что я из Чехословакии, они живо наклонились ко мне, крепко уперлись подошвами в пол и, размахивая руками, обрушили на меня поток слов. Я страдающе улыбалась: по-французски я не понимала. Только два слова отчеканились у меня в мозгу. Мои соседи говорили их с особым нажимом и, заметив, что я все равно не понимаю, продолжали повторять лишь эти два слова, словно от них весь мир зависел. Они не уставали в своих попытках и принялись произносить свое сообщение по буквам. Я за гипнотизированно смотрела им в рот и двигала губами, как младенец, стремящийся заговорить. Сойдя с поезда, они еще долго махали мне с платформы и, когда поезд тронулся, сложили ладони рупором и еще раз прокричали мне свое предостережение.

* *
*

В ночь с 20 на 21 августа у нас дома, в Братиславе, зазвонил телефон. Дома были только мама и брат. Мать зло распахнула дверь в комнату брата и приказала:

– Подойди к телефону. Это, наверно, одна из твоих баб. Мне никто так поздно не звонит.

Брат пошел к телефону, как побитая собака. Мама слышала его тихий, подавленный голос:

– Да, да, ладно, да нет, не может быть... ну да, хорошо, пока...

Мама фурией выскочила в коридор:

– Кто это был? – в ее голосе звучала беспощадность.

– Дядя Ёжо, его, наверно, жена из дому вышвырнула. Он сейчас придет.

– Да ты что, дурака валяешь? В три часа ночи! Что за чепуха? – мама с угрожающим видом приблизилась к отступавшему от нее брату.

– Он что-то говорил про русских. Сказал: русские здесь. Не знаю, он был взволнован, может, нервы разгулялись...

– Какие русские посреди ночи?

– Он сказал: посмотрите в окно. Я уж не знаю...

Мама бросила на брата еще один сердитый взгляд и подошла к окну. Перед нашим двенадцатиэтажным домом, при въезде в Братиславу с автострады, стояли советские танки. Дула их орудий были нацелены на наши окна.

Скоро пришел дядя Ёжо. Он принес два чемодана: один – со старыми шубами, другой – с фарфором и чешским хрусталем.

– Можете это сохранить? Мне уже пора, – сказал он, растерянно потев. Он был еврей, и его гены сразу же почуяли погром. Он счел, что мы, не-евреи, находимся в меньшей опасности, и доверил нам свои семейные сокровища.

* * *

*

Тем временем кончалось мое лагерное пребывание во Франции, отмеченное безлюбивыми любовями. В обеденный перерыв заведующий лагерем выбежал во двор с радиоприемником в руке. Он молча поставил приемник в мокрую траву. Мы долго ничего не понимали. Только два слова выделились для меня из радиощебета, и передо мной, выйдя из густого тумана, предстали те двое рабочих. Мои губы опять незаметно зашевелились. Я начинала понимать. Это было как удары по пустой

консервной банке – высокий, но притупленный тон. Мое тело, голова – все сразу опустошилось. Мозг и душа были стиснуты оледенелым корсетом, поры тела зацементированы словами. Я была мертвая крепость, жители которой заживо замерзли в подвалах. Я ничего не думала и не чувствовала. Французское радио беспрерывно передавало подробные сообщения об оккупации Чехословакии войсками Варшавского пакта.

Движение началось сначала в желудке. Туда медленно ввинтился огромный, длинный червь, напитанный языковыми кальками, и время от времени шевелился там, ползал. Это была та же самая тягучая боль, как в шестом классе, когда я легкомысленно выдала чужой секрет и потом перед сном меня постигла бесповоротность содеянного. И теперь было это сознание бесповоротности, которое, расползшись по всем закоулкам тела, вызвало распад. На третий день на меня напали с тыла немилосердные судороги, и плач сбил меня в истерпанный и неподвижный комок. Оболочка спала. Осталось маленькое розовое существо без кожи.

Но отчаяние так и не достигло настоящей вершины, ко всем этим ощущениям присоединялось какое-то волнение, легкий зуд. Это было волнение, ощущаемое при осознании исторического момента, когда людские жилы немедленно снабжаются неведомо откуда притекающей свежей кровью. Мы стали осколками железа, притягиваемыми к огромному магниту. Мы желали одного: быть там, что бы ни случилось, прилипнуть к магниту, – это стало нашим неожиданным призванием. Наша страна влекла нас как бездонный обрыв, мы бы охотно бросились вниз, туда, где темнота была гуще всего, – там было какое-то подобие жизни. Мы знали, что не танки, воображаемые недоверчивым взглядом, – причина отчаяния. Они, наоборот, были чем-то осязаемым, они придали бы очертания нашему героическому сопротивлению, хоть это и был сознательный самообман, которому мы отдавались с чувством благодарно-

сти. Пока нам жилось хорошо, мы были единомышленниками во всех важнейших жизненных вопросах. Но мы уже сознавали, предчувствовали самое опасное и обезволивающее: на раскатанной гусеницами танков земле вырастет плоская жизнь во взаимном недоверии, расщепление опять будет мучить наши умы, страх вновь нас ослабит. И нас парализовало сознание безнадежности всякого порыва к сопротивлению, словно нам уже века назад вкололи в гены это понимание, которое мы в момент унижения принимали как неотчуждаемое наследство и разумно склонялись перед ним. Это понимание, сопровождавшееся лишь циничными анекдотами, и теперь оставило нас в бездействии.

Эмиграция

Я поехала в Вену, чтобы встретить мать. Потом мы ехали вместе на машине через дождливую Австрию. Вновь и вновь подступала мне в голову горячая волна и разряжалась в потоках слез. Лишь одна мысль засела тяжелой лягушкой в мозгу: эмиграция не знает обратного пути. Мир, открывавшийся передо мной, был мне безразличен, чужд, я втянула свои щупальца, не хотела ни до чего дотрагиваться. Мне хотелось домой. Но что такое это было – дом, родина? Душная дыра с несколькими родными голосами, обрамленная национальными символами, обшаренная ветром, несущим с собой весь братиславский мусор.

Когда мы переезжали швейцарскую границу, на встречу нам по дороге шло несколько парней. Мама остановила машину, и один из них просунул голову в окно и спросил напевно, по-пражски: «Лагерь ищите, кисаньки?»

Как откровение, согрела меня мысль: мы эмигрируем не одни, и, пока повсюду с нами будут Швейки, все пойдет на лад.

Над воротами лагеря стояли бодрые немецкие бук-

вы: «Добро пожаловать, герои!» Швейцарские солдаты допрашивали нас анестезирующими голосами медсестер, с такой бережностью, словно мы впрямь выползли из-под гусениц советских танков. Мне было обидно, наша трагедия показалась мне нелепой. Прославлять себя как героиню было постыдно и трусливо – ведь я была всего лишь беженкой.

Мы получили деньги на бензин и поехали через Цюрих в Базель. Доехав до старого университетского здания, мама сразу решила не эмигрировать ни метром дальше, и так мы остались в Базеле. Швейцария казалась мне раем для пенсионеров, а я была невзрачная девушка в гостинице «У синего креста», смешная революционерка без народа.

* * *

*

Ребенком я росла с представлением, что словаки – самые подлинные представители человечества, а словацкий язык – самый естественный в мире. Все другие народы были как словаки, только говорили, непонятно почему, иначе. Круглое лицо казалось мне единственно возможным, непринужденная откровенность – чем-то в высшей степени человеческим, постоянные порывы темперамента – самым нормальным стилем жизни, а люди, не понимавшие по-словацки, – пришельцами с иных планет. Этой философией я обходилась довольно долго, и никто не подвергал ее сомнению.

Потом мне было 19 лет, я носила черную мини-юбку и только что поступила в Базельский университет. Я тосковала по человеческой близости, по интенсивности чувств. В старых университетских катакомбах и больших светлых залах никто не обращал на меня внимания. Я придала лицу непринужденное, шаловливое выражение и расслабленной, вихляющейся походкой подошла к двум студентам, склонила голову набок и зазывающе улыбнулась. Они горько ощерились, отсту-

пили на шаг назад и ответили громко и ясно. Я видела, как неприличны мои легкомысленные появления и мой сильный акцент: всюду, куда я ни ступала, образовывались ямы и болотистые окопы. Единственное чувство, которое мне иногда удавалось угадать, было бессильное сострадание мне. Я начала понимать, что эмиграция – состояние войны, во время которого порваны все коммуникации.

Я переживала внезапные оползни и тяжелые землетрясения, долгие извержения вулканов и наступавшие вслед за ними паводки. Земля дрожала годами, и, когда она немножко успокоилась, надо было строить все заново, частично из разбросанных обломков, частично из завезенных чужих материалов.

* *
*

Я пришла к швейцарцам, чужому, замкнутому горному народу, живущему в бетонных строениях. Новый мир был чист и гладок, в нем не было знакомых щелей и следов. Каждое лицо и каждое слово напоминало мне о новых законах, которые я встречала с презрением, недоверием и неприязнью. Все было иным: люди сложены стройнее и крепче, их повадка сдержанней, тела их как будто держались на какой-то внутренней оси, как будто были зажаты невидимым и непроницаемым корсетом. Душа этих людей, к моему удивлению, не разливалась по мокрым улицам, годами я не могла в нее заглянуть, так скрывалась она за фасадом. Когда изредка, вопреки всему, мне удавалось выманить ее оттуда, она робко дрожала. Скоро мое удивление перешло в слепую ярость.

«Почему они не как мы?» – спрашивала я себя растерянно. Меня метало от ненависти к бессилию. Все органы чувств стали бесполезными. Сигналы доходили искаженными и приглушенными. В воздухе ничего не

зарождалось. Земля шаталась под ногами. Я поняла: родина – это способность к ориентации.

Я понимала смысл слов, но слова, плоские и тупые, съезжились до какого-то языка знаков, до азбуки Морзе. Слова повисали в воздухе и, приближаясь ко мне, ударялись о мою броню. Слова больше не были волшебными шкатулками с двойным и тройным дном – они звучали твердо и размеренно, как устойчивая поступь робота. От них мне в тело не струилось электричество, все лампочки погасли. Слова не были больше ни каруселью, закруживающей до тошноты, ни рискованным приключением, они не давали кайфа, не бросали в озноб, не играли со мной, они были работяги, лишенные юмора, доведенные до своей голой сути. Жесткие, целесообразные, бездушно голодные, они стояли наготове. Я поняла: родина – это язык. Мое старое существование рухнуло, магнит языка больше не связывал меня. Я распалась на тысячи неживых металлических осколков.

Но неожиданно, где-то в зарослях своих законов, новый язык приоткрыл передо мной непредчувствованные свободы. Я принялась подбирать слова, эти блестящие новенькие монетки, и катать их во все стороны. У них был металлический звон. Я обнаружила, что новый язык хорош для интеллектуальных изгибов. Светлый горизонт и шутовская беспочвенная свобода сами шли в руки. Новая речь не пахла детством и не липла на языке. Я ничем не была ей обязана и не подлежала ее волшебству. Я стояла вне всего. Я была пришельцем, не блюла обрядов, была свободна.

Во время моих беспомощных шатаний между детством и юностью бабушка записала меня на курсы немецкого языка. Она считала, что с каждым новым языком становишься новым человеком. Немецкий был мне отвратителен. Я ощущала его таким же шероховатым, как толстая бумага в восточногерманском учебнике, и таким же скучноватым, как цветные фигурки, смотревшие на меня с его страниц. Лишь годы спустя, уже в

эмиграции, его ясная структура привела меня в восторг. С немецким языком я летаю при свете дня, зато славянские языки – влажный подвальный коридор, пахнущий хламом, где я бесстрашно пробираюсь наощупь. Там мне глаза не нужны.

Я сражаюсь за победу над новым языком и против потери старого. Это маленькие, будничные, изнурительные бои. Я кормлю двуглавого дракона и поливаю два ростка. Оба нуждаются в заботе, а рационы еды и питья ограничены. Обе головы жаждут пищи, обоим растениям грозит гибель. Когда обильно поливаю одно – другое сохнет. Я люблю оба растения разной любовью, каждая голова угрожает мне с иной стороны. Покоя нет. Мои двуйцевые сросшиеся спинами близнецы ревнуют друг к другу. И вечно нуждаются во мне.

* *
*

Он снился нам бесконечно часто – этот стереотипный эмигрантский сон. Мы опять стояли покинутые, во мгле, среди стен, с которых кусками осыпалась серая штукатурка, и ощущали над собой стеклянный колокол. Мы разбежались, как сумасшедшие мыши, ясно слыша за собой топот преследователей и ударяясь о непреодолимое стекло, за которым разлагался мир. Крик – и внезапно обнаруживаешь себя сидящим на смятой простыне.

«Я уже вне этого», – с облегчением сообщало сознание, но земля теряла силу тяготения, и мы висели в незнакомой пустоте. Новоприбывшие рассказывают этот сон еще с удивлением.

* *
*

Я стояла на перепутье тех дорог. Первая шла через опушки от пива, вина и тоски лица моих соотечественников в кабаке «Альпен розли».

Как по острой гальке и мягкому мху, я ступала по их так хорошо мне знакомым грубостям и нежностям. Нас соединял дым, еще струившийся от нашего отечества. Подземные провода, не доходившие до швейцарцев, еще были целы. Нас мучила несказуемая тоска по тому всемогущему, перехватывающему дыхание слову, которое там порождало наш дух и на котором так славно разрасталась шутка как воплощение свободы. Площадь Сталина в нашем провинциальном городке, перекрещенная в площадь Мира после осуждения культа, для нас так и осталась Сталинской. И в швейцарском кабаке с жестокой закономерностью от этого слова поднялось облако нежности. И Ленин навсегда угнездился в нас. Цепь ленинских анекдотов не прерывается – она настолько утонченна, что скорее похожа на языческое почитание чужих предков, чем на богохульство.

Но эта дорога затерялась где-то в призрачных грезах и химерах, и те, кто пошел по ней, остались неискупленными, выглядели душами покойников, осужденных на постоянное самоповторение. Наша почва за годы истощилась, на ней больше не проросло зерно, остался лишь бурьян воспоминаний. Каждый из нас ранен, у каждого свой паралич, но при встречах мы уже не знаем, какие раны у другого, как они глубоки, как болят и не прошла ли эта боль.

Эмигрантские балы год от году становились абсурдней. Первый бал в холодном январе 1969 года разливался шовинистическим пением, рвущимся из раскрасневшихся шей. Где-то щелкнул нож, мелькнула тощая фигура, а за ней – режущий уши крик: «Я убью тебя, Яно!»

На последнем балу прошлой зимой я пожимала вялые руки в аквариуме, мы много улыбались, так как больше не слышали друг друга.

Мои отношения с земляками превратились в этнографическое наблюдение. Я трезво и настороженно следила за несколькими драгоценными экземплярами, све-

жеприехавшими оттуда, и все-таки, случилось, они ухитрялись заставить меня подпасть под их внушающее воздействие, и на короткие мгновения я погружалась в близкий мне язык. Вечное странствование утомляло – хотелось отдохнуть.

Другая дорога вела в чужие воды, к сдержанности жестов, выпрямленной спине, отчаянному отказу от себя. Многие наподдали себе в спину и бросились в воду. Вскоре они получили в награду защитный слой сала и больше не мерзли. Они уже не выползали на берег, хотели только плавать и, как все рыбообразные, жалели и презирали обитателей суши. Их ноги преобразовались в плавники. Море, казалось, призывало и меня:

«Выучись плавать, закались, и тебе удастся перевоплотиться. Лишь вначале больно, а потом и у тебя нос срастет с подбородком. Не презирай чешуи, она нужна, да и ранимые ноги – зачем они тебе? Прыгни». Я прыгнула и поплыла. Чужое море было непроницаемо, я не чувала морских запахов, только мерзла и мерзла. Но потом обнаружила теплые течения и начала различать контуры подводного мира.

Мне чудится: я пингвин. Хожу по берегу вразвалку, в воде скольжу. А когда мерзну, мы, пингвины, прижимаемся друг к другу. Я обитатель воды и суши. Моей мечтой остается воздух. Я машу захиревшими крыльями. Я ведь знаю: мне было предназначено стать птицей. Я хочу стать новой породой, я неизбежно ею стану: вода и суша тесны мне. Меня будут звать Косма-Полита.

* * *

Как там усиливается страх, я чувствовала лишь косвенно.

«Твои письма слишком откровенны, сдерживайся», – передали мне через Югославию. Наверно, мое чувство цензуры притупилось, или тамошняя жизнь еще больше

сузилась. Правильным было и то, и другое. Когда после восьмилетней разлуки меня навестила подруга, она не доверяла моей квартире, всюду высматривала спрятанные подслушивающие устройства, тщательно проверила даже свое собственное пальто, ища каких-то фантастических аппаратов. Она сама смущенно смеялась над этими страхами, но серьезные разговоры мы все-таки, по ее просьбе, вели на улице, окруженные городским шумом. Каждый, задавший ей больше трех вопросов, оказывался на подозрении. Мои друзья вскоре превратились в потенциальных шпионов. Она подозревала, что за ней идет слежка, и просила больше ни с кем ее не знакомить. Это чтобы потом, на допросах, которые, вероятно, ее ожидают по возвращении, ей приходилось поменьше лгать, – объясняла она беспомощно. Я поняла, что взаимное недоверие, как смог, привело всю страну в астматическое состояние, что шифры стали утонченней и возникли новые, резко очерченные касты с новыми опознавательными знаками. Ее страх вдвинулся между ею и мной, как стена. Она ощущала мое непонимание и презрение к этой, с моей точки зрения, преувеличенной запуганности. Она была разочарована тем, что я уже не в состоянии понять ее до конца. Так она и уехала, удрученная, ночным «Венским вальсом» в темноту.

Моей подруге в Братиславе вот уже пятнадцать лет снится один и тот же сон. Ей снится, что я, наконец-то, приехала в Братиславу, она меня видит, видит, как я разговариваю с чужими людьми, видит мое лицо, искаженное громким хохотом, и кричит:

– Она ведь моя, она ко мне приехала!

Но я не замечаю ее, не узнаю. Вспотевшая и взволнованная, она просыпается. Когда мы говорим с ней по телефону, она рассказывает мне вариации этого не оставляющего ее сна и в конце говорит решительным голосом:

– Сны ведь как раз противоположны действительности, правда?

Я уверяю ее, что, конечно, поехала бы в Братиславу из-за нее одной: ведь она единственная душа, которая там у меня осталась. И она прибавляет в эйфории:

– Когда ты приедешь, я сделаю для тебя Словакию раем. Все будет твое.

И потом, словно сознав, что я никогда не приеду, она трезвеет и говорит торопливо и успокаивающе:

– Но зато моя дочка так на тебя похожа, как будто она твоя. И пришли ей, пожалуйста, опять тех круглых леденцов, у нас ведь только такие плоские, сама знаешь.

Дорогой Владимир Емельянович!

Поздравляю тебя с десятилетием «Континента». Это явление исключительное не только в современной русской культуре, но и в европейской. «Континент» перерос рамки журнала, став символом Сопротивления советскому тоталитаризму. Мне трудно вообразить, сколько сил, таланта и воли требует от тебя «Континент», и твое подвижничество может вызвать только восхищение. Именно теперь с приближением судьбоносных и роковых лет его существование крайне важно и необходимо.

Еще раз от души поздравляю тебя и всю редакцию.

15.07.84

Вадим Нечаев

В АЛЬПАХ

СТАНСЫ

Мне хочется снова с тобой
уйти за альпийскую складку,
за гребень ее вихревой
– не знамо с какого устатку.
Чтоб вместе с лазурью вверху
окрест обрывалась твердыня,
и фалды на рыбьем меху
нам ветер трепал, парусиня.

Чужие – мы дышим чужим
дыханием роскоши вьюжной.
Наш собственный двор недвижим
с продажей и куплей подушной
всего-то в каких-нибудь двух
– внушающих смертным зевоту
виденьем крыла на плаву –
часах самолетного лету.

Тебе, чье отрочество там,
подобно жемчужине в рыбе
вотще недоступное нам,
осталось на тульском отшибе,
таясь, не скатать волоски
протертых стежков рукавицы,
когда ударяет в виски
и тянет мороз за ресницы.

Все тридцать пять прожитых зим
под космосом в блещущих пробах
уже отпевал серафим,
когда проводила на скобах
обитая войлоком дверь
долгой – из родного зимовья,
где чьим-то затылком теперь
примято мое изголовье.

Легко ли туда, торопясь,
вернуться теперь бестелесным
и верящим во Ипостась
с Ее одиночеством крестным?
Не может быть дольше красна
и страшно с исподу червива
земля, чья растрата ясна
и мга не в пример долгогрива.

1984

* *
*

До-гётевой лепки
альпийские стынют чертоги.
Из бронзовой репки
под мраморный глянec протоки
бегут, расплетаясь.
Но так тяжело Иисусу,
что свечи, пугаясь,
всей стаей сбиваются к брусу.

Когда ослепляет
спасения чистая пытка,
Господь наполняет
глазницы белком до избытка

под обручем терний
и ставит пред оные кратко
две русские тени,
которых не пустят обратно.

8. III. 84

* *
 *

Житуха, жизнь – в ее единственном
числе, не емлющем дробей,
не умножаемом, таинственном
подобно родине моей,
заросшей по глаза крапивою,
клонимую за окоем,
погостной бузиной ретивою,
боярышником и репьем.

Почувствовав ожесточение
отроческое по весне,
чье заповедное значение
всего отчетливей во сне,
железо на морозе липкое,
бывало, тронешь языком...
Начнешь могилой, кончишь зыбкою
за зазеркалевшим окном

– чтоб наобум в альпийской замети
передвигаться чуть не вплавь,
преображая жадно в памяти
утраченную напрочь явь,
догосудареву, былинную,
благовестившую окрест,
где ныне лишь волну чужбинную
глушилка воинская ест.

март 84

ПЛАТОК

Возьми платок – вспомняешь!

Б.

1.

Неизбежное закланье
неизбывных дней
– словно противостоянье
елочных огней
иль отек аквамарина
на большом листе,
чья ржавеет сердцевина,
что клепа в кресте.

Слышу, слышу зов губерний
над ершистым льдом,
вижу зарослями терний
ослепленный дом
и над ними масок львиных
подлинный оскал.
С крапом лапок воробьиных
снежный перевал.

Кто с того вернется света,
пусть доверит мне:
чем сроднимо то – и это
белое в огне
притяженье зимних улиц,
где чужой каток,
и не греет детских скулец
маменькин платок.

24 января

2.

Эй, под елями лохматыми
теневою аквамарин,
изнутри с рубцами красными
лучевыми апельсин
– мне окликнуть вас с альпийского
удается гребешка
в смеси ветра италийского
и арийского душка.

Пригодился б тут вспомянутый,
увлажненный ртом чуток,
в пояснице перетянутый,
щеку колющий платок,
чье рядом в запас уволено
после выслуги годин,
верный друг Аники-воина
из суворовских дружин.

Пересохли, перетаяли
санный след, желанный плод,
где беспечно шавки лаяли
на идущий с громом лед.
...Преломив, из крови вынула
жизнь отрезанный ломоть,
прежде чем к плечам прикинула
крест – готовная щепоть.

26 января 84

И. П.

Письма с родины – страшное дело!
Просит каждую Божию ночь
всё там от густоты – до пробела
что-то сделать и как-то помочь.

Значит, из разверзаемой хляби
в непривычно окрепшей горсти
время толику краденой ряби
в снеговую пустыню нести.

...Да, мы видели пинии Рима,
честно слепли в альпийском огне.
По весне – в абрикосовом дыме
удавалось беспмятство мне,

но чем выше наводят границу,
тем бессоннее тянет опять,
обратясь пепелищною птицей,
над чащобным пределом летать,

где еще не остыли могилы
победителей-узников и
до родин подытожены силы,
слабокрылые силы мои.

1984

ПАЛЫЧ

Многих, с кем хорошо был знаком в России, я забыл. Многих. А Палыча помню.

Сначала мы его испугались. До сих пор редакция жила более или менее спокойно. Наш главный редактор, еще в тридцатые годы работавший в ЦК комсомола, видимо, сам поверил в идеи интернационального братства и дружбы народов, которые излагал на собраниях рядовым комсомольцам. Возможно, поэтому очередные указания ЦК партии по укреплению кадровой политики он игнорировал. Но, скорее всего, в этом тоже проявлялось его удивительное упрямство: он все хотел делать наоборот. Если кому-нибудь из нас нужно было съездить в Ленинград или Ташкент — действительно по редакционному делу или под предлогом служебной надобности по своим делам, — следовало сказать шефу: «Очень не хочется мне сейчас ехать...» И тогда раздавалось категорическое: «Ехать надо срочно, завтра же...»

Как бы то ни было, жили мы сравнительно спокойно. Старая секретарша Сашенька, выбивая о коробку «Казбека» очередную папиросу, рассказывала, как на встрече нового 1938 года танцевала в Доме Печати с великим летчиком нашего времени Чкаловым. «Казбек» всегда тянул ее к воспоминаниям, а курила она не переставая. На летучках льстивый и трусливый Ритенко, крупнейший в советской кинокритике специалист по монгольскому кино, заливисто смеялся тупым начальственным шуткам. Начальство смотрело на него презрительно, но ценило за угодливость. Шанкер, скрывая немецкое происхождение предков, сменил фамилию на Осенкин. На каждом собрании он утверждал, что «Солженицын и иже с

ним» враги народа. Кто такие «иже с ним» известно не было. Зато все знали, как поступают с врагами народа. Это не мешало ему снабжать редакцию неизданным Солженицыным и другим свежим самиздатом, называть Ленина симбирским ветродуем, а Брежнева — слюноточивым дегенератом. Возглавив международный отдел, он заявил, что для нашего же спокойствия нужно подобрать десяток цитат из речей Генерального, чтобы время от времени вставлять их в принесенные авторами статьи. Цитаты он аккуратно заготовил и пронумеровал по темам, но обошлись без них. Пришедшие в редакцию недавние выпускники киноинститута перенимали ценный опыт старших, надеясь со временем завоевать свое место под солнцем действовавшей сталинской конституции.

Мы радовались тому, что можем писать статьи об актерах и актрисах, операторах и художниках, режиссерах и композиторах, статьи, в которых не требовалось хвалить мудрую политику, гордиться выдающимися достижениями и убеждать читателей в конечной победе. Каким-то образом мимо нас проходили идеологические бури, сокрушавшие время от времени не только спектакли или фильмы, но и целые театры, киностудии и редакции. Нам позволялось быть не слишком идеологическим органом.

Почему?

Есть статистика: чем жизненный уровень в стране ниже, тем больше любят там кино. В СССР любят кино, как нигде в мире, а из нашего журнала миллионы читателей узнавали о новых ролях актеров, планах режиссеров и о новинках кино, в том числе и зарубежного, и идеологическая функция журнала заключалась в том, чтобы помочь людям уйти от неурядиц, несправедливостей и нехватки продуктов в несуществующий и фальшивый мир экрана. Поэтому, если на первой полосе журнала стояло имя космонавта или передовика производства, призывающего кине-

матографистов создавать фильмы, нужные народу, это считалось достаточным.

Порой мы со страхом спрашивали друг друга: долго ли продержится наш оазис? И вот случилось.

Центральный комитет партии постановил внимательно относиться к письмам трудящихся, в журнале решили создать отдел писем и во главе его поставить нового сотрудника Ивана Павловича Дитенко*, полковника в отставке. Никто его еще не видел, но зато все знали, что такое полковник в отставке. Выслужившие срок солдафоны возглавляли спецотделы и отделы кадров в тысячах учреждений, писали несурзные малограмотные доносы на сослуживцев и соседей, обвиняя их в нелояльности и моральной нечистоплотности, следили за правильностью кадровой политики своих начальников и успешно проваливали любое конкретное дело, которое им иногда поручали.

Внешность Дитенко подтвердила наши худшие опасения: синий костюм с длинными лацканами и рукавами, почти до конца закрывающими пальцы, три ряда засаленных орденских планок, белая нейлоновая рубашка и узкий черный галстук, застегивающийся сзади на железных крючках. Из воротничка торчал кадык на худой шее, нос с горбинкой и черный пролетарский чуб. Темное скуластое лицо украшали три передних золотых зуба.

Когда он заговорил, стало еще страшнее: косноязычие его было замешано на сильном украинском акценте. Так говорят надзиратели в концлагерях, участковые милиционеры и руководители Центрального комитета партии, забывшие украинский и не выучившие русский. К шефу было делегировано несколько сотрудников, пытавшихся отговорить его принимать на работу Дитенко. Но мы слишком дружно ругали

* Имя и фамилия изменены.

почти неведомого нам полковника в отставке, и это только повысило его шансы.

Мы обходили кабинет нового сотрудника стороной и стали осторожнее в коридорных анекдотах. А когда на ближайшей редакционной летучке Дитенко поделился соображениями о просмотренных им за первые дни работы фильмах, приуныли даже самые бездумные оптимисты. То неуловимое и очень грозное, что с тяжелой руки Ленина* стало называться партийностью в литературе и искусстве, повисло над нашей редакцией траурным облаком. И уйти некуда: во-первых, в других местах не лучше, во-вторых, там от своих евреев не знают, куда деться.

Мы продолжали ходить на работу, брать глубокомысленные интервью у актрис и искать в посредственных фильмах то, чего там никогда не было, постепенно привыкая к тому, что в одной из комнат находится чужеродное тело, вытеснить которое не удастся. Особенно допекал нас Дитенко бесконечным цитированием одного из двух классиков марксизма-ленинизма. Сочинения Ленина он знал наизусть и шпарил их при каждом удобном и неудобном случае, а нам оставалось выслушивать до конца не только сами не имевшие никакого современного смысла цитаты, но и комментарии Дитенко, объяснявшего или оправдывавшего с помощью этих цитат текущие события: вторжение в Чехословакию, замену партийного руководства в Грузии, экономическую реформу или, наоборот, отмену этой предполагавшейся реформы. Когда изредка кто-нибудь из тех, кто недавно закончил институт и помнил ходячие цитаты, без которых нельзя сдать ни один экзамен, по наивности поправлял Дитенко, тот вскакивал из-за стола, с выражением неотложности и важности дела входил в кабинет главного редактора, украшенный, как и все по-

* Фамилия изменена ее владельцем, настоящая — Ульянов.

добные кабинеты, портретом Ленина и покрытыми пылью бордовыми корешками десятков томов его сочинений, безошибочно брал один из них, быстро находил нужную страницу и торжествующе возвращался на место. Три золотых зуба впереди поблескивали в снисходительной улыбке:

— Значит, так. Еще раз повторяю. Владимир Ильич указывает...

Указательный палец Дитенко начинал делать сложные геометрические фигуры, а мы мечтали о том, как бы не нашелся еще один знаток ленинского наследия: спор с первым продолжался полчаса.

Тратить время на все это было скучно и жалко, но мы стали замечать, что это зло — единственное: собственно к журналу все это отношения не имело, и наше положение не ухудшалось. В конце концов, можно было сослаться на срочное дело или попросить секретаршу позвать к телефону, а потом не вернуться. День шел за днем, неделя за неделей, и вроде бы ничего в нашей жизни не менялось. Официальные партийные речи Дитенко произносил только на собраниях, где и положено их произносить, да и там ограничивался общими фразами, никого не задевая лично. В ответах читателям и в вышестоящие инстанции старался выгородить коллег и редакцию; к нему стали потихоньку привыкать и даже иногда советовались по делам, когда надо было, не покривив душой, найти формулировку, которая отвела бы удар, не взбеленив начальство.

А начальства было много: министр кино, его заместители, Союз кинематографистов и его обидчивые секретари, сами ставящие фильмы или пишущие на них рецензии, и два отдела ЦК партии: культуры и пропаганды и агитации, к которым иногда прибавлялся руководящий звонок из международного отдела, с их заведующими, замами, завсекторами и многочисленными инструкторами, чья работа оценивалась

по единственному признаку: кто первым обнаружит в книге, фильме, спектакле, журнальной книжке или газетном номере идеологическую неточность, лучше всего такую, чтобы можно было намекнуть на диверсию. Это оправдывало пайки, бесплатные санатории «повышенного типа», командировки за границу и талоны на пыжиковые шапки и болгарские дубленки. За такие привилегии и мать родную можно обвинить в потере классового чутья и идеологической бдительности. И Иван Павлович, всю жизнь прослуживший армейским политработником, оказался нам просто необходим. Он не вмешивался в то, что мы писали, да и не всегда понимал смысла написанного, но десятилетиями выработанный инстинкт самосохранения помогал ему замечать опасность там, где мы ее не видели. Он смотрел на текст глазами наших будущих цензоров, но смотрел до них и говорил свое мнение только нам, и с его помощью мы делали исправления так, чтобы суть осталась прежней, а придраться было бы не к чему.

А уж там, где требовалось посоветоваться или составить письмо, касающееся обмена квартиры или установки телефона, Дитенко оказался незаменим: никто теперь не начинал этих хлопот, не обсудив предварительно с ним все детали.

Так незаметно и довольно быстро Дитенко стал «своим». И когда через несколько месяцев его поставили во главе редакционной парторганизации, мы окончательно убедились, что полковник в отставке не только не мешает нам, но даже и помогает.

Нас стали миновать пропагандистские совещания районного и городского масштаба, идеологические инструктажи, собрания активов, вся эта отнимающая так много сил и времени болтовня. Раньше нам приходилось ходить на эти совещания по очереди, и фокус заключался в том, чтобы, отметившись при входе, незаметно уйти. Теперь вместо нас всюду ходил зака-

ленный тридцатилетней службой в политорганах Дитенко, с армейской дисциплинированностью отсиживая многочасовые доклады и прения об обострении идеологической борьбы на современном этапе. Никто больше не упрекал нас за то, что мы манкируем, не являемся, пропускаем, опаздываем или сбегает. Вероятно, ему самому не было тяжело участие в этих говорильнях, а нас он выручил необыкновенно, и жить нам стало намного спокойнее.

Потом оказалось, что редакцию больше не включают в список организаций, сотрудники которых в дни выборов в верховные советы СССР и РСФСР, в местные органы власти, а также районных судей и заседателей, называются агитаторами и будят людей в шесть утра, чтобы они поскорее отдали свои голоса кандидатам нерушимого блока коммунистов и беспартийных, а в обычные дни называются дружинниками, натягивают на рукава красные повязки и следят за порядком на центральных улицах города — на маленькие и плохо освещенные они сами боялись заходить. Палычу — так мы за глаза, а потом и в глаза стали называть Дитенко — удалось доказать, что наша малочисленная редакция выполняет слишком важную и ответственную политическую функцию, чтобы отвлекать ее сотрудников на то, что могут сделать другие, не способные к той исключительной деятельности, которая была доверена нам.

Еще больше обрадовало нас сообщение о том, что отныне мы не обязаны два раза в году — 1 мая и 7 ноября — демонстрировать на Красной площади перед стоявшими на мавзолее Ленина руководителями партии и государства свою преданность и верность. Когда-то в демонстрациях должны были участвовать все жители города. Но когда средний возраст членов политбюро перешагнул за шестьдесят и им стало трудно целый день наблюдать миллионные ликующие толпы, дали указание на демонстрации выводить толь-

ко «представителей трудящихся». По разверстке райкома партии мы должны были за месяц до демонстрации сдавать списки «представителей» и, как обычно, тянули жребий. Когда дело подошло к очередной демонстрации, Палыч объявил:

— Мы посылать представителей не будем, у нас слишком маленький коллектив. Пойду я как секретарь партийной организации.

...При желании и он мог бы не терять день на многочасовое утомительное хождение в колоннах с флагами, транспарантами и плясками на многочисленных стоянках. Но этого Палыч не мог позволить сам себе: брала свое многолетняя привычка. Только раньше он ходил за себя, а теперь за нас всех.

В редакцию время от времени приезжали коллеги из киножурналов социалистических стран, и в коридоре звучала польская, немецкая или болгарская речь, телефонные звонки за границу были обычным делом, а во время московских международных кинофестивалей мы приглашали к себе и кинематографистов из западных стран, конечно, только «прогрессивных». Можно было представить себе, что еще совсем недавно слово «иностранец» звучало для Палыча синонимом шпиона, и в первое время, когда в его комнату забредал иностранный гость, он — совсем не демонстративно, а как будто по делу — выходил. Но постепенно привык, и это ему стало нравиться. Потом подолгу и с любопытством расспрашивал о гостях.

Рассказы вернувшихся из зарубежных командировок наших сотрудников о том, что за границей нет очередей и есть куры, он слушал молча, но с особым вниманием, время от времени спрашивал: «Да? да? так?...» — и потом долго сидел молча, повернув голову к окну и постукивая карандашом по крышке стола.

Кинематографисты любят устраивать фестивали, и в редакцию приходили приглашения для поездок на такие киносмотр в братских, дружеских странах,

проводимые в Лейпциге, Мамае, Пече, Пуле, Варне и Кракове, а Союз кинематографистов начал устраивать туристические поездки и на разлагающийся Запад — то в Грецию, то во Францию, а то и в Америку. Есть ли у советского человека — от труженика полей до члена политбюро — бóльшая мечта, чем поездка за пределы родины? Эта честь доверяется немногим избранным, а остальные до конца жизни своей смотрят на них как на особо отмеченных. Но даже для них, доверенных и проверенных счастливицков, эта мечта осуществима лишь в том случае, если они получат письменную характеристику треугольника — руководителя учреждения, секретаря парторганизации и председателя месткома, утвержденную партийным собранием и заверенную райкомом партии.

Когда черновик такой характеристики впервые принесли на подпись Палычу, он не оставил от него камня на камне. Малограмотные и не согласованные между собой вставки, переносы и зачеркивания испещрили любительский текст, превратившийся в его руках в подлинно партийный документ с чеканными формулировками и застывшими определениями: морально устойчив, идеологически выдержан, скромн в быту, активно участвует в общественной жизни, пользуется авторитетом, может быть рекомендован для туристической поездки в Народную Республику Болгарию с... 19.. года на 12 (двенадцать) дней.

Палыч сам пошел со своим произведением в райком, где заседала комиссия по характеристикам для выезда за границу, состоящая из старых большевиков на пенсии, полковников в отставке и крашенных под светлых блондинок райкомовских дам в строгих темных костюмах и белых нейлоновых блузках. И, конечно, одного представителя «органов». Канонический железобетонный текст и внешний вид секретаря парторганизации популярного журнала с тех пор безошибочно делали свое дело: ни отказов, ни задержек с

утверждением характеристик не было. И каждый раз Палыч ездил с характеристикой сам, оставляя носатого и картавого сотрудника ждать ответа в редакции: не хотел нарушать впечатление от созданного его пером партийного образа. В Госкино и Союзе кинематографистов, посылавших нас на фестивали и в турпоездки, это оценили: мы сразу стали благонадежными, защищенными от подозрений круглой печатью райкома партии. Что было написано в скрепленном ею тексте, даже не читали — сама печать служила гарантией.

Понимал ли Дитенко, какую услугу оказывает он нам, выводя угловатым почерком благонадежные фразы, следующие за крамольно звучащими фамилиями? Ведь пожелай он — и без единого лишнего слова наши имена, случайно попавшие в список выездных и рекомендованных, исчезли бы из него навсегда. Короткий телефонный разговор, о котором мы никогда не узнали бы, и прощай не только далекая Америка, но и близкая Болгария. Оказалось, что всё понимает. Кто-то сказал при нем: «Спасибо Союзу кинематографистов за то, что не забывает включать нас в делегации». Палыч быстро произнес: «Спасибо Дитенко за характеристики». И добавил свое обычное: «Вот так». Мы еще раз убедились, что под внешностью отставного недотепы скрываются мужицкая хитрость, доброе сердце и опыт кадрового политработника, знающего правила партийной игры.

Но, хотя характеристики для райкома он давал всем одинаково хорошие или, как они назывались на бюрократическом языке, положительные, цену каждому из нас он знал подлинную. Никогда, например, не говорил на скользкие темы с тем, у кого был длинный язык, а темной бабы по имени Вика, лестью, доносами и оформлением каких-то привилегий для начальства выбившейся из курьеров в заместители ответственного секретаря, всех между собою ссорив-

шей и всем на всех доносившей, сторонился и без нужды вообще не вступал с ней в разговоры.

К шефу Палыч сначала относился как к командиру в армии: советовался по каждому пустяку, угадывал каждое желание и беспрекословно исполнял. Потом пообвык, пообтерся, раскусил слабости шефа и позволял себе спорить, не соглашаться и нередко выходил победителем. Спорил очень напористо, приводил случаи из жизни и примеры из истории партии. Своими победами в спорах очень гордился:

— Я ему так и сказав — нэ согласен. И всэ. И он согласився, что же ему делать, когда аргументы на моей стороне, он же ж разумный чоловик...

Нам трудно было выслушивать Палыча, когда он пускался в пространные оценки просмотренных фильмов, но зато его реплики о текущих событиях вдруг поражали своей некондовостью:

— Читали доклад Брежнева об успехах в экономике? Нужно прочитать и устроить семинар. Вот так.

И, не дожидаясь ответа, добавил:

— Я утром на базар ходив — лука нет. Говорят, египетским будут торговать...

Палыч приходил в редакцию задолго до нас и свой рабочий день начинал с чтения газет. Он брал у секретарши целую пачку изданий, отличающихся друг от друга только заголовками, и прочитывал их от корки до корки, что-то подчеркивая и выписывая. С утра в редакции были только он, секретарша и помощница Палыча, говорливая и неглупая Глаша Сосман. Когда мы пришли, Глаша рассказала, что Палыч, читая газеты, вдруг спросил у нее:

— Читала в «Правде» статью? Называется «Русский характер». Вот тэбэ и на. Русский характер.

Глаша удивилась:

— А что, Иван Павлович, тут особенного?

— То есть как?..

Он подошел к ее столу и, рубя правой рукой воздух перед самым её носом, спросил:

— А могла бы быть статья под названием «Узбекский характер»? А украинский? А еврейский? А татарский? Могла бы? Нет, нет, ты мне кажи, могла бы появиться в «Правде» статья «Еврейский характер»? Да или нет? Не могла бы появиться такая статья! Только «Русский характер». Это что? Интернационализм? Нет, это великодержавный шовинизм. Так или не так?..

Он еще долго возмущался, а успокоившись, сказал:

— В ЦК на это обратят внимание, им влетит под первое число, это политическая ошибка, вот так.

...Мы старались не слушать длинные рассуждения Палыча о значении того или иного съезда партии, роли того или иного ее деятеля, но порой нам самим становилось интересно. Когда кто-то спросил, что было бы, если бы на XVII съезде партии победил не Сталин, а Киров, Палыч ответил: «Да то же самое, не надо придавать слишком большого значения личности в истории».

В Палыче шел внутренний процесс, который мы замечали не только по его высказываниям, но и красноречивому молчанию. Так было и когда шеф одарил его заграничной поездкой — на фестиваль документальных фильмов в Лейпциг. Палыч вернулся сумрачным и впечатлениями от поездки не делился. Как будто и не ездил. Пытались расспрашивать — ничего не вышло.

Спорить с ним было почти бесполезно. Своих оппонентов он не слышал. Рубил правой рукой воздух, как будто шашкой смахивал голову собеседника, и поминутно спрашивал его: «Так или не так?» И, не дожидаясь ответа, продолжал. «Не так» быть просто не могло. Упрямым он был необыкновенно, но на него никто не сердился, молча слушали и тут же забывали.

Менял Палыч свое мнение редко, очень не скоро, но зато основательно и бесповоротно.

Ему явно все больше и больше нравился дух кино, невозможная в армии относительная свобода мнений и нравов, споры на редакционных летучках, которые он вел с ожесточением и страстью, но непонятно, с кем именно.

Как-то мы пристали к нему с просьбой отвоевать один рабочий день, чтобы поехать на дальнюю экскурсию: в субботу выезжаем, в понедельник возвращаемся, а вместо этого понедельника отработаем в какую-нибудь из суббот. Мы знали, что шеф на это не пойдет, поскольку сам он в экскурсиях не участвовал, и надежда была только на Палыча. Через пару дней Палыч сказал:

— Значит, так. Проведем это через партсобрание.

— Но шеф будет возражать.

— А это зависит от вас. Вы же знаете, что шеф всегда и всюду опаздывает на пять минут. Приходим без пяти десять. В десять ровно открываем собрание. В десять ноль четыре голосуем. Повторяю, все зависит от вас.

...Палыч открыл собрание ровно в десять и сказал, что сам будет председательствовать. Возражений не было. В десять ноль четыре собрание единодушно проголосовало за то, чтобы рабочий день перенести с понедельника на субботу в связи с производственной необходимостью. Когда в десять ноль пять шеф появился в дверях с обычным извинением за опоздание, Палыч сказал:

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, мы переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня — о дисциплине...

Шеф понял, что его провели, но спорить счел для себя невыгодным, сделал вид, что ничего не случилось.

Тридцать лет в штабах и политотделах полков, дивизий и корпусов сидели нерассуждающие тупые

манекены, готовые немедленно донести, настучать и оговорить. Тридцать лет незлобивый, упорный и наблюдательный человек тщательно скрывал свое мнение, молчал, когда хотелось говорить, и говорил только то, что было положено. И вдруг, сам того не предполагая, под старость лет приобрел собеседников, получил возможность рассуждать вслух и перестал бояться, что не получит очередного звания, а то и вылетит из армии. И впервые в жизни он стал ходить на работу не для прохождения службы, а для удовольствия. А когда редакция выезжала на экскурсии: в Суздаль, Соловки, Кизи, — Палыч и совсем преобразался: становился душой общества, балагурил, бегал в магазин за колбасой и «поллитрой» и помогал таскать саквояжи девицам. На самих Соловках, где с середины двадцатых годов и до самой войны на территории разрушенного монастыря находился СЛОН — Соловецкий Лагерь Особого Назначения, — Палыч стал серьезным и, показав еле заметные прямоугольные насыпи в молодом лесу, сказал: «Это следы от барачных, здесь они и жили, бараки уничтожили, да ведь всё не уничтожишь».

Редакция была пишушей, и у многих выходили книги. Один из первых экземпляров дарили Палычу с теплой надписью. Он очень этим гордился, внимательно прочитывал книгу и говорил:

— Прочитав. Ну, что же, есть спорные положения, без этого не бывает. Так или не так? Не во всем тебя поддерживаю, но в целом книга хорошая, нужная. Ты, смотри, не забудь включить гонорар в членские взносы, чтобы комар носу не подточив, а то знаешь, завистников сколько. Вот так...

Впрочем, его дружба с журналистами и кинокритиками не переходила установленные им самому себе границы. Подарки, которые обычно привозят из-за границы тем, кто оформляет поездки, не брал, за исключением жевательной резинки для внука. Никогда

не участвовал в редакционных попойках по случаю революционных праздников и денежных премий: в такие дни уходил из редакции загодя. И вообще не пил. Как ему удавалось сохранить себя в армии от черного беспробудного пьянства — уму непостижимо. Но удалось. Как удалось не стать антисемитом. Как удалось сохранить многие человеческие черты, которые редко встретишь у выслужившего срок отставника.

В отличие от нас, живших гонорарами, Палыч получал твердую сумму — военную пенсию и ползарплаты (получив полную, он терял бы пенсию), называемые им «окладом содержания». В обеденный перерыв при общих походах в соседнюю столовку «Полет», называемую посетителями в зависимости от степени интеллигентности отравилкой или тошнелкой, не позволял, чтобы за него платили: вынимал потертый кошелек со многими отделениями и тщательно отсчитывал сумму. Если у кассирши не хватало сдачи хоть копейки, терпеливо ждал. К деньгам и денежным расчетам относился очень серьезно, но не завидовал тем, у кого гонорары измерялись тысячами, а уважал их: считал, что зря деньги не платят. Было в этом что-то крестьянское, сохраненное с деревенского детства. Не забывал повторять: членские взносы платите точно, горят на мелочах. Когда в «Литературной газете» появился пасквиль на американского шахматиста Роберта Фишера, потребовавшего перед матчем на первенство мира в столице Исландии резко увеличить гонорар претендентов, Палыч возмущался:

— Это же ж спэктакль. И сцена есть. Тильки на ней играют не актеры, а шахматисты. А публика деньги платит. Кому же их отдавать? Одни будут робить, а другие карбованьци получать? А Фишер не хочет, это его деньги. Прав он или не прав? Прав. И уси шах-

матисты должны его поддержать. Товарищи в «Литературной газете» просто не поняли, в чем дело...

Тогда мы рассказали Палычу, как Госконцерт обирает гастролирующих за рубежом советских артистов и музыкантов. Он постучал пальцем по столу, посмотрел в окно и ответил, что еще Сталин любил поговорку: «Одним пироги и пышки, другим синяки да шишки». И сделал вывод:

— Дел много, руки до всего не доходят, разберутся и с этим.

— Кто?

— В ЦК. Заработанное надо отдавать, а не отбирать, это же ясно.

— А как же продразверстка, продналоги, раскулачивание, реквизиции, конфискации?

— Это нужно было для спасения революции, а в сталинское и хрущевское время сделали много ошибок. Сейчас их исправляют...

Но иногда Палыч оказывался проницательнее и умнее нас всех. Жил он в новостройке на окраине Москвы, откуда автобусы ходили редко. Палыч очень этим возмущался и как-то сказал:

— Ну, вот, дождались!

Оказалось, что пассажиры, прождав морозным утром на ветру автобус полтора часа (это был ранний час, когда торопились на заводы рабочие), там же на остановке сочинили жалобу в ЦК, которую подписала вся очередь — пятьсот человек. Через несколько дней автобусов стало столько, что они ходили пустыми, а все районное начальство: и КГБ, и райисполкома, и райкома партии — полетело с работы.

— Для чего это сделали? — не поняли мы. — Чтобы рабочие поверили в то, что партия о них заботится?

Палыч даже поморщился:

— Причем тут рабочие? Да и не в автобусах дело. Это ЧП, которое разбиралось в ЦК. Пятьсот подпи-

сей! Коллективный протест! Понятно или нет? Сегодня из-за автобуса, завтра из-за колбасы, сегодня письмо, завтра демонстрация — ведь уже организовались; а послезавтра...

Что может быть послезавтра, Палыч не пояснил, но добавил: — Вы же ж умные хлопцы...

Но еще чаще высказывания Палыча о внутренней и внешней политике, которые он делал ежедневно, поражали заскоружностью. В такие минуты мы терялись. Он уверял, что Луис Корвалан прогрессивный, а Пиночет реакционный, что режим Франко хуже сталинского. У Палыча вызывала восхищение осторожная неторопливость, с которой генеральный секретарь ЦК КПСС обходил своих соперников по партийной иерархии, и ловкость, с какой португальские коммунисты поначалу прибирали к рукам страну, только что освободившуюся от диктатуры.

— Вы увидите, они вот-вот возьмут власть.

— А хорошо ли это? — спрашивали мы.

— Станный вопрос — это же ж очень важно для нас всех: вопрос о революции — это вопрос о власти.

...Расстаться с идеей мировой революции ему было трудно. Как и с некоторыми другими иллюзиями. Одной из них был Центральный комитет партии. Отдельных его работников, в том числе и высокопоставленных, Дитенко оценивал вполне самостоятельно и иногда довольно критически. Но само сочетание этих трех слов вызывало в нем трепет и благоговение. Центральный комитет партии. Ее штаб. Ее коллективный и непогрешимый разум. Как для католиков папа. Палыч не придавал слишком большого значения личностям в истории, но Центральный комитет партии для него не персонифицировался. Это был Храм. Святая святых. И это сочеталось с тем, что отдельные решения ЦК он считал ошибочными, преждевременными или неполными.

К ним относились решения партии по еврейскому вопросу и об Израиле. Он переживал за то, что советское вооружение ржавеет в арабских арсеналах и что оно используется против маленького, защищающего себя народа. Когда началась Шестидневная война, Дитенко и не подумал скрывать свои симпатии и антипатии. Нас он о них не спрашивал — проявлял такт. Но победе Израиля радовался так, как будто она касается его лично, и возмущался недалёковидностью советской внешней политики: разве заранее не было понятно, что арабы войну проиграют? Кроме того, он возмущался тем, что советские евреи приписывают все лавры победы Моше Даяну:

— Побэдила армия, а не Даян. Ведь он же ж политик, и всё. Министр, и всё. Если уж о полководцах говорить, то это Рабин. Вот так...

И тут же перешел почему-то к убитым Сталиным советским военачальникам:

— Кто? Уборэвич? Якыр? Все вискочки. Полководцем був тильки одын — Тухачэвський. И всё. Так или не так?

Когда после войны палестинские террористы стали подкладывать бомбы на рынках и автобусных станциях, Палыч позвал к себе в комнату трех редакционных евреев и заявил, как продуманное и решенное:

— Голду Меир пора снимать з работы.

— Почему?

— Потому что она нэ обэспэчила разгром террористив.

— А что она должна была сделать?

Палыч выдержал паузу, посмотрел на нас как воспитатель на неразумных детей и объяснил:

— Значит, так. В плэн не брать. Это во-первых. Во-вторых: усих, кто в тюрьмах, расстрелять нэмэдленно, к утру. Собакам собачья смэрт. Так или не так?

— Но она не может это сделать.

— Почему?

— Потому что она не диктатор, и наказание определяет суд.

— Вы шо говорите? Не может! Глава правительства не может приказать расстрелять бандитов? Так на хрена ж вона нўжна?..

Палыч никак не ожидал, что мы не согласимся с его предложением. Он расстроился и сказал:

— Из-за таких слюнтяев, как вы, и погибают люди. Она их расстрелять не может, а они убивать людей могут. Пусть уходит на пэнсию, если не может. Не о чем мне из вами разговариваты...

Когда Палыч сердился, его украинский акцент становился сильнее.

Позже, когда началась эмиграция евреев, да и не только евреев, из СССР, Палыч сказал:

— Ну, что же, принципиальная политика партии и правительства вэрная: желающие могут уезжать. Но проводится она нэвэрно, и это идет во вред нашему государству. Зачем же одной рукой разрешать, а другой чинить препятствия? Если муж хочет уйти к другой, его же ж не удэржишь силой, а если удэржишь, кому от этого польза? Никому. Разве может быть хорошим гражданином СССР человек, который хочет уехать в капиталистическую страну? Пусть едет, и ему, и нам будет лучше. Да и сколько уедет? Ну, сто тысяч...

Заметив, что цифра показалась нам сильно заниженной, Палыч поправился: — Ну, миллион. Ну и что? Людей у нас мало, что ли?..

Однажды Палыч занимался своим любимым делом: писал протокол будущего партийного собрания. Он и от этого освобождал коллег: все протоколы писал сам и заранее. А перед собраниями только просил: «Скажи несколько фраз, чтобы считалось, что ты выступал, — мне нужно сегодня шесть выступлений, да и в райкоме пусть твою фамилию знают». В это

время в его комнату вошел один искусствовед, специалист по венгерской культуре, до того в редакции не бывавший, и выяснилось, что они с Дитенко знакомы по фронту. Потом, выйдя с нами в коридор, искусствовед спросил:

— Как вы с ним, ладите?

— Да вроде ничего.

— Будьте осторожны, я его много лет знаю — страшный долдон, из тех...

Возражать мы не стали. Палычу мы доверяли, были с ним достаточно откровенны, настолько, что рассказать без него новый антисоветский анекдот — а их на неделе появлялось два-три — считалось просто неинтересным.

Как-то Палыч заявил, что все писания Солженицына — это антисоветчина и что правильно сделали, выслав его: у нас ему не нравится, пусть поживет там.

— А вы, кроме «Одного дня Ивана Денисовича», что-нибудь читали?

— Нет, и не буду.

— Как же вы можете судить о его книгах, не прочитав их?..

Палыч пустился в спор, но как-то нехотя, скоро умолк и через несколько дней попросил принести «Архипелаг ГУЛаг»: — Напоминать не буду, принесете на ночь, утром верну, и всё.

Прочитав, не сказал ни слова. Мы знали эту его реакцию и ценили ее.

Однажды случилось необыкновенное. Мы не могли этому поверить и еще и еще раз заходили в комнату Палыча, чтобы убедиться в этом. Дитенко пришел на работу... в джинсах. В шестирублевых польских джинсах, которые, начиная у нас работать, он не решился бы надеть даже для загородной прогулки. Он оставался в синем пиджаке с орденскими планками, белой нейлоновой рубашке и узком черном галстуке, но надел джинсы. Такие же, какие были на нас. И хо-

тя через два дня их опять сменили старые брюки от синего костюма, мы почувствовали, что тот внутренний процесс, который шел в Палыче все эти годы, нашел свое внешнее выражение.

Ничто не вечно в этом мире. Менялся не только Палыч. Менялась обстановка. Нашему оазису приходил конец. У чиновника из отдела культуры ЦК остался без работы приятель — автор брошюр о пользе физзарядки и, следовательно, писатель. Чиновник усиленно искал ему место, а тут наш шеф подошел к пенсионному возрасту да еще его угораздило на какой-то дискуссии с участием иностранцев высказать о каком-то фильме мнение, противоположное официальному. Сделал он это исключительно из духа противоречия, оказавшегося на сей раз сильнее обычной осторожности, но этого было достаточно.

Чуткие к общественным переменам сотрудники редакции поняли, что пора разбежаться. Кто смог, сделал это сразу. Остальных по одному выперли потом. Палыч воспринял изменение ситуации как направленное против него лично: рушился мир, в котором ему было интересно жить и где он чувствовал свою необходимость для других. Несколько дней он присматривался, расспрашивал, из кабинета нового главного редактора — заурядного мелкого карьериста, пожалуй, только, чуть более глупого, чем требуется для успешного продвижения по службе, — выходил молча и на наши вопросы: «Что делать?» — отвечал: «Пока не знаю».

Дитенко понимал, что наша последняя наивная надежда связана с ним, и ему хотелось оправдать ее. Но бороться с лицом, только что назначенным на должность, — все равно, что бороться с самой должностью, и опытный Дитенко знал это. Лично ему не грозило ничего: со своей фамилией, внешностью, биографией и должностью секретаря парторганизации он мог не беспокоиться за свое будущее в редакции.

Но то, что происходило вокруг, он переживал тяжело: один за другим уходили те, с кем он прожил вторую молодость, лучшие годы своей жизни. Он хотел помочь нам и ощущал свое бессилие. И наконец решился на крайнее средство.

Дитенко сказал нам об этом спокойно и почти торжественно: «Я поеду в ЦК». Узнав номер телефона, он впервые в жизни позвонил в дом, где помещалось то неосязаемое, что олицетворяло для него ум, честь и совесть нашей эпохи. Прекрасно знающий партийную и советскую иерархию, Палыч решил пре небречь ее ступенями: миновал райком и горком со всеми их секторами и отделами, Госкино и Союз кинематографистов и пошел прямо туда, где решались судьбы не только кино — всей страны, всех двухсот семидесяти миллионов.

Наутро, когда мы молча расселись вокруг Палыча, он сказал только одну фразу: «Мы проиграли». На расспросы отвечать не стал, а когда на него надели, тихо произнес: «Он на мэне кричав. Вот так».

И все же его следующий шаг был для нас неожиданным. Побродив несколько дней по опустевшей и притихшей редакции, Палыч написал заявление об увольнении. Объяснил это болезнью внука, который нуждается в уходе.

Мы не хотели, чтобы Палыч приносил такую жертву. Кроме всего прочего, мы знали, что его дочь зарабатывает мало, и его зарплата была той добавкой к полковничьей пенсии, которую он тратил на внука. Но Дитенко был непреклонен и ссылками на внука лишал нас всех аргументов. Мы были для него чужими и плохо понятными людьми, постепенно стали коллегами, превратились в товарищей, а затем и единомышленников. По-другому он поступить не мог.

Прошло несколько лет. Я не встречал Палыча и ничего не знал о нем. Перед каждым Новым годом посылал ему поздравительную открытку и не всегда

получал ответную. Собравшись переехать в Израиль, сначала хотел сообщить об этом всем, кого хорошо знал, в том числе и Дитенко, а потом решил первым никому не звонить: кто захочет попрощаться, знает мой адрес и телефон. Из тех, кто работал со мной в редакции, одни позвонили тут же, другие ушли в кусты. Звонка Палыча я не ждал; все-таки он был достаточно непоследователен в своих взглядах и потому непредсказуем: тридцать предыдущих лет из жизни не вычеркнешь. Те, кто позвонили или пришли ко мне, сделали это, как только узнали новость, а разрешения на выезд я ждал несколько месяцев, и потом уже новых звонков не было. Коллеги из Госкино и Союза кинематографистов исчезли почти поголовно: одни и в самом деле считали меня изменником родины; другие так не думали, но опасались обвинений в том, что они поддерживают связь с изменником родины.

И вдруг за два дня до отъезда телефонный звонок, знакомый, давно не слышанный мною голос с украинским акцентом: «Здравствуй. Значит, так. Говорит Иван Павлович. Хочу сказать следующее. Почему ты мне нэ звонив (он сделал ударение на «ты»), я знаю — боявсь, шо не стану с тобой разговариваты. А почему я тебе не звонив, ты нэ знаешь. Я хотел выяснить, не подвел ли ты партийную организацию, товарищей, коллектив. Сегодня мне сказали, что перед подачей документов ты с работы уволился. Верно? Так это было? Ну, вот. Кто теперь придерется? Уезжает просто гражданин по своему личному желанию, к коллективу и парторганизации никакого отношения не имеет. Так или не так? Я же лично твой поступок не осуждаю и не поддерживаю — дело это твое. Рыба ищет, где глубже, а чоловік, сам знаешь, где лучше. Так или не так? Ну, будь здоров и успехов тебе. Вот так...»

И Палыч повесил трубку.

1979, 1981

СТИХИ

Иосиф Бейн

Из поэмы
«НЕЗРИМЫЙ КРЕСТ,
или НЕВИДИМОЕ РАСПЯТИЕ»

Памяти жены моей Нины Истоминой-Бейн

Дай сыну пряник на меду –
пей воду из колодца в жажду –
никто не жил не умер дважды –
и ты и я и он и каждый –
как Лев Толстой сказал однажды:
«Живи у смерти на виду».
Мы все у смерти в черном списке –
каков приход – таков и поп –
мы провожаем наших близких –
совсем не залезая в гроб –
холодный профиль пьедестала –
тоска оборванной струны –
на тех кого совсем не стало –
глядим как бы со стороны –
как будто бы над гробом слово –
и эти ямы вместо глаз –
все это только для другого –
и никогда не тронут нас –
последний, самый стылый ужин –
последняя, во мгле свеча –
ни крест – ни саван нам не нужен
с чужого горла и плеча –

и может поздно – может рано –
там где свобода и в тюрьме –
мы сносим смерть – умножив раны –
и держим жизнь в своем уме –
а может быть и не в своем
когда мы врозь – а не вдвоем...

Что мне причастие жиду?
и звезд всех крестных ход под вечер???
чей ясный свет и свят и вечен?
вот я на кладбище иду –
и подаю монашке свечи –
Мне сыновей утешить нечем
Вдруг вспомню все Замоскворечье,
и чьи-то ласковые плечи,
цыганский табор чет ли нечет –
и лебедей и лебеду,
и я руками разведу –
в своей агонии в бреду –
чужую и свою беду
иных уж нет – а те далече...
И в этом и в другом году –
от ностальгии неизлечен –
перед иконой упаду...

Душою зрячий или слеп –
ты не заглядывай во склеп –
и череп Йорика не трогай,
ешь по́литый слезами хлеб –
порой непризнан и нелеп –
перекрестись перед дорогой
Кругом одни противоречья –
у каждой палки два конца –

мне старика утешить нечем
болезнью согнутые плечи –
и нездоровый цвет лица –
и снова шкурками овечек
прикрылись волки у крыльца –
и каждый день и каждый вечер –
все те же пламенные речи –
и ради красного словца
ты не жалеешь и отца –
и лишь один Отец извечен –
и к Богу тянутся сердца –
и в этом сумраке зловещем –
где снова плесень книги ест –
есть две незыблемые вещи –
Твой голос свыше – чистый вещий –
и тяжкий мой незримый крест!
Порой распятие, как чудо –
не наказание за грех –
а Божья милость – выше всех –
с собой покончивший Иуда –
и белый, словно саван, снег
Попробуй рук не наложи –
когда душа темна от лжи.
Вдруг неожиданное чудо
придет на дремлющий порог –
всегда Всевышний с нами, всюду
всему свой час, всему свой срок –
И в праведнике спит Иуда
И в грешнике таится Бог!

* * *

*

Закутаюсь в меха,
спасусь от этой стужи.
Что так зима тиха?
Лишь не было бы хуже!

Свечи полночный круг
едва горит, немея.
Как сумрачно вокруг.
Не стало бы темнее!

Позвякивает жесьь,
в ведре с водою ковшик.
Пусть будет все, как есть,
лишь не было бы горше.

ТЕ ВРЕМЕНА

Два крыла опусти, два крыла,
Опустись на смешное крылечко,
Там, где стены в снегу, дым и печка,
Там, где башня над крышей бела.

О веселая ярмарка бед
И толчок всенародных несчастий.
Нарасхват там охотничьи страсти,
Лед и голод, толкучка и бред.

И оттуда так тяжек побег,
Зарешечены окна и двери,
Черный дым, серый камень и снег,
Белый, как лебединые перья.

* *
 *

Жить надо медленно, лениво,
едва соскальзывая в день.
Легко, мой Бог, неторопливо,
как к нам плывущая сирень.

Да и куда?

Иду босая,
зеленый берег, склон, скамья.
Дни, словно камешки, бросаю
в глухую воду бытия.

* *
 *

И так вечера у нас стали тихи,
И так мне напомнили лето, деревню,
Как будто вот-вот закричат петухи
И пух полетит с придорожных деревьев.

И вспыхнет вдруг золото скошенных трав,
Молочница звякнет у входа бидоном,
И белое облако в небе бездонном
Опять полетит, форму птицы приняв.

* *
 *

Не то чтобы тоска, а так, печаль печалей,
не то чтобы любовь – а нежность невпопад,
не то чтобы тепло – последними лучами
пронизывает солнце листопад.

Не то чтобы конец, а просто очень близко
уже глядит в окно – отбрасывает тень.
И падает звезда – от Бога ли записка,
иль просто знак, что ночь сменяет день.

ИЕРУСАЛИМ

Трубным звуком,
отсветом теней,
осколком скалы
меня окликает Иерусалим.
Он – словно камень, упавший в меня,
как в воду,
и круги моей жизни
расходятся и смыкаются
вокруг него.

ВОСПОМИНАНИЕ

(Отрывок)

... Там были у нас новогодние праздники,
и снег серебрился на шубах и льдах.
В авоськах болтались бутылки и пряники,
и странно, но с жизнью мы были в ладах.
Трамвай утыкался в замерзшие рельсы,
и с елкой январской кружилась сама
и главная площадь.

И грейся – не грейся
тебя пробирала до сердца зима.
И все было белым.

От этого что ли
покоем сквозило – и прятался страх.
И белое небо, и белое поле,
и белые птицы на белых столбах.

* *
*

Они приходят наяву
с кусками проволоки ржавой –
все те, кто пеплом стал во рву,
от этих осыпей слежалом.
И не дают застыть вовек
своей же бронзе памятников общих,
там, на зубах стриженной траве,
вдали от мест до боли отчих.
Он продолжается, их SOS,
и тут слова – щенки ослепшие...

Мой древний род,
обоженный оравами аравийских солнц,
дообжигали в освенцимах.

* *
*

Вот и жалость сжалась в жало,
оттого что слишком залежалась.

* *
*

Где-то рядом бредут впопыхах
и не ведают, что творят,
что-то видящие пока,
оттого что глаза горят.

Видно, был тут свет и потух
и, конечно же, неспроста
завернул в темноту,

да не ту,
будто есть где-то та
темнота.

* *
 *

Над храмом Покрова
гусей последний караван.

И русское истощное «Прости!»,
и руки, вознесенные извечно...
И снова тишина,
и холмик спин,
и ожидание чего-то вещего.
Басами тронут купол тишины,
и между ревом октавистов
кочан поскрипывает головы,
спеленутый молитвами,
как листьями.

* *
 *

Что написано пером,
чёрта с два исправишь топором.
Но зачем потом мешаться топору,
когда бы сразу тюкнуть по перу?

* *
 *

По своим делам летела пуля.
Спасибо, что не встретился я с ней.
Бог смилостивился: «Старей!»

* *
*

Слава ищущим и нашедшим,
будь то Пигмалион,
творящий галатей,
или же придумавший себе ж на шею
гильотину Гильотен.

* *
*

Лист исписанный качнулся.
Миг еще – и запоет.
Когда-то считалось страшным кощунством
под твореньем своим ставить имя свос.

* *
*

Человек понятен
и без анатомий –
смерть поднимается вверх
по течению крови.

* *
*

Просыпаюсь как-то поутру,
что-то мне не по нутру –
идет война народная,
священная и водородная.

Россия и действительность

Раиса Б е р г

ВАРВАРЫ НА ОБЛОМКАХ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Коммунальной квартире, заселенной гегемоном революции, и ее преобразованиям посвящены мои строки.

Коммунальная квартира, явление, стихийно возникшее в 1917 году в результате Октябрьского переворота в России, – социологический эксперимент, идеально поставленный самой историей.

Дважды мне представлялся случай участвовать в сосуществовании людей, случайно совмещенных на узком пространстве, людей, вынужденных не только общаться друг с другом, но установить определенный порядок, выработать структуру, т. е. образовать не просто скопление, а общество, каким бы маленьким оно ни было.

Первая коммунальная квартира – общежитие для аспирантов и докторантов Академии Наук СССР в Москве. Общежитие занимало четырехэтажный дом на Малой Бронной. Коридор каждого этажа делился на секции – три комнаты, кухня, ванная и туалет. В каждой комнате по аспиранту или по докторанту, с семьей или без таковой. Не эти секции, а, в сущности, весь четырехэтажный дом представлял собой коммунальную квартиру. Шесть лет я прожила на Малой Бронной, пока в 1945 году меня не вышибли. Помыкавшись полтора года, я переехала в Ленинград и поселилась в коммунальной квартире, заселенной гегемоном революции. Это обиталище обогащало запас моих социологических познаний, приобретенных там, где жили будущие дей-

ствительные члены Академии Наук, на протяжении двадцати семи лет с небольшим перерывом. Оно не просто пребывало, оно эволюционировало у меня на глазах. Шли годы, простонародная квартира менялась вместе со всем народом Страны Советов. В финале ее нравы и нравы питомника интеллектуалов стали неотличимы.

Перерыв в моих наблюдениях – пять лет. Я провела их в Академгородке, в городе, имя которому Советский район города Новосибирска. На гребне волны демократического движения, в 1968 году, Комитет госбезопасности вышиб меня из Городка, и я чуть было не лишилась прописки, драгоценной ленинградской прописки, чуть-чуть было не обрела крышу над головой в помещении, именуемом острогом, за нарушение административного режима Страны Советов, запрещающего жить без прописки.

Непредусмотрительность органов, громоздкость системы органов, шумы в каналах передачи информации от одних карающих инстанций к другим спасли меня. Я не лишилась счастливой возможности изучать конвергентную эволюцию двух коммунальных квартир. Занятия прервала эмиграция, но по истечении двадцати семи лет статистическая совокупность наблюдений предельно насытилась.

Дом-полудворец. Через улицу флигели великокняжеского дворца и великолепное здание голландского посольства. Цоколем дом выходил на набережную Мойки, там, где кончалась ее решетка – чудо искусства. Набережную и дворец обрамляли ясени.

Переживший гражданскую войну и разруху, бомбежки и обстрелы и снова разруху, разруху, разруху блокады, весь в оспенных шрамах, дом, когда мы въехали, хранил следы былой роскоши. Статуя Гермеса и хрустальный колпачок на лампе в вестибюле, бронзовые накладки на щелях почтовых ящиков, цветные витражи в огромных окнах парадной лестницы. Я перечисляю

только то, чему суждено было вскорости исчезнуть.

Первое, что делает варвар, видя греческую статую юноши, – отбивает половой орган. Наш Гермес обеспечен иначе: к его половому органу приклеивают окурки, об него тушат папиросы. Второе, что делает варвар, войдя во дворец, – он пишет на стене сакраментальное слово из трех букв и свое имя.

Коммунальная квартира, где мне, моему мужу и новорожденной Лизе предстояло жить, являла собой на тридцатом году Великой Октябрьской Революции бредовое зрелище. На обломках цивилизации жили не варвары – пещерные предлюди. Нет, если бы пещерные еще не люди были в той мере лишены социального инстинкта, в какой его лишены обитатели квартиры номер шесть в доме один по проспекту Маклина, человек не возник бы никогда. Управхоз, сообщивший нам о существовании свободной комнаты в квартире, предупредил нас, что попасть в квартиру невозможно. Звонка нет, а на стук никто не открывает. Жильцы имеют ключи. Может, к ним кто и ходит, но тогда они приводят посетителей сами. Он был плохо осведомлен о простоте нравов первобытной пещеры. Был, кроме парадной лестницы, черный ход, по которому носили вязанки дров. Он вел на кухню. Ход этот никогда не запирался, ключей даже не было. Воров не боялись. На кухне ничего нет, не то что кастрюль, нет даже спичек. Алюминиевая поварешка с отломанной ручкой, полная обгоревших спичек, – высший знак зарождающейся социальности – появилась, когда барскую плиту сменили газовые плиты. Обгорелая спичка служила целям экономии: можно взять огонька от уже горящей горелки, и недожженные пеньки спичек... обобществлены! – и это без всякого уговора: сказала широкая русская натура. Кухня ничем не могла соблазнить вора, в комнаты он проникнуть не мог, все они заперты на ключ или на крюк изнутри. Запирались не от воров – друг от друга. В коридоре

и на кухне, в уборной и в ванной нет света. Колпаки венецианского стекла с краями, изогнутыми, как лепестки роз, цвета и фактуры мышьиной шкурки под слоем тридцатилетней пыли, еще свисали на шнурах. Ни одной лампочки. В комнатах у всех лампочки. Счетчик один. Общий счет за электричество оплачивали все пропорционально числу жильцов в каждой комнате. Договориться об оплате за освещение мест общего пользования они не могли. Они выходили на кухню со свечами или керосиновыми лампами. Плиту они не топили, а готовили на примусах и керосинках. Всю кухонную утварь, так же, как и керосин, надлежало хранить в комнате. Оставленное на кухне без присмотра немедленно исчезало. Стоило мне вымыть венецианское стекло коридорных абажуров, и они тут же исчезли.

Кухня – зеркало души коммунальной квартиры. Представить что-либо, более красноречиво вопиющее о человеческой природе, чем кухня квартиры номер шесть, невозможно. У астрономов очень ценится абсолютно черное тело: оно им для сравнения нужно. Славится своей чернотой лионский черный бархат. Вот такого цвета потолок кухни, роскошной барской кухни с огромным окном, выходящим на сплошную воду, на слияние трех рек – Невы, Пряжки и Мойки, с полом, выложенным красными и белыми плитками такой прочности, что дрова на них кололи и только в одном месте чуть покоряжали. Лионский бархат потолка – почти четыре метра высоты – создавался наслоениями копоти в течение тридцати лет. Источники копоти менялись: две эпохи буржук перемежались с двумя эпохами примусов и керосинок. Длинные, толстые от налипшей на них копоти паутины свисали с потолка. Оконное стекло покрывал слой пыли.

Есть в коммунальных квартирах и еще одна, помимо общего счета за электричество, точка неизбежного соприкосновения между жильцами – уборка мест общего пользования. Профессор, моющий в свой черед

унитаз вслед за дворником, – зрелище для дворника весьма приятное. Было ясно, что жильцы квартиры номер шесть в доме номер один по проспекту Маклина, по бывшему Английскому проспекту – отец неизменно называл его так и ударение ставил на первую букву, – этим богатейшим источником взаимных унижений не только не пренебрегали, но и пользовались им с изощренной изобретательностью.

И кухня повествовала об издевательском характере возложенных на дежурного обязанностей – все медные части вычищены до блеска: ручки, краны – это бы ничего. В плиту вделан бак. Плитой не пользуются. Но медная крышка бака сияет. О могучий язык вещей! Контраст между слоем пыли на оконном стекле, между паутиной, свисающей с аспидно-черного потолка, и жарким сиянием никому не нужной крышки говорил: здесь есть законодатель, строго соблюдаемая иерархия, здесь властвует крысиный король, а все прочие равны перед его лицом.

Кто населял эту квартиру? Весь четырехэтажный дом был покинут его жильцами в 1917 году. Как он заселялся – я не знаю.

Муж Марии Николаевны, няни моих детей, – рабочий-лекальщик Путиловского завода, жил с женой и пятью детьми в центре города в отдельной квартире. О это магическое словосочетание – отдельная квартира, моя мечта! Осуществись она, и я жила бы сейчас в Ленинграде, а не в Мэдисоне штата Висконсин.

Рабочих в барские квартиры не вселяли. Подсобные рабочие окрестных заводов, вчерашние крестьяне, хлынувшие во время коллективизации из деревни в город, санитарки психиатрической больницы Николая Чудотворца, как она звалась до революции (красную краску вывески смывал дождь, и Николай Чудотворец снова и снова выступал серым по белому, пока вывеску не сняли), бывшая дворцовая челядь, дворники и дворничихи вселились в квартиры сбежавшей знати. В

каждой огромной комнате по семье. Мужчин почти нет. Вдовы, дети, одинокие женщины, покинутые мужьями или никогда не бывшие замужем, с детьми, без детей.

Комната, доставшаяся нам, – единственная маленькая в семикомнатной генеральской квартире. Узенькое это помещение между кухней и парадной лестницей когда-то служило обиталищем кухарки. Взять его надлежало, так как на лучшее мы рассчитывать не могли. Мы не думали переезжать. Брали, чтобы обменять на комнату побольше. Черный рынок жилой площади существует и поныне и имеет свои законы, строжайше лимитируемые государством. Он не запрещен, государство извлекает из его существования выгоды.

Когда я вошла в узенькую комнату и передо мной в ее громадном окне открылся с третьего этажа вид на воду, тот самый, что из окна кухни, я поняла, что буду жить в этой крошечной комнате. А варваров на обломках цивилизации я не боялась. Я знала, что они заведомо лучше интеллигентных обитателей аспирантского общежития Академии наук в Москве на Малой Бронной, где я прожила почти пять лет.

Мы переехали.

Я не люблю цветное кино. Цвет отнимает у картины частицу абстрактности и снижает ранг искусства. Поздняя осень прокручивала черно-белый фильм за окном моей комнаты. К дровяному складу на берегу Мойки подгоняли сплавной лес. Всё уменьшающиеся трапеции плотов уходили вдаль. Их покрывал снег. Черная вода. Серое небо. Серые, запорошенные снегом ивы, серая стена – ограда сумасшедшего дома, черная громада Судомеханического завода. Весна не расцветивала пейзаж, она подцветивала его: чуть-чуть голубизны воде и небу, чуть-чуть желто-зеленой краски, нанесенной сухой кистью на холст, ивам. Графику Добужинского сменяла нежная роспись датского фарфора.

Всего пять семей населяло помимо нас квартиру. Пять немолодых женщин. Шестеро детей. Один мужчи-

на. Чудом этот мужчина пережил войну, блокаду, смертельный голод. Мы только-только переехали, я и не видела его ни разу, как стало известно, что он погиб. Напился, пошел купаться и утонул. Его жена с двумя дочками переселилась в узенькую комнатку, а мы заняли две роскошные комнаты с балконом. Тогда-то и открылся другой дивный вид из окон угловой комнаты на голландское посольство и на флигель дворца великого князя и стала видна через незанавешенные окна кабинета моего отца его седая голова.

Анна Ивановна, приходившая стирать пленки моей младшей дочери Маши, глядя на эту голову, вечно склоненную над письменным столом в свете зеленой лампы, воскликнула: «Я для такого человека не то что выстирала бы, я бы накрахмалила!» Счастливые периоды жизни летят быстро, но в воспоминании кажутся долгими. Для счастья нужно только одно – скамеечка, чтобы сидеть у ног Бога. В 1948 году мы обрели эти роскошные комнаты, в 1950 году отец умер. На доме появилась мемориальная доска.

Я обожала своих соседей. Сравнение с интеллигентными и неинтеллигентными обитателями аспирантского общежития на Малой Бронной украшало моих новых соседей безмерно. Они и не подозревали, как они прекрасны.

Пять женщин – три страты. Низшую составляли подсобные рабочие, сторожа, кладовщицы, приемщицы белья в прачечных. Они сменяли эти должности, не поднимаясь выше. Их три. Три каменные бабы, все три – пьяницы и воровки. Они ходили в платках. Вторая страта имела единственного представителя – крысиного короля, по чьей инициативе сияла крышка кухонного бака. Доминантная эта личность – Вера Алексеевна – принадлежала к рабочей бюрократии, чем-то заведовала в заводской столовой, член завкома, эксплуататор новой формации, имя которой легион. Ни по образованию, ни по внешности она от каменных баб не отлича-

лась, но носила шляпку. И третья страта имела одного представителя. Несчастливая Анастасия Сергеевна, кассирша вокзала, ходила в интеллигентках. Она не была каменной бабой и носила шляпку.

Все ненавидели всех. И боялись. У всех рыльце в пушку. Анастасия Сергеевна шьет и уклоняется от налога. Каменные бабы тащат с заводов наворованное, пустяки: электролампочки, веревки, мешковину; у крысиного короля прописана в комнате мифическая личность, никогда не существовавшее подобие поручика Кижэ, я даже фамилию этого призрака знаю – Иванов. Узнала случайно, когда принесли повестки, приглашающие на выборы. Иванов необходим королю, чтобы не платить за излишки жилплощади. Перед выборами Вера Алексеевна брала для призрака открепительный талон. Будто Иванов в отъезде – голосовать будет в другом районе. Призрак избирателя на призрачных выборах – под строжайшим общественным контролем мы участвовали в инсценировке.

Друг с другом обитатели квартиры не здороваются. За глаза называют друг друга Верка. Тоська, Ленка. Звучало это примерно так: «С Тоськой-то не здороваемся. Из-за копейки поругались», – обращается ко мне за сочувствием Елена Кирилловна, с которой мы поменялись комнатами. «Фигурально выражаясь, из-за копейки?» – спрашиваю я. «Да ничего не фигурально, а из-за копейки. Распределяла, кому сколько за электричество платить, я. Ей копейку надбавила. Звонок у нее электрический, а у меня вертушка». Читатель уже понял, что в квартире появились звонки. Кнопка на парадной двери. У каждой – фамилия владельца звонка.

Вертушку установила я. Величайшее уважение к частной собственности выявлялось в том, что вертушкой не пользовались. Слышу страшный грохот. Кто-то стучит каблуками в парадную дверь. Открываю – крысиный король: забыла ключи. «Почему не звоните?» – «Звонок-то ваш». – «Нет, он общий». Вы скажете: а как

же воровство? Есть много свидетельств уважения к частной собственности. Воровство – одно из них. Неуважение имеет одно обличье – экспроприацию.

Я цивилизовала квартиру. Внешний вид ее изменился. Нравы остались прежними, даже хуже стало. Ванной до моего появления никто не пользовался. Ходили в баню. Я заменила разбитую раковину. Теперь ванной и раковиной пользовались если не все, то многие. Мыть ее в обязанности дежурного по уборке не входило. Раковина моя – я ее и должна мыть. Моего разрешения пользоваться ею уже не спрашивали. Я не имела права установить ее без их согласия. Все это, как и многое другое, подразумевалось без слов. Захарканная раковина и каблук, бьющий в парадную дверь, – язык, на котором мы говорили. Сталин безусловно ошибался, когда, выступив на свободной дискуссии по вопросам языкознания, утверждал, что без слова нет мысли. Ошибался и академик Марр – в полемику с ним вступил величайший лингвист мира Сталин. Марра уже не было в живых, а бредовые идеи Марра были канонизированы. Марр считал, что языку звуков предшествовал язык жестов. Обитатели квартиры номер шесть изъяснялись на языке вещей. Мысль для своего выражения не нуждается ни в слове, ни в жесте.

Изредка случалось услышать и разговор на кухне. «Я ору, а они бегут: поняли, чем пахнет», – раздается с кухни громкий голос Веры Алексеевны, без малейшей модуляции, на одной ноте. Она описывает свое пребывание в Карловых Варах, в Чехословакии, куда послал ее завком на лечение. Анастасия Сергеевна, услышав по радио, как шельмуют Пастернака – она раньше и имени такого не слыхала и случая не имела услышать (в тот день передавали его униженную просьбу не высылать его за пределы Родины), – выражала свою радость: заставили хвост поджать, пусть теперь поползает... Елена Кирилловна возмущалась абстракционистами.

По радио она слышала речь Хрущева – абстракционисты рисуют деревья вверх корнями.

Я молчала в тряпку. Всегда, всегда. А в тот единственный раз не только заговорила, но еще и слукавила: «Вы счастливы, видели абстрактное искусство, а я и в глаза не видала». – «А лисы?! – загремела Елена Кирилловна. – У вас в комнате видала». Вот все, чем исчерпывалось ее знакомство с абстрактным искусством. Одну фарфоровую лису кто-то подарил – лиса как лиса: уstraшенная соцреализмом стилизация, не выходящая за рамки дозволенного. Но другая пластмассовая лиса, составленная из стереометрических фигур, – прелесть. Ее творца шельмовали в местной вечерней газете, и великолепное произведение искусства: хвост – полуэллипсоид вращения, чудо, – воспроизведено. Все должны видеть глубину падения скульптора. Думаю, автор погромной статьи, воспроизведя лису, лукавил наподобие меня. Елене Кирилловне обе лисы казались деревьями, нарисованными вверх корнями.

Вы думаете, Елена Кирилловна – кладовщица Судомеханического завода – вкушала блага построенного социализма и была верной опорой правительства? Когда она в обеденный перерыв приходила с завода и разогревала обед, плакать хотелось, глядя на ее пищу. На заводе «за проходной» закрытый магазин, где хорошие продукты продавали рабочим завода. Ее зарплаты не хватало, чтобы покупать их. Кур она иногда покупала для меня. Она мыла баки из-под краски. Перчатки не защищали, или не было и перчаток: ее руки покрыты язвами. Она даже анекдоты рассказывала. Есть два типа анекдотов в России: одни, создаваемые членами Союза писателей, анонимно, конечно, другие – народом. Из Союза писателей происходили анекдоты-вопросы: «Что такое свобода слова? – Осознанная необходимость молчать». Или: «Что такое свобода? – Осознанная необходимость». Расстановка ударений в словах «свобода» и «необходимость» делала понятным смысл анекдота: –

издевательство над вторжением в Чехословакию. Елена Кирилловна рассказывала, что родились у женщины близнецы. Мальчик Никита жиреет. Девочка Родина хиреет. Время Никиты Хрущева – время анекдота.

Она недовольна правительством, но ее недовольство усилилось бы во сто крат, не будь космических полетов и шельмования интеллигенции. Радио заменило костры инквизиции. В шестидесятые годы в квартире шесть появились телевизоры.

Вы недоумеваете – почему же я любила эту чернь, чернь в буквальном смысле слова. По контрасту с интеллигентами общежития на Малой Бронной. Там подстраивали друг другу ядовитые штучки, умели передать сплетню с дьявольским расчетом. И делалось это, хотя и из зависти, но вместе с тем бескорыстно. Материальной выгоды из этих штучек интеллектуалы не извлекали.

Надо, кажется, рассказать одну из акций. Прямо напротив моей двери обитала семья – муж, жена, двое детей. Муж русский, жена еврейка. Во время войны они были эвакуированы. Война еще шла, когда общежитие стало снова заполняться. Сперва вернулся муж, а потом уже приехали жена и дети. Из газет молодая еврейка узнала, что в Киеве немцы убили ее родителей. Бабий Яр. Она голосила. В это самое время женщина-врач, жена инвалида отечественной войны одноногого аспиранта-еврея Гилечки Фридмана, сообщила полусумасшедшей от горя женщине, что ее муж изменял ей в ее отсутствие – женщин водил. Врала, вернее всего. Я раньше всех вернулась. Мне не случилось видеть соседа в обществе женщины. Дочь погибших сошла с ума. Она пела и плясала в коридоре, заставляла детей петь и плясать.

Ни о чем подобном среди варваров на Английском проспекте нельзя было и помыслить. Дальше презрительного игнорирования и мелкого воровства дело не шло. Сравнишь – полюбишь.

Нравы испортились, когда крысиный король поднялся по социальной лестнице на недостижимую высоту и взял на себя функции моего идеолога, поминутно грозя доносами, когда состарились каменные бабы, а несчастная Анастасия Сергеевна заболела открытой формой туберкулеза.

Слежка прикрыта в Советском Союзе фиговым листком. Арестовать человека и выдвинуть против него обвинения на основе сведений, полученных при перлюстрации, нельзя. Узнав о наличии крамолы из частных писем, КГБ устраивает обыск. Письма, найденные при обыске, уже могут служить уликой. О великая страна победившего социализма! Самая свободная страна во всем мире! О великие реформы великого защитника гражданских прав человека – Хрущева! При Сталине таких церемоний не соблюдали.

Я только раз застала Веру Алексеевну за подслушиванием под моей дверью. Я вошла в коридор с лестницы. Она в пальто, в шляпке и ботиках стояла под моей дверью и слушала. Нас никого не было дома. Радио орало. Передавали пьесу. Скандальная семейная сцена в самом разгаре. Увидев меня, Вера Алексеевна поспешила скрыться в уборную. Она не подозревала, что у меня есть радио. Оно вечно молчало, чтоб не мешать мне жить. Деточки оставили включенное радио в мое отсутствие.

В старые добрые времена, в эпоху, когда квартира наша еще пребывала в состоянии первобытной дикости, мне удалось получить телефон. Никто не желал иметь его, и его установили в моей комнате, и я одна за него платила. В мое отсутствие, пока я жила в Новосибирске, телефон перенесли в переднюю. Теперь он служил источником информации для Веры Алексеевны. Телефонный разговор – вроде письма, конфискованного при обыске. Всякий телефонный разговор – самиздат. Я попалась. Я летела под Новый год из Ленинграда в Новосибирск, откуда к тому времени меня уже изгнали.

В ресторане аэропорта я купила торт. Надпись на коробке поздравляла с годовщиной Великого Октября. Когда поднимались по трапу, за мной шел военный. «Дело к Новому году, а ваш торт все еще годовщину Октября празднует», – сказал военный. «Разве вы не знаете, почему Карапет перестал бриться? – спросила я его. – Я вижу, вы не знаете. Карапет боится, что, включив электробритву, он услышит о столетии со дня рождения Ленина». И этот эпизод я рассказала по телефону. Будь она на ставке – мне говорили, что девяносто рублей в месяц платят за соглядатайство, – она бы молчала, где надо молчать, а говорила бы там, где ей говорить надлежало. Она не обращалась ко мне прямо с угрозами доноса. Проходя мимо меня на кухне или в передней, она говорила: «Радио им мешает. Про Ленина слушать не хотят». Двадцать лет прошло, как мы поменялись комнатами с Еленой Кирилловной, а Вера Алексеевна все грозила донести о незаконности нашей сделки. Сделка была законной, а приплата, которую получила Елена Кирилловна, – не столько мое преступление, сколько ее. Я не торопилась рассеять заблуждения крысиного короля. При Сталине ложный донос грозил смертью. При Хрущеве и Брежневе пустяки, которыми располагала Вера Алексеевна, только добавили бы к досью, а поводом для возбуждения дела служить не могли. Мое диссидентство было для нее тайной.

Когда Анастасия Сергеевна заболела открытой формой туберкулеза, ей запретили пользоваться ванной. Пусть умывается на кухне. Они боятся заразы. Не то что пещерные люди, животные поступили бы иначе. Я хотела предложить отдать ванну в единоличное пользование Анастасии Сергеевны, а всем остальным пользоваться кухонной раковиной. Анастасия Сергеевна разумно отсоветовала – пусть будет по-ихнему. Она не рассчитывала на успех моего предложения. Ничего, кроме неприятности, и ей, и мне не будет. Елена Кирилловна сошла с ума. Обе они умерли от рака.

Квартира стала заселяться интеллигенцией новой формации. Тогда жить стало невозможно. Мария Ивановна Сорокина – юрист с высшим образованием, ее цыганоподобный муж Лев Макарович Сорокин, пожарник, куда лучше меня знали, как наладить сосуществование с соседями по коммунальной квартире. Подходили они к вопросу с другого конца.

Меня спрашивают здесь, в Америке, почему я уехала из России. «Потому что я жила в коммунальной квартире», – отвечаю я. Это шутка, которая, как всякая шутка, на четверть всерьез.

Мария Ивановна сочетала в себе все пороки худших элементов Малой Бронной с худшими элементами черни. Она разыгрывала дьявольские штучки из любви к искусству, а Лев Макарович был прост до беспредельности. «Профессор, подотри пол», – говорил он мне. Я отшучивалась. Это светлая заря наших отношений. В их апогее он входил в переднюю с лестницы или выходил из своей комнаты, из огромной комнаты, где раньше жила Анастасия Сергеевна и где он жил с Марией Ивановной, с сыном-студентом и дочерью-школьницей, – и, увидев меня, разговаривающей в передней по телефону, нажимал рычаг телефона: «Вот так тебе, еврейская морда». Я в первый раз, когда он сделал это, сказала ему, что нехорошо травить интеллигентного человека, не сделавшего ему ни малейшего зла, что Конституция и закон запрещают такого рода действия, пусть спросит у своей жены, и что у него дети – комсомольцы, постыдился бы их. Сын его, калека -- правая рука ампутирована у плеча, – прошел мимо нас в пальто к выходной двери, видимо, завершая протест против поведения своего отца. Сужу по тому, что родители бежали за ним без пальто, стараясь удержать. Конца этой сцены я не видела. Во второй раз, когда цыганоподобный пожарник снова отключил телефон в то время, как я говорила, со словами: «Я из тебя котлету сделаю, еврейская морда», – я сказала ему: «Я слышу это в последний раз. Сле-

дующий раз я бью без предупреждения по морде». – «Но я из тебя мокрое место сделаю!» – воскликнул он. «Да, – сказала я, – вы сделаете из меня мокрое место, потому что вы мужчина, а я старая женщина, но при этом вы получите по морде». Безобразия с его стороны прекратились, а Мария Ивановна продолжала разыгрывать свои дьявольские водевили до самого моего отъезда.

Они знали, что я знаю, что Лев Макарович приставлен ко мне шпионом. Лиза застучала его с поличным. Оказалось, что он провел звонок от моей дверной кнопки к себе в комнату. Я не знала об этом, когда в 1972 году говорила по телефону Андрею Дмитриевичу Сахарову: «Только не ошибитесь звонком, когда будете звонить в мою дверь». Не знала я в тот момент не только, что звонок ко мне раздается в комнату пожарника, но и с кем я разговариваю по телефону. Меня предупредили, что один человек нуждается в моей помощи и будет звонить. Фамилия не названа. Я поняла, что моему будущему знакомому лучше не ошибаться, звоня в дверь коммунальной квартиры. Я так и не узнала, кто же должен прийти, пока не раздался звонок поздно вечером, когда никого не было ни в передней, ни на кухне, и я открыла дверь, и Андрей Дмитриевич Сахаров и Елена Георгиевна Боннэр прошли в комнаты и тогда только представились.

Светлая заря наших отношений с Марией Ивановной знаменовалась криками под дверью ванной, где я мылась: «Довольно размывать свою гинекологию!» Очень интеллигентная женщина Мария Ивановна – юрист с высшим образованием!

У меня тогда гостила Люся Колосова, моя бывшая аспирантка. Люся приехала из Новосибирска. В Европу она приехала впервые в жизни. Она не могла налюбоваться на красоты Ленинграда. «Какая красивая решетка», – сказала она, когда мы ехали в такси по набережной Невы мимо решетки Летнего сада. Золотые шпили и купола – золоченые крыши, как сказала она, – понра-

вились ей больше всего. Она слышала крики Марии Ивановны. «Уезжайте, уезжайте немедленно, куда угодно, только уезжайте», – говорила Люся, плача.

Гинекология – цветочки на пышном лугу штучек Марии Ивановны, ягодки ждали меня впереди. Все мои попытки переменить комнаты не увенчались успехом. Те, кто приходили смотреть их с целью поменяться, отлично понимали язык вещей. Комфорт, благоустроенность квартиры свидетельствовали о том, что я бегу от соседей.

УПЛОТНЕННЫЕ

Я описала самую обыкновенную, отнюдь не самую худшую, коммунальную квартиру. Ни убийств, ни рукопашных боев. Матерщина зазвучала только с появлением пожарника и когда Елена Константиновна сошла с ума. Лев Макарович материл меня по всем правилам искусства, а Елена Кирилловна на «вы», что явно указывало на психическое расстройство. Но неужели не было хороших коммунальных квартир? Были, и даже две.

Александра Алексеевна Прокофьева-Бельговская вошла в комнату, когда Лиза вниз головой висела на кольцах. Александра Алексеевна бросилась спасать ребенка от неминуемого падения, но я успокоила ее: мои дети подобны обезьянам, и висеть вниз головой для них вполне естественно. И тут возник разговор о коммунальных квартирах. Оставить на кухне яйцо, или луковицу, или сковородку с зажаренными котлетами нельзя, а так тихо, спокойно, никаких скандалов – это было в старые, блаженные времена. «А у нас холодильники стоят на кухне, – сказала Александра Алексеевна. – Каждый может выбрать себе из любого холодильника то, что ему по вкусу, и съесть, не спрашивая разрешения владельца. Приходит последний – все съедено, есть решительно нечего. Он стучит во все двери – ему выно-

сят еду». – «Александра Алексеевна очень светская женщина, – подумала я, – а не только генетик с мировым именем».

Но вскоре я убедилась на собственном опыте, что рассказанное не сказка. У Бельговских званый ужин. Гостей двое: Борис Львович Астауров и я. Я мыла руки в ванной, когда у меня из носа пошла кровь. Меня увидела соседка. «Сейчас стул и газету принесу, сядете, голову закинете, мокрую газету ко лбу и к носу прижмете, мигом пройдет». Сказано – сделано. Прошло. Иду на кухню. Там другая соседка. «Скажите, где помойное ведро Бельговских? Газету выбросить надо». – «А у нас бак для отбросов общий, каждый следит, чтобы мусор не накапливался». А выносить бак надлежало во двор, где мусорный ящик. Квартира на пятом этаже, лифта нет, лестница крутая.

А еще такой случай. Я в Москве, задержалась, деньги потратила, звоню Александре Алексеевне – дайте в долг 200 рублей. Дело до реформы было. «Раз вам некогда завтра к нам на службу прийти, идите к нам домой, дома всегда кто-нибудь есть. Дверь откроют – звоните во все звонки. Дверь в наши комнаты не закрыта. Войдете – прямо против двери письменный стол, на нем найдете 200 рублей». Дверь мне открыла соседка. «Вы ведь из Ленинграда? – спрашивает. – Зайдите ко мне позавтракать». – «Благодарю, кормить меня нельзя, у меня живот не в порядке». – «Тогда зайдите, я вас полечу». Чудеса? И никакие не чудеса. В 1934 году, когда Академию наук перевели из Ленинграда в Москву, Вавилов выхлопотал для сотрудников Института генетики вот эту самую квартиру на Пятницкой. Прошло больше двадцати лет, и они все еще жили вместе, и всё, что рассказывала Александра Алексеевна, истинная правда. А соседка-врач, предлагавшая мне полечить меня, – это Раиса Павловна Мартынова. Я встретила с ней в 1963 году в Новосибирске, где она заведовала лабораторией канцерогенеза. Ее доброте

нет границ. Раиса Павловна – личность в буквальном смысле легендарная. Участница гражданской войны, она молоденькой девушкой была политруком в войсках Буденного. Член партии, она не подчинилась партийному долгу и не пошла за Лысенко. Когда партийный долг разошелся с истиной, она осталась на стороне истины. Не совсем обычный персонаж коммунальной квартиры, согласитесь. В Новосибирске она решительно взяла меня под свое покровительство и выручала из множества бед. Когда меня по указке КГБ вышибали из Новосибирска, Раисы Павловны не было. Директор института, недоброй памяти Дмитрий Константинович Беляев, с ней считался.

Жильцы коммунальной квартиры на Пятницкой подобрались не случайно. Дух покойного Вавилова витал над ними. Предатели давно жили в отдельных квартирах.

Жильцы второй легендарной коммунальной квартиры оказались соседями случайно. Обитателей барских апартаментов в доме на десятой линии Васильевского острова в Ленинграде уплотнили. Уплотнители, в отличие от жильцов нашей квартиры, – не экспроприаторы и не члены семей тех, кто грабил, согласно призыву Ленина, награбленное.

Имя родоначальника уплотненных я видела своими глазами на мраморной доске, вделанной в стену Рима. Он командовал одним из подразделений войск Гарибальди. Соратник Гарибальди женился на англичанке и поселился с ней в Петербурге. Его дочь Елизавета Иосифовна вышла замуж за шведа, члена масонской ложи. Ему приходилось по делам службы бывать в Риме, и, когда дочь его Маргариту в школе спросили, кто ее папа, она ответила: «Папа римский». Я познакомилась с уплотненными, когда и Елизавета Иосифовна, и Маргарита Владимировна – дочь «папы римского» – овдовели и растили свою прелестнейшую из прелестных внучку и дочку Марину. Они занимали две парадные комнаты

квартиры. Елизавета Иосифовна давала дома уроки английского языка. Маргарита Владимировна преподавала русский язык в школе, а Мариночка училась в школе. Все три – вылитые итальянки, красавицы. Ни английские, ни шведские, ни русские гены не пробивались сквозь смоль их волос и глаз. Черты Маргариты Владимировны чуть тяжеловаты. Красота бабушки и внучки безупречна.

События, изменившие жилищные условия семьи, произошли в ГДР. Вальтер Ульбрихт – тогда генеральный секретарь Коммунистической партии Восточной Германии – и его жена спросили свою дочь Беату, что бы она хотела получить в качестве подарка ко дню рождения. Своевольное дитя пожелало учиться в Советском Союзе. Желание – закон. Выбор учебного заведения для немецкой принцессы пал на интернат, инспектором которого была Маргарита Владимировна, а выбор семьи, где принцесса должна проводить воскресные и праздничные дни, пал на семью Маргариты Владимировны.

Три поколения итальянок-красавиц оказались в центре строительства потемкинской деревни. Из Москвы приехал представитель ЦК дать инструкции обкому партии, как обставить жизнь принцессы. Подремонтировали дом и квартиру. Нет, это никуда не годилось. Маргарите Владимировне предоставили трехкомнатную квартиру. Две комнаты для трех женщин, одна – для Беаты. Телефонной станции в районе, где поселилась принцесса, не было. В квартире, однако, появился телефон. Подвесная проводка соединяла его со станцией другого района. Крепостей, которых большевики не сумели бы взять, не существует. Потемкинская деревня была снабжена телефоном.

Уплотнители и уплотненные разлучены. Как сосуществовали они долгие годы, я не знала. Разговор никогда не касался этой темы. Теперь я узнала. Я позвонила на старую квартиру в самый разгар событий.

Трубку сняли, но никто не откликнулся на звонок. Я обратилась к тишине с просьбой позвать Маргариту Владимировну. По ту сторону провода раздались рыдания: «Они только что уехали», – вот все, что я могла в конце концов разобрать.

В качестве обитателя потемкинской деревни Мариночка никуда не годится. «Что у вас там в курсе истории партии про ГДР написано? – спрашивает Беата. – Восемьдесят процентов крестьян коллективизировано. Это вранье. Не смей отвечать это на экзамене». – «Да ты почему знаешь? Может, и правда». – «Хорошо, я папу спрошу». Беата звонит папе. В ГДР есть только несколько колхозов, созданных на пробу. «Ну что? Будешь теперь на экзамене отвечать, что в ГДР восемьдесят процентов хозяйств коллективизировано?» – «Буду». – «Но это ведь неправда». – «А мне не за правду зачет ставят, а за знание того, что в учебнике написано». Дело было в конце пятидесятых годов.

Летом 1969 года Мариночка гостила у Беаты и ее родителей в Ливадии. Когда-то Ливадия была летней резиденцией Николая Второго, теперь в ней отдыхал Хрущев. Мы узнали кое-что о тех, кто нами правит.

Мариночка говорила, что, если на будущий год пригласят, ни за что не поедет. Варварская роскошь, непрерывная слезка, тысячи запретов, страх, как бы информация о способе существования слуг народа не стала достоянием народа. Мариночка мастерски описывала бытовые сцены из жизни элиты. Хрущеву Мариночка симпатизировала. Знакомство с ним произошло в воде и при обстоятельствах, чуть было не закончившихся гибелью Марины. Пляж устлан текинскими коврами, уходящими под воду. Плоты на якорях предоставляют отдых пловцам. Мариночка сидела на плоту. Внезапно плот накренился, и могучий рычаг катапультировал Марину в небо, в море. Падая, она ударилась лицом о скалу. Чудом лицо не пострадало, только два передних зуба – два белых барашка героини Песни Песней царя

Соломона – оказались выбитыми. Катапультировал Марину Хрущев, выбросившийся на плот всей непомерной тушей. А библейской красоты зубы тотчас же заменили другими, неотличимыми от прежних.

Охота – самое царское развлечение. Хрущев был хороший стрелок. В чаще кустов и деревьев слуга кидал в воздух белые диски-мишени. Двенадцать раз подряд Хрущев бил без промаха. «Остановитесь на том, Никитá Сергеич, – сказал ему его зять Аджубей, – в следующий раз промахнетесь». – «Мы не фаталисты», – сказал Хрущев. Молодой человек с блокнотом, стоящий наготове рядом с Хрущевым, – эти молодые люди назывались спутниками – записывает: «Мы не фаталисты». Когда у Ульбрихта ружье отказало, Хрущев сказал: «Эти фашисты всегда подгадят». О том, записал ли спутник и эту фразу, Мариночка не повествовала. В парке стояли бочки с вином, и в них плавали расписные ковши. Каждый вечер правители смотрели кино – заграничные картины. Тайком проводили два цербера, приставленные к Марине и Беате, два Кости, обеих девочек в кино, как только гас свет в зале, и уводили за секунду до того, как свет зажигался. Два Кости тоже хотели смотреть заграничные фильмы.

Года через два царственный птенец оперился и упорхнул. Потомки соратника Гарибальди оказались жильцами отдельной трехкомнатной квартиры с телефоном!

«НА ВЕНЕРЕ, АХ, НА ВЕНЕРЕ...»

А в Ленинграде, ах, в Ленинграде жизнь немедленно вошла в привычную колею. «Ах» прилетело ко мне из стихотворения Гумилева, одного из тех, чьи стихи я декламировала сама себе по ночам, работая с мухами. «На Венере, ах, на Венере...»

Я проснулась среди чудовищного разгрома моей ленинградской квартиры, преисполненная концентри-

рованным блаженством. Грудь теснило. С чего бы это? Ах, я в Ленинграде... То, что окружало меня, годилось бы в качестве декорации в пьесе Горького «На дне». В мое отсутствие в моих комнатах обитал мой школьный товарищ Женька, муж моей школьной приятельницы Лидии Михайловны, со своей новой женой. Он хотел уплотнить свою двухкомнатную квартиру и вселиться с новой женой в одну из комнат, а бывшей жене и сыну предоставить другую. Старой и новой женам предлагалось любить друг друга. Лидия Михайловна – человек великой эмоциональной культуры – ни на миг не переставала любить своего мужа, но на этот вариант не соглашалась. Я предложила мои комнаты, и новая жена Женьки отлично вписалась в пейзаж моей коммуналки. Обитали они в одной из комнат – в задней, – а мою мебель сдвинули в проходную. На моем дубовом письменном столе, за которым я сейчас, в Мэдисоне штата Висконсин в Соединенных Штатах Америки пишу эти строки, она стирала. Пусть бы хоть ящики вдвинула! Так нет! Ко времени моего приезда Женька со своей дикаркой выехал в свою кооперативную квартиру, оставив за собой чудовищный разгром. Мерзость запустения усугублялась еще и паровым отоплением. Оно сменило в мое отсутствие камин. Ржавые радиаторы и трубы, щебень и пыль, осыпавшаяся штукатурка, разбитые стекла только усиливали ощущение блаженства.

Принцип доминанты Ухтомского в действии. Стоит в мозгу образоваться очагу стойкого возбуждения, и организм перестает реагировать на все другое. Другие воздействия переключаются на доминирующий очаг и усиливают его возбуждение. Доминирующее ощущение – счастье вернуться в Ленинград – усиливалось всем, даже самым мерзким. Едва не утерянная прописка и оставленная позади новосибирская травля никакой роли в этом победном упоении не играли. Ликование вызывал сам Ленинград. Он сам – успех, удача, моя любовь.

Ремонт. Я затеяла перегородить заднюю комнату, сделать из нее две. Рабочие с энтузиазмом взялись воздвигнуть стену, восстановить нарушенную ею лепку потолка, сделать дверь, залатать раны, нанесенные при установке парового отопления, и покрыть звукопроницаемыми щитами стену, отделяющую меня от комнаты крысиного короля.

Внучка короля обучалась играть на скрипке. Работали штукатуры налево, не только лили пот, но и рисковали тюрьмой. За свои левые заработки деньги они заламывали чудовищные. К риску относились наплева- тельски. «Раньше сядешь – раньше выйдешь». (Замечу в скобках, что риск невелик. Преследование левых заработков производится строго выборочно. Привлекают к ответственности, когда надо «пришить» дело тому или иному свободолобцу.)

Сговорились. Речь зашла о сроках. И тут выясни- лось, что раньше, чем через две недели, они начать не смогут. Я им объясняю, что ремонт надо делать немед- ленно, чтобы закончить через две недели, когда придут из Новосибирска контейнеры. Они не согласились, ушли. Один из них даже плюнул, уходя. Словесное оформление ухода соответствовало плевку.

Я жила у Маргариты Владимировны, внучки гари- бальдийца, в комнате, покинутой к тому времени Беатой Ульбрихт. Дверь в мои декоративные руины не запиралась. Женька сломал замок коридорной двери. На следующий день после плевка я позвонила в квар- тире Елене Алексеевне – каменной бабе из тех, что получше. Пусть она откроет дверь новым штукатурам и попросит их подождать, если я не поспею к их приходу. «Да ведь уже работают, – сказала мне Елена Алексеев- на, – грохот, небось, слышите. Тоська рулон бумаги дала коридор застлать». Штукатуры те самые, вчераш- ние. «Выйдите в коридор, – сказал мне главный, когда дело было сделано, и мои комнаты приобрели свой прежний элегантный вид. – Слышали скрипку? А здесь

ни звука». В особенности поражал потолок. Амуров, конечно, не восстанавливали, но геометрический узор охватывал перегородку с обеих сторон.

Отнюдь не пренебрежение к обветшалому институту брака руководило мной, когда в Новосибирске я приказывала моей дочери Маше и Саше не регистрировать брак. Маша была беременна. До родов оставался месяц-полтора. Действовала я на основе знания советской действительности. Регистрация брака в Новосибирске лишала Машу ленинградской прописки. Сперва надо вернуться в Ленинград с ребенком, с сожителем (так именуется официально в советской юриспруденции равно как партнер гражданского брака, так и любовник). Это можно. Нужно оформить свою постоянную прописку, прописать ребенка и тогда оформлять брак и хлопотать о постоянной прописке для мужа. Маша и Саша не послушались. Брак зарегистрировали. Маша лишилась возможности вернуться со мной в Ленинград. Географическое Общество хлопотало о внучке покойного президента. Вотще. «Он выслушает нас и, не говоря ни слова, нажмет кнопку звонка, приглашая войти следующего», – сказала мне Маша в приемной начальника милиции города Ленинграда, где мы вот уже три часа стояли в очереди. Так и случилось. Маша уехала в Академгородок с твердым намерением развестись со своим Сашей. Да и пора было. Человек слаб. Роль стукача растлевала обаятельного юношу, и он все смелел и смелел и лишался своего обаяния. Психическая болезнь завербованных в стукачи – паранойя. Саша страдал манией величия. Врал он грандиозно, самозабвенно, изысканно. Я верила. Я не буду излагать его басни и повествовать о его пороках. Они характеризуют мое легкоеверие, беспечность, мою глупость слишком уж постыдным для меня образом. Маша раньше меня поняла, с кем имеет дело.

Мы жили в трех роскошных комнатах вдвоем с Лизой. Развод занял около года. Наконец, Маша и

Марина поселились в квартире номер шесть на проспекте Маклина. Маша обрела право жить в квартире, где она жила с самого рождения три четверти своей жизни. Эволюция коммунальной квартиры, где мы обитали, описана мной выше. Грандиозные усилия переменить наш райский уголок на что-либо другое не привели ни к чему. Я в США. Лиза в Париже. Нам удалось выкарабкаться. А Маша, Марина и Машин второй муж Женя жили в окружении каменных баб, цыганоподобного стукача и интеллектуалов новой формации типа Марии Ивановны до января 1981 года, когда и им, наконец, удалось выкарабкаться.

Шесть лет я прожила в Ленинграде после моего изгнания из города-театра. Все блага социалистического строя, так выгодно отличающие его от строя капиталистического, в моем полном распоряжении. Улучшение бытовых условий. Бесплатное медицинское обслуживание. Я добивалась их, и мое упорство в преследовании цели не имело границ.

Улучшение бытовых условий сперва сводилось к получению личного телефона. Когда в мое отсутствие мой телефон стал коммунальным, я не протестовала. Кара за непредусмотрительность описана выше. Я не Беата Ульбрихт. На личный телефон в коммунальной квартире, где телефон имеется, я претендовать не могла. Я просила отводку от аппарата, чтобы говорить по телефону из своей комнаты, а не из коридора. Институты, издательства, психиатрические больницы, где я работала, преподавала, где печатались мои труды и где работали мои соавторы-врачи, снабдили меня бумагами. Их накопилось штук девять. Мне было чем бомбардировать цитадели канцелярий. Именовалась я в этих бумагах тем, чем была, – доктором наук, профессором, руководителем лаборатории, автором печатной продукции, человеком привилегированным. Объект завоевания предельно скромнен. Огневых средств и боеприпасов достаточно. Имелась во всем деле, однако, существен-

ная червоточина. Станьте на миг на место чиновника телефонного управления, районного, городского, областного, сколь угодно высокого или сколь угодно низкого ранга. Плевать он хотел на мои привилегии. Он ясно понимает, что привилегии мои не срабатывают, раз я живу в коммунальной квартире. Коммунальная квартира – та одежда, по которой меня встречали, по которой и провожали, вернее, выпроваживали. Старая русская поговорка – по одежке встречают, по уму провожают – давно канула в вечность. Она дитя брожения умов, ее породило ощущение социальной несправедливости, она протест против привилегий. Ей не место там, где цепная реакция привилегий начинается с подхалимства, предательства, в лучшем случае, с взятки. Взяткой не пахло. Я прошла по всей пирамиде телефонных управлений и получила отказ. Мужчины с квадратными лицами, точные копии тех, кто занимал ряды для приглашенных на общественном суде над тунеядцем Иосифом Бродским, без раздумья нажимали на кнопку звонка, вызывая следующего просителя. Чтобы обратиться в вышестоящую инстанцию с жалобой на отказ инстанции нижестоящей, я должна дождаться письменного отказа. Имея его от наивысшей телефонной инстанции, я обратилась в Райсовет. Потребовали сдать все ходатайства. К письменному отказу они – плоды превеликих усилий, единственные козыри в моей почти безнадежной игре, – приложены не были. Я пошла на прием к начальнику с единственной целью вернуть бумажки. «Бумаг не будет. Женщина как будто грамотная, а не знаете, что подлинники никто не сдает. Копии надо снимать. Обращайтесь к юристу Райсовета». Нескрываемое торжество звучало в голосе квадрата. Боеприпасы потеряны. Осталось признать свое поражение.

Я обратилась в горсовет с просьбой предоставить мне отдельную квартиру в любом районе города взамен моих трех комнат. Я согласна на меньшую площадь. Я описывала выходы соседа-пожарника и писала, что на

доме напротив укреплена мемориальная доска моего отца и я считаю антисемитские выпады против меня оскорблением его памяти. Отказ пришел мгновенно. Поведением пожарника горсовет не заинтересовался.

И на что только я рассчитывала, подавая свое заявление? Обивая пороги райисполкома, разве не видела́ я на дверях его жилотдела объявление, оповещающее граждан о правилах предоставления им жилплощади? В очередь на улучшение бытовых условий ставят тех, у кого на человека приходится меньше четырех с половиной метров. Объявление оповещало, что на очередь будут поставлены только семьи, живущие в переуплотненных условиях не меньше года. Объявление не доводило до сведения граждан, что ждать им придется долгие годы: 7, 8, а то и 12 лет. Умалчивало оно и о том, что, имея они хоть самое что ни на есть священное право получить свои, выстоянные в очереди блага, они не получают их без взятки и взятка тем больше, чем дольше пришлось ждать. Кривая, изображающая зависимость между длительностью срока ожидания и размером взятки, берет свое начало в точке пересечения координат. Привилегированные счастливцы в очередях не стоят, взяток не дают. Ноль по оси абсцисс, ноль по оси ординат.

Чувствуете? Государственная мудрость диктовала объявление, вывешенное на дверях жилотдела райисполкома совета депутатов трудящихся. Ничего вы, дорогой читатель, не чувствуете, если не жили при советской власти годами и если не обладаете могучим воображением Данте или, по крайней мере, Свифта. Вдумываясь в пункты объявления, вы недоумеваете: допустим, – рассуждаете вы, – живут в комнате площадью три на три метра муж и жена. Права стать на очередь на улучшение жилищных условий они не имеют. Но вот у них родится ребенок. «Что же, они должны ждать год, чтобы их поставили на очередь?» – спрашиваете вы. Да, если нет у них знакомства и не могут они дать взятку (ибо, чтобы

дать взятку и взять взятку, надо иметь знакомство – гарантию, что не донесут), они будут ждать год. Раньше, чем ребенок пойдет в школу, им полагающейся площади в 27 квадратных метров не видать. «Зачем же нужно им ждать на подступах к очереди еще и этот год?» – недоумеваете вы. Пункт введен государственным умом для пресечения спекуляции жилплощадью. Нарисуйте в воображении такую картину. Живет в отдельной квартире семья, жилплощадь в избытке, вот-вот уплотнят. Не проще ли обменять квартиру на комнату так, чтобы на человека приходилось заведомо меньше четырех с половиной метров жилой площади, получить на черном рынке изрядный куш и тут же стать на очередь, имея достаточно денег, чтобы дать взятку? Так вот, чтобы пресечь подобные безобразия, и понадобился год ожидания. Пока я проводила бесконечные часы, ожидая приема, я с наслаждением решала жилищные головоломки, проникая в тайны государственной мудрости. И при таких-то условиях я подала заявление в жилищный отдел горсовета!

Оставался обмен. Врачи-психиатры порекомендовали мне обратиться к отцу их пациентки – красавицы-еврейки, страдающей маниакально-депрессивным психозом. Отец происходит из Белоруссии. Он почти тезка прославленного художника. Зовут его Макс Шагал. По гениальности он не уступает художнику. Он устраивает обмены квартир. Его комбинаторские способности превосходят все мыслимое и относятся к сфере чудесного. Обмен с десятью участниками для него детская игра. Однажды он переместил ко всеобщему удовольствию восемнадцать семей. Он оказался пучеглазым коротышкой, еще не старым. Он на войне потерял правую руку. Жил он со своей дочерью в коммунальной квартире в страшной бедности, хотя был не только инвалидом Великой Отечественной войны, но и кавалером всех орденов. Знаки его отличия непосредственно примыкали к званию Героя Советского Союза. Кроме пен-

сии, он имел право бесплатно пользоваться любимым городским транспортом. Говорил он на чудовищном языке с белорусско-еврейским акцентом. Слушая его, я остро завидовала Елене Сергеевне Вентцель. Она умеет схватить и запомнить любой говор, я же лишена этого дара. Так и подмывало записывать за ним каждое его слово. Он овдовел. Слезы текли по его лицу, когда он рассказывал мне о болезни своей жены. Расходы на лекарства были подытожены с точностью до рубля. Я уже побывала у него несколько раз и вошла в число его клиентов, когда до меня дошел слух, что в газете появилась статья, разоблачающая его незаконную деятельность. Я отправилась к нему, чтобы выразить ему сочувствие. Я встретила его во дворе его дома в сопровождении новых клиентов. Он шел осматривать их жилье. О статье он знал, но несколько не расстраивался. Как оказалось, автор статьи явился к нему под видом клиента, убедился, как хорошо и как бескорыстно работает Макс Шагал, и написал статью, чтобы поставить его в пример государственным конторам по обмену жилплощади, которые, кроме вывешивания объявлений об обмене, ничего не делают. Налоговая инспекция должна была принять против Шагала меры независимо от качества его работы и размера его «левого» заработка, но пренесло. Он погиб, когда сломал ногу, попал в больницу, пустил в ход костыль, защищая справедливость, был отправлен в психиатрическую лечебницу и умер там от воспаления легких. Врач его дочери не успел взять его к себе, я не успела навестить его. Он побывал в квартире номер шесть в доме один по проспекту Маклина и сказал, что дело безнадежное. Нам надлежит разъехаться и менять три комнаты на две в одной квартире, коммунальной, конечно, и на одну в другой квартире, тоже, конечно, коммунальной. Мы решили поселиться с Машей и Мариной в двух комнатах, а Лизу отделить. Только и это безнадежное дело. Множество людей, подобно нам, хотят разъехаться, а съезжаться никто не

хочет. Никто не захотел въехать в наши роскошные комнаты, никого не прельстил огромный балкон со старинной решеткой и цветущий каштан. Верхние свечи соцветий к тому времени высились уже на уровне балкона, а когда мы въезжали четверть века назад, еще до рождения Маши, каштан цвел, но балкона не достигал. Усилия Макса Шагала, его гений не привели ни к чему.

Много часов провела я в комнате, где Шагал собирал своих клиентов, нет, куда стекались, валом валили его жаждущие обмена клиенты.

«Теща вот-вот умрет. Ее комнату в их двухкомнатной квартире заселят, и они окажутся в коммунальной квартире. Скорей, скорей, надо обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную, и тогда смерть тещи не будет иметь побочных роковых последствий». И еще я узнала, что породистых собак собаководство жильцам коммунальных квартир не продает. Гони справку, что живешь в отдельной квартире, и получай щенка. Беспородной собаке жить в коммунальной квартире можно с разрешения всех соседей по квартире, а если поселится беспородная тварь без их разрешения, хозяин получит административное взыскание и заплатит штраф. Дальнейшее описано в рассказе Тургенева «Муму». И еще я узнала, что, меняя меньшую площадь на большую, приходится за каждый добавочный метр платить немалые деньги. Черный рынок имеет свои расценки. Качество жилья принимается во внимание. О доплате я слышала и раньше. Теперь мои знания обогатились. В их сокровищницу попал бриллиант чистейшей воды. Оплате подлежит разница между числом жильцов в квартире покидаемой и их числом в новом обиталище. Сейчас в Мэдисоне я развлекаюсь вопросом, теперь уже чисто теоретическим.

Числился, как уже сказано, в нашей квартире несуществующий жилец, мифический Иванов, избавитель крысиного короля от платы за излишки жилой площади. Так вот, доведись мне совершить обмен, был бы при-

нят в расчет при доплате самый незаметный из всех жильцов – Иванов? Ответ однозначен – мне пришлось бы его оплатить. Без справки из домоуправления о числе жильцов в нашей квартире, без справки, выданной в соответствии с незыблемым каноном непогрешимой бюрократии, сделка о доплате состояться не могла. Жилец потустороннего мира имел ленинградскую прописку. Он был бы включен в число обитателей нашей юдоли страданий. А раз включен – плати. Он, этот Иванов, чего доброго и в персонаж отечественной литературы превратится. Социалистический вариант поручика Куже и крепостной Елизаветы Воробей.

Дело ни разу не дошло до сделки. Цыганоподобный пожарник-стукач, высокоинтеллигентная Мария Ивановна – юрист с высшим образованием, крысиный король, Анастасия Сергеевна с открытой формой туберкулеза, матерная брань сошедшей с ума Елены Кирилловны были и оставались до дня отъезда моей повседневной неотвратимой судьбой.

Одно из самых ярких впечатлений моей предотъездной жизни связано с улучшением бытовых условий советских граждан. Я ждала приема к начальнице домоуправления, чтобы получить от нее, взамен на янтарное ожерелье, бумаги, необходимые для отъезда. Как должно было накопиться на сердце у моей соседки по очереди, если со слезами в голосе она обратилась ко мне, и ее первыми словами были: «Так ведь у нас клопы». Сила экспрессии ее повествования не уступала Евангелию. Никогда не перестанут звучать в моих ушах слезы, которые звучали в ее голосе. Дезинфекцию у них делали. «Он пришел, а мамы нет. Она слепая, на время дезинфекции ее к знакомым пришлось увезти. Он и дал заключение, что условия улучшению не подлежат». Кто такой он – ясно без слов: инспектор райисполкома, пришел он обследовать, действительно ли мать и дочь нуждаются в улучшении бытовых условий. Видно, очередь их подошла. А тут, как на грех, – клопы. Они право

имеют на лучшую площадь. Комната у них без окна. Я, в моем положении эмигрантки, так же мало или так же много могла быть ей полезна, как чеховская лошадь – терпеливый слушатель извозчика, потерявшего сына, своему хозяину. «Идите в горисполком, жалуйтесь», – говорила я ей и рисовала в воображении картину, как будет орать на нее инспектор с квадратным лицом.

Я не жалела ни времени, ни сил, чтобы вырваться из квартиры, где я прожила более четверти века. Крайние обстоятельства питали мое упорство. Вот один эпизод, связанный с улучшением моих бытовых условий. И у нас были клопы. Ни наша самостоятельность, ни государственные конторы не мешали клопам плодиться и заселять Землю. Обратились к подпольному частнику – аналогу Макса Шагала. Он гарантировал успех, но его волшебный состав вонял. Я была на кухне, когда Мария Ивановна накинулась на меня с бранью. Я попыталась спастись бегством. Она бежала за мной. Я не успела повернуть ключ. Она рванула дверь и плюнула мне в лицо. Переменить квартиру нужно было во что бы то ни стало. Титаническое упорство, однако, не привело ни к чему. Гарантированного властью улучшения бытовых условий не последовало.

Бесплатная медицинская помощь. Ее стараниями погиб мой брат Симон, Сим, ангел небесный Симочка, как называла его наша суровая няня, и чуть было не погиб Александр Аркадьевич Галич.

Сим на своих ногах пришел в поликлинику, был отправлен в больницу с диагнозом «острый аппендицит». Во время операции у него обнаружили злокачественную опухоль. После операции он умер. Ему только что исполнилось тогда 59 лет. Умирал он, как и подобает умирать ангелу небесному. Он не роптал ни на что и только один раз сказал: «Что же это меня все бросили?» Сказал он это, когда у меня кончились деньги и я не могла больше платить за бесплатное медицинское обслуживание. Кислородного баллона хватило до самой

смерти. Сперва принести его было некому, а потом нашлось кому, после того как я дала дежурному врачу пять рублей. Каждый укол антибиотика, смена капельницы внутривенного питания, визит врача – за все надо платить. Сам Сим об оплате не беспокоился, денег у него не было ни копейки. Сбережения и зарплата переведены в сберкассу на имя его жены Оли. А Оля из породы, которую гениальная Надежда Яковлевна Мандельштам в своей «Второй книге» называет непуганными. Оля делала вид, что все идет как надо, а я и заикнуться не смела, чтобы раскошелилась, так она всю жизнь умела себя держать со мной. И все же я недооценивала ее безмятежность, иначе, махнув на нее рукой, я раздобыла бы денег и продолжала бы тратить свои.

Сим умер у меня на глазах. Я не знаю, можно ли назвать верой в Бога тот пантеизм, который несомненно лежал в основе возвышенного мировоззрения отца и к которому лежит моя душа, но Сим всю жизнь чуждался всего возвышенного. Ни в утешениях, ни в наградах он не нуждался. Он отвергал жизнь – не то что бессмертие. Отец всю жизнь творил. Сим ради бессмертия не стукнул палец о палец. В последние часы своей жизни он спал, и казалось, что ему лучше. Вдруг он широко раскрыл глаза, на лице его изобразился восторг, и он сказал: «Бог пришел». Он заснул и больше не просыпался.

Я до сих пор сомневаюсь, что Сима нельзя было спасти, что он умер от рака, а не из-за безобразного послеоперационного ухода. И что у него был рак, а не аппендицит, я сомневаюсь.

Когда Галич чуть было не умер в больнице в Ленинграде, я была при нем. Я своим градусником измеряла ему температуру. Жар 40°. Я пошла к дежурному врачу с градусником. Она сказала, что температурная кривая указывает на заражение крови, они примут все меры, но того лекарства, которое может спасти Галича, у них нет. Она назвала антибиотик – метамин. Если мне удастся раздобыть его – хорошо, если нет, ее дело

предупредить меня о том, что опасность смертельная. Не одна я находилась у постели Галича. Кажется, главная роль в спасении его принадлежала Юре Меклеру. Были при Галиче и знакомые врачи. Связались с Институтом антибиотиков, сделали посев, и спасительный антибиотик нашелся. Один из знакомых врачей объяснил мне, почему дежурный врач назвал метамицин. Доподлинно известно, что лекарство это в СССР вообще не производится. Когда секретарь Ленинградского обкома партии Сизов был болен, за метамицином специальный самолет гоняли в Лондон. Предупредив меня и возложив на меня поиски несуществующего средства спасения, врач снимал с себя всякую ответственность.

Сепсис Галича – результат того же самого бесплатного медицинского обслуживания, которому так вожделенно завидуют американцы. Галич – москвич. В Ленинград приехал по делам с издательством, набор его книги еще не был рассыпан. Жил он в гостинице. Сердечный приступ. Врач скорой помощи сделал укол и внес инфекцию. Несколько дней Александр Аркадьевич пролежал у меня дома, но, когда стало ясно, что без операции не обойтись, ему пришлось лечь в больницу. И там он чуть не умер. Как и Сим, он, умирая, завоевывал сердца. Было у них много общего, даже во внешности. Галича спасли его обожатели. Спасти Сима мне не довелось.

На Венере, ах, на Венере...

Мэдисон – Сент-Луис, 1978 – 1984

БЕРГ Раиса Львовна – родилась в Петербурге в 1913 году, в семье ученого. Училась в немецкой школе и университете в Ленинграде. В течение многих лет вела научно-исследовательскую и преподавательскую работу в области генетики. Доктор наук, профессор. Активная участница правозащитного движения. В результате преследования властей вынуждена была эмигрировать. Живет и работает в США.

Томаш М я н о в и ч

ОСЛО – ПРАГА – ГОРЬКИЙ

Так же, как Наталья Горбаневская, автор статьи «Солидарность?» в «Русской мысли» (№ 3506 от 1 марта 1984), я не знаю обстоятельств возникновения чешско-польского призыва об освобождении политзаключенных в Польше и Чехословакии. Однако автор статьи не ошибается: в призыве ничего не говорится о преследуемых советских правозащитниках*.

Тексты обеих нобелевских речей Леха Валэнсы хорошо известны. Не буду скрывать смущения: тот факт, что первая критика по адресу этих речей написана русской, – нам, полякам, не дает оснований гордиться. Я согласен с Наташей: то, что председатель «Солидарности» не упомянул Андрея Дмитриевича Сахарова, ставит ряд существенных вопросов как политического, так и нравственного порядка. Для автора статьи в «Русской мысли» речь идет не только о Сахарове и не только о русских. Ее сомнения относятся к причинам, по которым ни в пражском документе, ни в норвежских речах Валэнсы мы не находим доказательств той солидарности с правозащитниками разных стран советского блока, выражением которой были два упоминаемые ею документа: призыв в защиту арестованных активистов «Хартии-77», подписанный 31 июля 1979 г. Комитетом

* Статья «Солидарность?» была написана после весьма кратких сообщений о призыве в западной печати. Как только полный текст призыва поступил в распоряжение «Русской мысли», он был переведен и напечатан (№ 3507 от 8 марта 1984). – Н. Г.

общественной самозащиты КОР и советскими правозащитниками, а также «Послание к трудящимся Восточной Европы», принятое на Первом съезде «Солидарности» в сентябре 1981 года*.

Понадобились бы долгие рассуждения и построение не поддающихся в настоящий момент проверке гипотез, чтобы подробно обосновать, почему мне не кажется целесообразным соединять пражский призыв и речи, прочитанные в Осло. В конце концов, решающим является один фактор: речи Валэнсы были подчинены нынешней тактике председателя «Солидарности» и его советников. В контексте этой проблемы, поднятые в статье Н. Горбаневской, обнаруживают свой вес.

Быть может, было так, как предполагает Наташа: дилемма, упоминать или не упоминать в Осло о судьбе Сахарова, вообще не вставала: «Не подумали, не пришло в голову...» Это, однако, не отменяет проблемы. Как призыв Тадеуша Мазовецкого избегать антисоветских лозунгов во время демонстраций в Осло после церемонии вручения премии, так и умолчание (не буду спорить – красноречивое) в речах Валэнсы об операции 13 декабря 1981 г. и о военном положении не случайны. В тексте речи, прочитанной в Осло Богданом Цивинским, мы находим следующий фрагмент:

«По-прежнему – вопреки всему, вопреки тому, что происходит в моей стране вот уже два года, – я считаю, что мы обречены на соглашение и что тяжкие проблемы положения в Польше могут быть решены лишь на пути подлинного диалога власти с обществом».

Это можно рассматривать как изложение нынешней тактики открыто действующего (не подпольного) руководства «Солидарности». «Не дразнить советское руководство», как это определяет Горбаневская, – вторично по отношению к принятой цели: переговорам с

* См. «Континент» № 21 (специальное приложение) и 29 (3 стр. обложки).
– Р е д.

властями. Чтобы они согласились пойти на переговоры – надо проявить добрую волю и избегать некоторых акцентов. Я не оговорился: целью является «возвращение к столу переговоров», условия же «соглашения власти с обществом» – с момента принятия этой тактики постепенно ограничиваются: планка требований, предъявляемых режиму, все больше снижается, и это ни в чем не меняет подхода.

Я не хотел бы напоминать совершенно банальных истин о том, что коммунисты уступают только под давлением и что уступки с их стороны носят исключительно временный характер. Гораздо любопытнее задаться вопросом, как именно тактика призывов к диалогу формирует политическую ориентацию решительного большинства польского общества, которое отвергает господствующую систему.

Положение в стране, после того как разрушены легально действовавшие структуры «Солидарности», весьма специфично. История советской системы знает разные попытки бунта – более или менее кровавые – и разные модели нормализации, примененные к обстоятельствам. Их общей чертой всегда был возврат к *status quo ante*, т. е. к не потерпевшей ущерба монопольной власти коммунистической партии (с наведением некоторой «косметики»), и – путем усмирения сопротивления – восстановление свойственных системе правил социального поведения. В Польше «нормализация» до сих пор не увенчалась успехом. Во-первых, существуют организованные подпольные структуры (явление беспрецедентное, ибо до сих пор подпольное движение сопротивления возникало только как реакция на насильственный захват власти коммунистами). Во-вторых, общественное противостояние режиму выражается открыто и в массовых формах, что тоже беспрецедентно. Второй фактор важнее: преобразование психики в рамках системы, которая в «нормальных» обстоятельствах основана именно на духовном порабощении, – потенциал.

который может принести разнообразные результаты. Они трудно предсказуемы, однако можно постараться направить этот потенциал в ту или иную сторону.

Можно, например, требовать подлинного диалога власти с обществом и заключения национального соглашения. Соглашение с коммунистической властью, наносящее ущерб ее тотальному господству, невозможно – это легко показать простейшей логической схемой: чтобы такое соглашение могло существовать, партии пришлось бы перестать быть самой собою и стать чем-то другим (кто считает по-другому – не знает, что такое партия ленинского типа).

Можно сделать выбор в направлении «борьбы за независимость». Кавычки здесь не являются выражением иронии – я просто считаю, что понятие «независимости» сейчас в Польше не поддается однозначному определению, оно обращено скорее к сфере коллективной психологии, но не связано с указанием конкретных методов действия; в лучшем случае, оно выражает более бескомпромиссную позицию по отношению к режиму. Тем не менее, на вопрос: что такое независимость? – легко дается ответ: освобождение от зависимости от Советского Союза. Зато на вопрос: как этого достичь? – ответ намного труднее* (Польша – к сожалению, не Гренада). Если мы будем понимать независимость как отсутствие всякой политической (и иной, вытекающей из нее) зависимости, то не без оснований можно утверждать, что наибольшей степенью независимости пользуется Албания.

Общераспространено убеждение, что необходимое условие независимости Польши – распад Советского Союза, притом что под распадом имеется в виду положе-

* Парадоксально, что такие публицисты, как С. Братковский или С. Киселевский, указывают более конкретные методы уменьшения зависимости от СССР (оставим в стороне вопрос о реализме их предложений), чем, скажем, авторы «Неподлеглоци». – А в т.

ние, при котором СССР перестанет существовать как государственный организм. Как дойти до этого – неизвестно; публицисты «Неподлегли» считают, что это произойдет само собой, в результате господствующего в СССР кризиса. Часть американских советологов видит фактор разложения СССР в высоком приросте мусульманского населения. Ценность обоих аргументов представляется мне довольно сомнительной.

Я хочу показать одно: альтернатива «соглашение с властью или независимость» – ложная; точнее говоря, она затрудняет использование того потенциала, который представляет общественная воля к сопротивлению.

В самом деле, Валэнса и его советники – тоже за независимость, только по тактическим причинам не могут сказать это прямо, стараются не дразнить Москву и избегают антисоветских лозунгов. Правда, эта тактика до сих пор не принесла ожидаемых результатов.

Форма «диссидентских» движений, выработавшаяся в 70-е годы (а из них, что ни говори, выросла и идея свободных профсоюзов), состояла в ссылке на законы, установленные или одобренные властью. На то же самое – на соглашения, подписанные властью, – ссылалась и «Солидарность», которую уже трудно назвать «диссидентским» движением. Из событий последних лет можно извлечь тот важнейший опыт, который учит, что вышеназванная форма в Польше исчерпана до конца (к сожалению, редко бывает, что уроки истории вполне поняты). В связи с этим нынешняя тактика «Солидарности» не только является (и остается) безрезультатной, но еще и затрудняет попытки направить общественную волю на разрушение системы.

Здесь следует добавить, что тактика «соглашения с властью» основана на некоей посылке, верность которой мне представляется спорной. Принято считать, что Церковь поддерживает «Солидарность»; несмотря на различные заявления о том, что Церковь стоит в стороне от политики и предпочитает роль посредника, а не сторо-

ны́, казалось все-таки очевидным, что Церковь, защищая самоценность («субъектность») общества, достоинство человеческой личности, права человека и гражданина, практически больше – и намного больше – сочувствует обществу, чем партийно-государственным властям. Меры, предпринятые недавно Епископатом против священников, открыто защищающих «Солидарность», и особенно высказывания кардинала Глемпа в Бразилии свидетельствуют о том, что достаточных оснований для такой оценки роли Церкви нет. Это еще один фактор, который заставляет сомневаться в верности нынешней тактики «Солидарности».

Итак, «подлинный диалог с властями» – нереальная тактика. Можно дальше и дальше понижать уровень требований, предъявляемых режиму, но надо ясно себе сказать, что власти вступят в переговоры с Валэнсой только тогда, когда он согласится вступить в профсоюз Ярузельского.

Но и вторую составляющую альтернативы, т. е. независимость, я считаю нереальной, ибо распад Советского Союза не удастся предвидеть в конкретной временной перспективе. Выходит, что вся альтернатива ложна. Что же тогда остается? *Разрушать систему*. Не призывать к национальному соглашению и не иллюзорно рассчитывать на скорый распад СССР, но упорно подтачивать систему, постепенно парализуя эффективность функционирования коммунистической власти.

Весьма общо обрисованная выше ориентация на независимость делает как раз ту кардинальную ошибку, что условием осуществления своих целей считает *распад государственного организма СССР, а не разрушение механизмов идеологической системы*, которое, собственно, означает постепенно лишить коммунистическую партию возможностей хорошо функционировать. Условие независимости Польши – эрозия советской системы в глобальном масштабе, независимо от того, где она начнется.

Между диалогом с властью и независимостью протирается та территория, которая должна определять тактику общественного сопротивления в Польше. Эта территория – в некотором смысле *terra incognita*: система идеологического государства, свойства и механизмы которой мы, кажется, не все еще осознаём.

В разговоре с журналистами, опубликованном в бразильской прессе, Примас Польши, отрицая преследования Церкви в Польше, сказал также, что идет только идеологическая борьба между материализмом и религией. Это не марксизм, сказал Примас, марксизма в Польше никто не принимает всерьез (правда, чуть раньше в том же разговоре кардинал Глемп утверждал, что в «Солидарности» все были «марксисты» и «троцкисты»).

Понятия «марксизм» и «материализм» не равнозначны (материализм – философская позиция, марксизм – идеология) – их трудно сопоставлять, но, быть может, это не так уж важно. С чем я согласен – с тем, что это не марксизм: тоталитарное идеологическое государство – это ленинизм; принимать или не принимать всерьез марксизм – это не имеет решительно никакого значения (верно заметил Ален Безансон: сила советского режима – в понимании, что идеология может обойтись без убеждений). Государство будет бороться с религией не из-за мировоззрения, основанного на вере, но из-за того, что она одно из связующих веществ, которыми цементируется гражданское общество, уничтожаемое советизмом.

Польша включена в мировую коммунистическую систему, но внешнеполитическая зависимость – только один из элементов порабощения. Советизм – явление исторически новое, поэтому рассуждение по аналогии обманчиво. Советский Союз не распадется – как распались классические империи – по причине экономического кризиса (коммунистическая экономика по определению плохо работает), не распадется он и по причине

прироста нерусского населения (ибо не национальное угнетение – главная опора системы). Коммунисты не предпримут подлинного диалога с обществом, ибо цель режима – отнять у граждан какое бы то ни было влияние на решения власти. В Польше не удастся ввести свободные профсоюзы, ибо система действует путем ассимиляции и, по закону тяготения, стремится к овладению всеми формами коллективной жизни.

Но разрушение советской системы возможно. До сих пор все бунты подавлялись – с этим я не спорю. Однако извлекаемый отсюда вывод, что каждая попытка десоветизации должна закончиться советским военным вторжением или введением военного положения, – совершенно произвольная экстраполяция. Моя убежденность в том, что разрушение системы возможно, – по крайней мере, так же хорошо подтверждается историческим опытом, как и утверждение, что «Советский Союз не допустит».

Во-первых, история не знает, как происходит процесс распада этой системы, из чего отнюдь не вытекает, что ее разложение невозможно.

Во-вторых, можно теоретически рассмотреть иные потенциальные варианты протекания прежних бунтов в советском блоке и не без разумных оснований поставить несколько вопросов. Что могло бы произойти в Венгрии, если бы там не питали иллюзорного убеждения, будто возможно одним ударом вырвать единственное звено из «социалистического сообщества» и Советский Союз согласится признать право Венгрии на самоопределение? Далее: вошли бы в Чехословакию войска Варшавского договора, если бы Дубчек не заверил Брежнева, что чехословацкие солдаты не будут стрелять в советских? Наконец – прошла бы так гладко операция 13 декабря в Польше, если бы не предшествующий камуфляж реального конфликта декларациями об «уважении основ существующего устройства» и «союза с Советским Союзом», в то время как внутренняя дина-

мика событий обращала в ничто всякие «основы устройства»? Ведь как много членов «Солидарности» пребывало в убеждении, что власть способна признать самоценность общества! Зачем же их снова кормить иллюзиями? Основное условие успеха общественного движения состоит в том, что его участники должны знать, к чему они стремятся (отсюда та относительная легкость, с какой рушатся классические диктатуры). Цели должны быть высказаны недвусмысленно, без уклонения в туман красноречивых умолчаний, эвфемизмов и тактических деклараций.

В-третьих, утверждение о возможности разрушения системы основано на эмпирических посылах. Как раз в Польше это разрушение в большой степени стало фактом. Десоветизация – это не подписание властями национального соглашения, это отказ общества от обязывающих форм коллективной жизни. Принимая зиновьевский диагноз советизма: власть – коммунистическая, но и общество – коммунистическое, поскольку оно функционирует по коллективным принципам системы, – легко увидеть, что общество в Польше в настоящий момент не является коммунистическим.

Трудно предвидеть влияние событий в Польше на другие страны советской системы. Однако основным стратегическим принципом должна быть солидарность поверх границ отдельных государств лагеря. Эта солидарность отсутствовала в нобелевских речах Леха Валэнсы. Я попытался показать, почему причины такого состояния дел я усматриваю в тактике председателя профсоюза, или, скорее, в ее духе. Однако тактика не может пренебрегать определенными нравственными принципами, замалчивание которых на уровне практики превращается в их непризнание.

Дело Сахарова выходит за пределы сферы политической тактики, которую принял Лех Валэнса. За председателем «Солидарности» стоит реальная сила – поддержка миллионов. За Андреем Сахаровым – только

его совесть, а против него – целое советское государство. В этом неравном поединке нельзя оставить его в одиночестве.

Я был в Польше, когда демократическая оппозиция (тогда еще классическое «диссидентское» движение) действовала в условиях, сопоставимых с положением горьковского ссыльного: она располагала нравственной силой, но не имела возможностей оказывать давление на власти. В те времена необходимость солидарных действий в странах блока была общепризнанной и неоднократно выражалась. Андрей Сахаров, несмотря на трагические условия, в которых он находится, сохраняет верность этому принципу. Голоса в его защиту звучат сейчас во всем мире. Тем большую горечь испытываешь из-за того, что имя Сахарова не прозвучало в Осло, на церемонии вручения премии, лауреатом которой он также является.

В возникновении «Солидарности» демократическое движение, еще в своем «диссидентском» периоде, сыграло основную роль. Вне зависимости от того, сколь мало реальными представляются нам сейчас обстоятельства, при которых в России или в других странах, входящих в СССР, сможет возникнуть организованное движение общественного сопротивления, каждый свободный голос оттуда – «из-под глыб» – является нашим естественным союзником.

Я уже упомянул, что не знаю обстоятельств возникновения пражского призыва от 12 февраля. Склоняюсь к мысли, что текст этот возник в кругах «Хартии-77» и что там тоже «не подумали, не пришло в голову». Близкое знакомство и несколько лет сотрудничества с некоторыми из поляков, подписавших призыв, позволяют мне верить, что они не отошли от принципов, составлявших этику КОРа. Этой верой я и хочу поделиться с моими русскими друзьями.

Март 1984

ЕЩЕ РАЗ ОБ АРМЯНСКОМ ВОПРОСЕ

В 38-м номере «Континента» была опубликована статья Армана Малумяна «Армянский вопрос». Руководство Института армянских проблем в Мюнхене выражает глубокую благодарность за то, что впервые за многие десятилетия на русском языке – и в таком солидном журнале, как Ваш, – обсуждается армянский вопрос. Русскоязычная пресса для нас имеет особое значение, и к ней мы относимся с особой ответственностью, поскольку, во-первых, два миллиона армян читают только по-русски и, во-вторых, политическая судьба армян так или иначе связана с Россией. Для тех, кто читает по-армянски, не требуется особого труда, чтобы на основе огромного количества публикаций левого и правого толка разобраться в сущности армянского вопроса. Но для тех, кто читает только по-русски, нужно особенно тщательно взвешивать те или иные оценки и, главное, не пытаться собственное понимание проблемы возводить в истину, ибо русскоязычному читателю больше нигде брать информацию.

К сожалению, статья А. Малумяна грешит этим недостатком. Что касается первой части статьи, где автор рассказывает об армянах и армянском геноциде, то она безупречна. Но вторая часть статьи, которая начинается с подзаголовка «Терроризм», не только написана очень небрежно и поверхностно, но и показывает, что автор не читает армянской прессы и не представляет сущности политической жизни армянского зарубежья. Именно поэтому мы решили внести некоторые поправки в статью Малумяна, которую в принципе считаем очень важной.

Сначала об общей оценке политической сущности армянского зарубежья. Она образовалась не в резуль-

тате бегства от советской власти, а в результате геноцида и депортации армян из Османской Империи. Каждая эмиграция несет в своей памяти ту катастрофу, в результате которой она оказалась вне родины, и тот политический климат, который существовал во время этой катастрофы. В связи с этим антитурецкого потенциала в армянской диаспоре гораздо больше, чем антисоветского. Это не значит, однако, что армянский вопрос перестал быть вопросом независимости Армении. Дашнакская партия, которая является единственной революционной и политической организацией армянского зарубежья, на своем последнем съезде постановила, что борьба за независимую Армению составляет главное политическое содержание армянского вопроса. Однако, кроме этой главной политической цели, армянский вопрос имеет еще и чисто моральную сторону, которая заключается в осуждении геноцида армян. Без этого осуждения психологический настрой зарубежных армян остается антитурецким.

Подлинно национальные силы понимают пагубность такой политической ориентации и всеми силами пытаются осуществить переориентацию армянской диаспоры, за счет смягчения в ней антитурецких настроений. Такой же «самиздат» идет из Армении. Однако все наши попытки в этом направлении наталкиваются на следующие препятствия:

1. Упорный отказ турецкого правительства признать факт геноцида и осудить его.
2. Антитурецкие настроения армян находят покровителей среди левых сил.
3. Миф о советской поддержке антитурецкой борьбы армян.

Нет никакого сомнения в том, что нынешнее правительство Турции ничуть не повинно в трагедии армян, и оно вполне могло бы осудить геноцид, совершенный младотурками. Кстати, в свое время этот геноцид косвенно был осужден основателем современной Турции

Кемалем Ататюрком. Но турецкое правительство упорно отказывается идти на этот шаг и тем самым восстановить дружбу между армянами и турками, которая существовала веками. Малумян считает, что для цивилизованных существ ни бомба, ни револьвер не могут быть средством самовыражения, что надо для этого пользоваться речью. Это верно, как верно то, что мы, армяне, как цивилизованные существа, вот уже 60 лет пользуемся речью, говоря о геноциде. В то время, когда г-н Малумян писал свою статью, представитель нашего института стоял у дверей турецкого посольства в Бонне и умолял посла принять его. Никакого ответа. Затем к турецким дипломатам стали обращаться западные общественные и политические деятели. Никакого ответа. Наши попытки пользоваться речью продолжались до тех пор, пока министр иностранных дел Турции не заявил официально, что с армянами говорить не о чем, что армянский геноцид придумали сами армяне, а на самом деле это армяне подвергли турок геноциду.

Зато вместо официальной Турции в друзья к армянам записываются турецкие коммунисты. А. Малумян в своей статье пишет: «Ни один турок – ни один, ни левый, ни правый, – не признал за 68 лет факта уничтожения армян». Это неверно. Турецкая коммунистическая партия всегда признавала и осуждала геноцид армян. Об этом 20 лет тому назад в Москве объявил Назым Хикмет, а несколько месяцев тому назад ЦК компартии Турции заявил, что геноцид армян есть самая позорная страница истории Турции. Это заявление было опубликовано в турецкой газете, а затем перепечатано всеми зарубежными армянскими газетами. И не только турецкие, но и коммунисты многих стран мира вместе с социалистами публично осуждают Турцию за геноцид армян, и это тянет армянскую диаспору влево.

Особую позицию в этом вопросе занимает Советский Союз. Недавно редактор турецкой газеты «Миллиет» Пиран встретился с заведующим отделом Ближнего

Востока МИД СССР Софранчуком и имел с ним беседу, в том числе и об армянском вопросе. На этой беседе стоит остановиться.

Всем известно, что советские республики не имеют никакой самостоятельности и, как в известном анекдоте, колеблются вместе с генеральной линией Москвы. Если сегодня центральное московское правительство чудом решит, скажем, децентрализовать промышленность или прекратить преследование инакомыслящих, а республиканское правительство воспротивится этому, то это бестолковое правительство будет немедленно заменено новым. И все же среди 15 советских республик есть одна, которой дозволено в одном вопросе иметь собственное, отличное от Москвы, мнение. Эта республика – Армения, а вопрос этот – геноцид армян. Об этом и говорил турецкий журналист с представителем министерства иностранных дел СССР.

Эта беседа была пощечиной армянам. Отвечая на вопросы журналиста Пирана, Софранчук высказал следующие соображения. Советский Союз защищает не террористов, а национально-освободительные движения, как, например, Организацию Освобождения Палестины или Ирландскую Республиканскую Армию. Армянских террористов Советский Союз не поддерживает, поскольку они индивидуальные террористы, а не представители освободительной борьбы. Советские армяне имеют свое суверенное государство и в освободительной борьбе не нуждаются. Советский Союз никогда не осуждал Турцию за геноцид армян и даже слова такого никогда не употреблял. Если в Армении интеллигенция говорит о геноциде, то это потому, что армяне – чувствительный народ и имеют собственное достоинство. Но обращать на них серьезного внимания не следует, поскольку важны лишь официальные заявления советского правительства, в которых Турция в геноциде никогда не обвинялась. А вот англичане и французы не раз осуждали Энвер-Пашу за геноцид

армян. Вот сущность ответов Софранчука турецкому журналисту.

Как же оценить эти ответы? В Армении стоит огромный монумент жертвам геноцида армян. Министр иностранных дел Армении проф. Джон Киракосян издал несколько книг по геноциду армян. Академия наук Армянской ССР опубликовала сборник документов по геноциду армян. В 1975 году «Правда» опубликовала статью президента АН Армянской ССР В. Амбарцумяна о геноциде армян. Она была приурочена к 60-летию геноцида. Все это делалось и делается с позволения Москвы, и в этом вопросе Армению трудно обвинить в диссидентстве. Именно поэтому армянам всегда казалось, что советское правительство официально осуждает геноцид армян, раз на государственные средства строятся памятники и издаются книги. А теперь вот тов. Софранчук пояснил, что это чувствительным интеллигентам Армении в руки дали игрушку, чтобы утихомирить их страсти. Но обращать на это серьезного внимания не надо.

И Софранчук не врал. Советский Союз никогда не поддерживал и не будет поддерживать армян в их анти-турецкой борьбе. С Турцией Советский Союз ведет такую большую и тонкую политическую игру, что армяне со своим «вопросом» будут ему только помехой в этой игре. Достаточно вспомнить, что, как только под давлением греческой общественности США осудили вторжение турецких войск на Кипр, тогдашний премьер-министр Турции Эджевит вылетел в Москву. Достаточно почитать корреспонденции тов. Уголькова из АПН, чтобы понять, чего от Турции хочет Советский Союз. В осуществлении его стремлений армяне могут сыграть только отрицательную роль.

Если когда-нибудь Советский Союз захочет восстановить границы Российской Империи, то сделает это он с помощью трех миллионов вооруженных курдов, которые проживают на территории Западной Армении, а не

с помощью армян, которых на этих территориях нет. И если ему удастся восстановить эти границы, то вся Армения, подобно Карабаху и Нахичевани, станет автономной областью в Курдской Советской Социалистической Республике. Этому учит нас горький исторический опыт, с которым армяне не всегда считаются. И в огонь этого недомыслия обильно подливают масла те (в частности, и Малумян), кто считает, что Советский Союз заинтересован в борьбе армян против Турции и даже помогает им в этом. Это очень опасная ошибка, поскольку всякое революционное движение, а тем более террористическая организация, заинтересовано в поддержке одной из великих держав, да еще такой, как СССР, который без конгрессов, парламентов и кнестов может давать оружие кому захочет и сколько захочет. Эта ложь делает армян просоветски настроенными, и очень хотелось бы, чтобы русскоязычный читатель узнал об этом.

Теперь о террористах. Характеризуя армянские террористические организации, А. Малумян пишет: «...Совершенно немыслимо искать исторических оправданий мести, выливающейся в терроризм спустя 68 лет. Но именно это и делают армянские террористические организации от „Тайной армии Армении“ до „Организации 9 июня“, не считая разных мелких групп». В этой фразе есть много неточностей. Ни одна из армянских террористических организаций не ставила себе целью месть. Все они заявляли, что хотят привлечь внимание международной общественности к нерешенности армянского вопроса в смысле осуждения геноцида. В перечислении террористических организаций Малумян назвал «Тайную армию Армении», судя по всему имея в виду «Тайную Армию Освобождения Армении». Эта организация – не только самая мелкая, но и самая мерзкая организация, ничего общего не имеющая с армянским вопросом. Она же и выступает под названием различных «дат», которые являются датами ареста ее чле-

нов. Эта организация родилась в палестинских лагерях и питается от Каддафи. Свою популярность она приобрела с помощью обыкновенной лжи и дезинформации. Чтобы завоевать симпатию армянского народа, она взяла на себя ответственность за убийства турецких дипломатов, ни одного из которых она не убивала. Она лишь взрывала бомбы в Орли, на улицах Швейцарии, перед кинотеатрами и в других общественных местах. Ее жертвы – лишь мирные жители, а ее цель – создание всеобщего хаоса. «Революционные дела» этих подонков заключаются в том, что они подкладывают бомбы куда попало: в камеры хранения, в мусорные ящики и в автомобили. По нашим временам, такой «революционной» деятельностью могут заниматься чуть не дети. Вот этих, очень возможно, защищает Советский Союз, но не для решения «армянского вопроса», а ЗА ТОТ ХАОС, КОТОРЫЙ ОНИ СЕЮТ В МИРЕ.

Что же касается самой крупной организации – «Армии Справедливости», или «Армянской Революционной Армии», – которая совершила все «серьезные» террористические акты, то ее удары направлены исключительно на турецкие объекты, и их главное требование: признание геноцида армян. Эта организация не отказывается также от идеи независимости, и ее не только не поддерживает Советский Союз, но он с ужасом следит за ее деятельностью, прекрасно понимая, что, как только Турция признает геноцид армян, удары этой организации изменят свое направление. Особый переполох вызвало среди советских «гебешников» убийство турецкого консула в Болгарии, после которого террористу удалось скрыться. Кто-то, а КГБ прекрасно понимает, что убивший в Софии завтра и до Москвы может добраться.

А. Малумян пишет, что никогда эти «мстители» (их называют мстителями ввиду неправильного перевода армянского слова «справедливое осуждение») не возмущались по поводу арестов соотечественников в Советском Союзе. Это уже совсем неверно. По этому поводу

«Армия Справедливости» не только сделала массу заявлений, не только организовала массу демонстраций в защиту НОП (которая, кстати, расшифровывается не как освободительная, а как объединенная партия*), но и организовала распространение листовок в защиту Паруйра Айрикяна (руководителя НОП) в самом Ереване на площади Ленина. Просто на таких мирных демонстрациях не очень уместно заявлять, что демонстранты – еще и террористы. Если бы г-н Малумян читал армянские газеты, он это все знал бы не хуже нас.

Что же касается последствий, то да, они могут быть ужасными, как в моральном, так и в политическом плане. Наш институт делает все возможное и невозможное, чтобы армяне прекратили эту форму борьбы и снова взялись за мирные средства. Но единственное, чего мы добились, – это того, что нас называют трусами и турецкими шпионами. К сожалению, в нашем мире бомбы и пистолеты ценятся выше, чем членораздельная речь. Недавно президент Франции Миттеран публично осудил геноцид армян. То же самое сделали правительства Австралии и Канады. Организация Объединенных Наций обсудила проблему армянского геноцида и то же самое собирается сделать Европейский Парламент. Кандидат в президенты США Мондейл не только осудил геноцид армян, но и обещал, придя к власти, поднять этот вопрос на государственный уровень. Было ли такое за 60 мирных лет? Армянские террористы все это, не без основания, приписывают себе. Да только ли армяне? Не с помощью ли бомб, бессовестно взрывааемых в автобусах и в синагогах, Арафат добился мирового признания? Не после ли убийства израильских спортсменов этот «палестинский освободитель» поднялся на трибуну ООН и, не снимая с пояса пистолета, произносил речи, вызывая восторг торжествующей толпы? И это ли не

* Это ошибка переводчика и редакции, на которую нам одновременно указал и А. Малумян. – Р е д.

позор нашего времени? Но что делать, если без террора армяне находят поддержку только у коммунистов, что не меняет сути дела, ибо все коммунисты мира – потенциальные террористы.

Мы будем очень благодарны редакции «Континента», если она опубликует это наше дополнение к очень полезной статье Армана Малумяна «Армянский вопрос».

От редакции: Отдавая должное критическим замечаниям Эдуарда Оганесяна, мы, тем не менее, считаем, что Арман Малумян прав в главном: Советский Союз, так или иначе, поддерживает все группировки международного терроризма, стремится к дестабилизации всех стран НАТО, и ни армянский терроризм, ни Турция не составляют исключения.

Дорогой и глубокоуважаемый
Владимир Емельянович!

Прежде всего – поздравляю, сердечно и восхищенно: 40 книг «Континента»! Каких это стоило трудов, сколько нужно было упорства, преданности делу! Заслуженно Вы можете сказать: «Ehedi monumentum»!

В русской культуре журнал Ваш уже многое значил – а с годами, надеюсь, будет значить еще больше. Благодарю Вас, что создали его.

27.07.84

Игорь Чиннов

ПОДПИСКА НА 1985 ГОД

«СТРЕЛЕЦ»

Иллюстрированный ежемесячник литературы, искусства и общественно-политической мысли.

Главный редактор – Александр ГЛЕЗЕР.

На страницах журнала в 1984 году публиковалась проза Василия Аксенова, Юза Алешковского, Филиппа Бермана, Владимира Войновича, Юрия Гальперина, Владимира Максимова, Юрия Мамлеева, Юрия Милославского, Евгения Козловского, Андрея Платонова, Льва Наврозова, Сергея Юрьенена и др.; поэзия Дмитрия Бобышева, Натальи Горбаневской, Виктора Кривулина, Юрия Кублановского, Льва Лосева, Александра Радашкевича, Сергея Петруниса, Елены Шварц и др.; воспоминания Эрнста Неизвестного, Оскара Рабина, Михаила Шемякина, Дональда Мечика, Вячеслава Сысоева; интервью с Александром Солженицыным, Владимиром Максимовым, Оскаром Рабиным, Юрием Купером, Юрием Милославским, Сергеем Юрьененом, Олегом Целковым.

В разделе «Литературный архив» публиковались неизвестные и малоизвестные произведения Алексея Ремизова, Анатолия Мариенгофа, Николая Ветлугина.

В разделе «Изобразительное искусство» помещались статьи о творчестве русских художников и обзоры выставок.

В разделах «Кино» и «Театр» помещались статьи и рецензии о творчестве Андрея Тарковского и рецензии на пьесы русских современных авторов.

В разделе «Литературная критика» широко освещается творчество русских поэтов и прозаиков – как эмигрантов, так и живущих в СССР.

В разделе «Общественно-политическая мысль» публиковались статьи о разбазаривании коллекции «Эрмитажа» (продаже на Запад бесценных произведений искусства); о становлении и развитии советской цензуры.

В 1985 г. в «Стрельце» по-прежнему будут широко представлены поэзия, проза и неофициальное русское искусство.

Интересные произведения будут публиковаться в разделе «Литературный архив», расширяется отдел литературной критики.

Стоимость годовой подписки с пересылкой за счет редакции – 36 долларов или 336 фр. франков.

Для лиц, подписавшихся до 10 декабря 1984 г., устанавливается льготная стоимость – 30 долларов или 250 фр. франков.

Заказы и чеки направлять по адресу:

Alexander GLEZER, 286 Barrow St.,
Jersey City, N. J. 07302, USA

или:

Alexandre GLEZER, Chateau du Moulin de Senlis,
91230 Montgeron, France

Запад — Восток

Николас Бетелл

СОВЕТСКАЯ ДИВЕРСИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Что такое «диверсия»? Что такое «враждебная деятельность», направленная на «дестабилизацию»?

Сегодня две группы европейских наций находятся в состоянии конфликта. Девять стран Европейского Сообщества – члены НАТО, десятая, Ирландия, нейтральна в военном отношении, но политически принадлежит к Западной Европе. А Советский Союз держит власть над странами Варшавского договора.

Ситуация крайне опасна. Мы предпочитаем разрядку и надеемся со временем достичь ее, но пока наши усилия чаще всего остаются бесплодными. Тому есть ряд причин: борьба за влияние в странах Третьего мира, недовольство разделом Европы, противостояние двух политических систем.

Политический плюрализм, господствующий в Западной Европе, создает массу сложностей. Мы не монолитное сообщество: мы признаём право наших идеологических противников на политическую деятельность, даже их право прийти к власти; мы признаём права тех, кто в наших странах настроен антизападно или даже прямо выступает в поддержку СССР – нашего политического противника. Это меньшинство, поддерживающее Советский Союз, представлено в большинстве парламентов своих стран и в Европейском парламенте.

Советский блок может свободно распространять свою идеологию в Западной Европе и совершенно от-

крыто действовать себе на пользу. Но на его территории разрешена только его, марксистско-ленинская пропаганда.

Московское радио вещает на всю Западную Европу на разных языках, его передачи не глушатся, не то что передачи с Запада на Восток. Советская пресса широко доступна на территории западных стран – только в английских киосках можно купить 22 советских газеты и журнала. Западная пресса часто публикует статьи и письма советских официальных лиц, давая место точке зрения советского правительства. Ни на что подобное Запад не имеет права в странах советского блока.

Советские дипломаты в Западной Европе спокойно завязывают личные отношения с влиятельными политическими и общественными деятелями, свободно контактируют с компартиями и другими левыми группировками, готовыми выполнять советские поручения.

Советская пропаганда, обращенная вовне, ставит целью возбуждать общественное мнение западных стран против их правительств: она изображает страны НАТО как агрессоров, их лидеров – как «поджигателей войны», советскую же экспансию объявляет мифом и всякую критику по адресу СССР клеймит как «антисоветчину» и «вмешательство во внутренние дела Советского Союза». Но, поскольку эта враждебная пропаганда разворачивается открыто и публично, ее все же не следует рассматривать как диверсию: она является частью сложных отношений между разными странами. Взаимные открытые попытки бросить вызов противнику по всему комплексу проблем современного мира совместимы с сохранением дипломатических отношений и не приводят к вооруженному конфликту. Диверсией можно назвать лишь тайную, незаконную часть деятельности, направленной на дестабилизацию.

Советский Союз никогда и нигде не заявлял о своей открытой поддержке терроризма – поддерживает он «национально-освободительные движения», поощряя их прибегать к насилию в борьбе против колониализма и иностранной оккупации. Представитель Организации Освобождения Палестины заявил в 1979 году: «Они (СССР) обеспечивают нам полную поддержку: дипломатическую, моральную, в области образования, – они даже принимают наших бойцов в свои военные академии». Он объявил также, что ООП получает военную технику из Советского Союза.

Точно так же Советский Союз поддерживает Африканский Национальный Конгресс и Африканский Союз Народа Зимбабве. В эту поддержку входит снабжение вооружением и пропагандными материалами. По словам Брежнева, сказанным на XXV съезде КПСС, вся эта военно-пропагандная поддержка производится согласно «революционной совести и коммунистическим убеждениям».

У нас, в Западной Европе, одни рассматривают членов вышеназванных и иных «национально-освободительных организаций» как террористов, другие – как «борцов за свободу». Нередко трудно провести границу, за которой борьба за свободу переходит в терроризм, и столь же трудно отличить советскую политику поддержки «национально-освободительных движений» от прямой помощи террористам.

Возьмем хотя бы антибританское движение в Северной Ирландии. Советская пропаганда представляет его как национально-освободительное движение против английского империализма с его лозунгом «разделяй и властвуй». В феврале 1983 года «Известия» обвинили протестантских экстремистов в «геноциде католиков», которые-де служат оккупантам «живыми

мишенями». Но о насилиях, совершенных Ирландской Республиканской Армией, советская печать молчит.

В марте того же года ТАСС обвинил Великобританию в нежелании решить проблему Северной Ирландии политическим путем и в распространении на Северную Ирландию колониальной практики террора. Корреспондент «Правды» в Лондоне Овчинников в своей недавней книге обвинил Англию в том, что она использует Ольстер как военный полигон: по его заявлению, британские вооруженные силы проходят там «тренировку» для подавления «гражданских волнений», которые могут вспыхнуть в самой Англии.

Международные организации, находящиеся под советским контролем, не устают бить в набат по поводу положения в Северной Ирландии. В мае 1981 года, когда в результате голодовки умер Бобби Сандс, Всемирный Совет Мира заклеил действия британской армии. В ноябре 1980 года, во время первой голодовки ирландских политзаключенных, Всемирная Федерация Профсоюзов опубликовала и широко распространила их лозунги на десяти языках мира.

Но политической и моральной поддержкой дело не ограничивается.

В октябре 1971 года в Амстердаме было задержано оружие, купленное ирландскими террористами в Чехословакии. В ноябре 1977 года в Антверпене был обнаружен огромный склад оружия из восточноевропейских стран, предназначенного для переправки в Дублин, а оттуда – в Ольстер. В Северной Ирландии много раз обнаруживалось советское и восточноевропейское оружие, хотя большую часть вооружения ИРА покупает на ближневосточном свободном рынке.

Прямых доказательств связи СССР с ИРА нет, но сомневаться в – по крайней мере – морально-политической и пропагандной поддержке не приходится. В сентябре 1983 года трое советских служащих были высланы из Дублина за «недопустимую деятельность»: они тайно

встречались с представителями революционных группировок Северной Ирландии.

Гораздо более очевидная связь СССР с ООП в значительной степени осуществляется на территории Западной Европы. В 1973 году палестинцы захватили на австрийской территории поезд с еврейскими эмигрантами из СССР. Террористы проникли в Австрию из Чехословакии. Границу они могли пересечь, разумеется, лишь с разрешения чехословацких властей.

Некоторые хорошо известные западноевропейские террористы часто посещают страны советского блока. При аресте лидера «Красных Бригад» Ренато Курцио в 1974 году обнаружилось, что на обоих его паспортах: настоящем и поддельном – были чехословацкие визы. В апреле 1978 года суд в Турине доказал, что одна из групп «Красных Бригад» прошла боевое обучение в Чехословакии. Через месяц после этого римский журнал «Иль Сеттиманале» опубликовал подробные данные об обучении итальянских и западногерманских террористов в Чехословакии, близ Карловых Вар. Эти «студенты» обучались саботажу, обращению с взрывчаткой, подделке документов.

В 70-е годы существовала тесная связь между западногерманскими и палестинскими террористами. Среди западногерманских террористов, проходивших в 1976 году обучение в военном лагере ООП в Иордании, были, в частности, Андреас Баадер и Ульрика Майнхоф. Целый ряд террористических актов, совершенных в Европе, указывает на эту тесную связь: нападение на ОПЕК в Вене в декабре 1975 года, угон французского пассажирского самолета в Уганду шестью месяцами позже, захват немецкого самолета в октябре 1977 года.

Советская помощь палестинцам очевидна, но, сверх того, через них Советский Союз помогает и разнообразным террористическим группировкам в Италии и ФРГ. Известно также, что некоторые западногерманские террористы проходили обучение в тренировочных лаге-

рях на территории Южного Йемена, где служат советские военные инструкторы.

Если такие сведения покрыты дымкой таинственности и выплывают редко, то в остальном ни СССР, ни его союзники своей поддержки не скрывают и даже гордятся ею. В августе 1980 года «Нойес Дойчланд» писала, что более 2300 «патриотов» госпитализированы за последнее время в ГДР, получив ранения в операциях на фронтах «национально-освободительной борьбы».

В Европе нет недостатка в людях, которые сочувствуют этим раненым «в боях за свободу». Они, однако, не замечают, что советский блок весьма односторонне толкует понятие «национально-освободительной борьбы». Сюда не входят, скажем, движения в Польше или Афганистане – «национально-освободительными» признаны лишь те движения, которые приносят советскому блоку политическую выгоду.

Кто сочувствует в Западной Европе этим «революционным движениям»? В первую очередь те, кто отвергает наши демократические институты и хотел бы насильственно уничтожить нашу политическую систему. Прямых доказательств советской материальной помощи западноевропейским террористическим группам, возможно, нет – возможно также, что они есть, но из дипломатических соображений не стали достоянием гласности. В любом случае ясно, что конфликты, разжигаемые Советским Союзом, ударяют и по странам Западной Европы.

БОЛГАРСКИЕ «ЗОНТИКИ» И БОЛГАРСКИЕ ПУЛИ

Болгарские органы участвуют в террористической деятельности за пределами своей страны активнее, чем госбезопасность любого другого государства советского блока. Тому есть прямые доказательства.

В июле 1973 года пропал без вести болгарский политический беженец в Дании Борис Арнов. Вскоре после этого оказалось, что он похищен и увезен в Болгарию. Софийский суд приговорил его к 15 годам за «антигосударственную деятельность». Через несколько месяцев после приговора он умер в тюрьме. Газета «Народна младеж» опубликовала статью с грозным предупреждением, что такая участь ожидает всякого «изменника Родине».

В августе 1978 года другой болгарский беженец, журналист Владимир Костов, выходил вместе со своей женой из парижского метро, как вдруг почувствовал острую боль в бедре. Несколько дней он пролежал с высокой температурой, но, в конце концов, поправился.

Между тем, десять дней спустя Георгий Марков, работавший, как и Костов, в болгарской редакции Радио Свободная Европа, но в Лондоне, проходя по улице, столь же внезапно почувствовал резкую боль в ноге. Он успел увидеть человека с зонтиком, по виду не англичанина, убегавшего от него. Это было 7 сентября. В тот же вечер Марков тяжело заболел, на следующий день был госпитализирован и через два дня умер. Вскрытие показало, что на правом бедре, вокруг подозрительной царапины 2 мм в диаметре, распространилось сильное воспаление и что под кожей находится металлический шарик. Одновременно результаты вскрытия показали, что Марков был отравлен.

Узнав об этом, Владимир Костов вспомнил свое недавнее происшествие и обратился в больницу. С помощью рентгена в тканях его бедра также был обнаружен кусочек металла. Парижские хирурги в присутствии английских следователей удалили 2 кв. см ткани. Данные микроскопического анализа подтвердили тождественность металлических объектов, извлеченных из тела Маркова и из тканей бедра Костова. Костов, по счастью, был ранен не смертельно. Оба были отравлены одним и тем же ядом, точный состав которого ни

французские, ни английские ученые не могли установить. Предположительно, это был рицин – очень опасный и малоизученный яд.

Ни французская, ни английская полиция не нашли убийцу Маркова и того, кто покушался на жизнь Костова. Но обе они отметили, что покушения произошли одно за другим с использованием одного и того же технически совершенного оружия. И Георгий Марков, и Владимир Костов хорошо известны как радиожурналисты, решительно разоблачающие положение в Болгарии, – болгарские власти были, несомненно, заинтересованы в том, чтобы заставить их замолчать. К тому же, никакие эмигрантские группы или частные лица (если принять «сведение счетов» как одну из гипотез) не в состоянии произвести столь совершенное в техническом и химическом отношении оружие.

В Софию, судя по всему, ведут и нити покушения на жизнь Иоанна-Павла II.

Я не претендую на то, чтобы внести полную ясность в вопрос об этом преступлении, которое в настоящее время расследуется итальянскими властями*.

Али Агджа, совершивший покушение на Папу 13 мая 1981 года, заявил, что впервые план покушения обсуждался в Софии, в гостинице «София», где его соотечественник, турок Бекир Джеленк, предложил ему 1,7 млн. долларов за убийство Папы. Агджа опознал на фотографиях трех болгарских представителей в Риме, дававших ему инструкции по осуществлению покушения, в том числе административного директора

* В июне 1984 года, когда эта статья была уже написана, переведена и готовилась к сдаче в набор, был опубликован доклад следователя по делу о покушении на Иоанна-Павла II, полностью подтверждающий версию о руководстве покушением из Болгарии. Более того, следователь нашел доказательства того, что общее руководство осуществлялось «весьма высокопоставленным в Восточной Европе лицом». – Р е д.

римского представительства болгарских авиалиний Сергея Антонова.

Приговоренный в 1979 году в Турции за убийство редактора либеральной газеты, Али Агджа вскоре сумел бежать из тюрьмы. В июле-августе 1980 года он провел 50 дней в Софии, а затем, снабженный поддельными документами, путешествовал по Западной Европе, останавливаясь в лучших отелях и не стесняя себя в средствах.

Арест Сергея Антонова в ноябре 1982 года и гласные подозрения относительно участия болгарских властей в заговоре на жизнь Папы породили серьезный кризис в итальянско-болгарских отношениях, затронув также отношения Италии с СССР.

20 декабря 1982 года министр обороны Италии Лагорио заявил в парламенте, что «некоторые иностранные секретные службы» оказывают помощь итальянским террористам. Именно в связи с этим, сказал он, за два предыдущих года из Италии был выслан ряд иностранных дипломатов (10 представителей разных восточноевропейских стран, 21 – Ливии).

Расследование, проводимое в Италии, также показало, что весьма высока вероятность болгарского участия в европейской контрабанде наркотиков и оружия. Не исключено, что болгарское правительство поощряет транзит контрабанды через Болгарию и даже использует контрабандные операции как валютный источник. Так, на Бекира Джеленка, связавшего Агджу с болгарскими органами, и в Италии, и в Турции объявлен розыск по обвинению в крупных контрабандных операциях.

Мы не можем вынести окончательное суждение по делу о покушении на Иоанна-Павла II, пока дело не рассмотрено итальянским судом. Однако европейским странам уже сейчас следовало бы извлечь политические выводы из этой истории.

СССР ищет всяческие пути влияния на западное общественное мнение, не пренебрегая при этом легальными возможностями, весьма широкими на Западе. У нас свободно продаются советские книги и журналы, из Москвы ведутся передачи на любых языках, дипломатические представители обращаются к нашим правительствам, советские политические, общественные, культурные деятели и журналисты выступают в нашей печати, по радио и телевидению. Они имеют полную возможность свободно заявлять, что «Першинги» – абсолютное зло, а СС-20 – оборонительная мера, что НАТО – агрессивный союз, а Организация Варшавского Договора создана в мирных целях. Они столь же свободно могут распространять у нас свои взгляды, как мы свои – ... у нас же.

Но, сверх широких легальных возможностей, советская пропаганда и дезинформация использует и многочисленные недозволенные приемы.

С середины 70-х годов, когда «разрядка» пошла на убыль, советские органы предприняли кампанию «активных мер», включающих подлоги, дезинформацию и всякого рода засекреченные действия. Например, по определенным адресам отправляются поддельные документы, «свидетельствующие» об агрессивных намерениях Запада или о его вмешательстве во внутренние дела других стран. Эти документы обычно приходят по почте, без обратного адреса, а анонимность источника объясняется в сопровождающем письме ссылкой на «опасность», грозящую автору подобного разоблачения.

На некоторых документах стоят подписи военных или государственных деятелей, часто – пометка «совершенно секретно». Это придает подделкам дополнительную ценность. Сфабрикованы они, в большинстве случаев, с исключительным мастерством: подписи выгля-

дят подлинными, используется реально существующий код, с величайшей тщательностью воспроизведены мельчайшие детали подлинных официальных бумаг. Получая такие документы, локальные политические группировки или органы печати, не имея в своем распоряжении высококвалифицированных экспертов, легко попадают на удочку.

В 1982 году в Афинах появилось такое «письмо» якобы от заместителя государственного секретаря США Уильяма Кларка американскому послу в Греции. В «письме» содержались намеки на возможный военный переворот в Греции с целью сохранения американских военных баз. Правда, греческие газеты не опубликовали это письмо, но оно широко ходило среди греческих политических деятелей, в особенности среди стоящих у власти социалистов, и нанесло ущерб отношениям между Грецией и США.

Другое «письмо» было сфабриковано от имени верховного командования НАТО. В нем говорилось о возможности приведения в боевую готовность американских ядерных сил в Европе и о желательности нанесения первыми ядерного удара по противнику. Уже после того, как поддельность документа была установлена, он был, тем не менее, опубликован в бельгийском журнале «Ньеве» и в люксембургской коммунистической газете «Цайтунг» в апреле 1982 года.

Во время Фолклендского кризиса в кругах дипломатического корпуса в Вашингтоне были распушены ложные сведения о том, что США оказывают Англии военную поддержку и собираются по окончании войны создать на Фолклендских островах военную базу для контроля над южноамериканским континентом.

Годом позже в голландской газете «Телеграф» была получена магнитофонная пленка со сфабрикованной записью «телефонного разговора» между премьер-министром Англии Маргарет Тэтчер и президентом США Рональдом Рейганом, дискредитирующего поли-

тику обоих государственных лидеров. В марте 1983 года в итальянской газете «Сетте Джорни» появилось «письмо» за подписью лидера американских профсоюзов Ирвинга Брауна, адресованное итальянскому синдикалисту Луиджи Скриччолло. Скриччолло в это время был арестован по обвинению в сотрудничестве с болгарской разведкой, а в письме говорилось о том, что ЦРУ через Скриччолло оказывало помощь «Солидарности». В том же самом месяце официальный представитель Ганы заявил на пресс-конференции, что посольство ФРГ в Аккре составило доклад, согласно которому ЦРУ планирует свержение правительства Ганы. Посольство и правительство ФРГ опровергли эту выдумку, но читатели ганской прессы уже ознакомились с содержанием «доклада» и приняли его всерьез.

Другие подделки, всплывавшие на поверхность за последнее время, включают, например, «письмо» президента Рейгана королю Испании (ноябрь 1981) с призывом «сокрушить» тех, кто противится вступлению Испании в Европейское Экономическое Сообщество. Знаменательна также повторная публикация в Лондоне в октябре 1980 года т. н. «сверхсекретных документов американского командования в Европе», озаглавленных «Гибель Европы».

В апреле 1982 года министр юстиции Дании объявил, что советская разведка использовала датского журналиста Арне Петерсона для воздействия на общественное мнение страны. В частности, он организовал публикацию в датской печати призывов к созданию северной безъядерной зоны, подписанных видными деятелями культуры Дании. Он также напечатал под своим именем памфлет, написанный сотрудниками советского посольства, — оно же оплатило и расходы на издание. В памфлете содержались многочисленные оскорбительные выпады по адресу премьер-министра Англии Маргарет Тэтчер, а также «сообщалось», что взгляды британского министра иностранных дел лорда

Каррингтона на восточную политику отличаются от линии премьер-министра.

Датское правительство предало гласности сведения о том, что Петерсон получал от советского посольства спиртные напитки, сигареты и другие подарки, ему устраивали бесплатные поездки в СССР и, наконец, оплачивали все издательские расходы на выгодные Советскому Союзу публикации. По датским законам, Петерсона нельзя было подвергнуть судебному преследованию, так как его действия не были прямо направлены против интересов Дании. Тем не менее, датское правительство предало гласности все факты, связанные с его деятельностью, и объявило персоной нон грата сотрудника советского посольства, осуществлявшего контакты с Петерсоном.

Большую роль в манипуляции западным общественным мнением играют просоветские организации. Я говорю не о той легальной и открытой поддержке, которую Советский Союз и его союзники оказывают политическим (коммунистическим и иным) партиям. Речь идет о тех случаях, когда советская помощь проводится тайно и когда политическая и особенно финансовая поддержка устанавливает советский контроль над организациями, внешне «аполитичными».

Одна из самых известных организаций такого рода – Всемирный Совет Мира. Его резиденция с 1968 года находится в Хельсинки. Вначале, однако, он был создан и размещался в Париже, но в 1951 году французское правительство запретило его пребывание на территории страны, считая его «пятой колонной». Резиденция ВСМ была перемещена в Прагу, потом в Вену, но и австрийское правительство запретило его деятельность.

Всемирный Совет Мира имеет отделения в 135 странах, публикует журналы на многочисленных языках мира. В его исполком входят члены национальных парламентов всех десяти стран ЕЭС и два члена Европейского парламента (прежнего созыва; статья написана до

июньских выборов 1984 года. – Р е д.). ВСМ декларировал себя как неправительственную организацию, существующую на средства частных фондов, но фактически его деятельность финансируется и контролируется советским правительством.

В феврале 1981 года ВСМ обратился в комиссию по неправительственным организациям ООН, требуя для себя консультативного статуса при ООН. Это требование было отклонено, так как представители ВСМ не сумели полностью показать источники его немалых доходов. Члены комиссии отметили, что ВСМ пытался скрыть большую финансовую поддержку, которую он получает из правительственных ресурсов.

Председатель ВСМ Рамеш Чандра в декабре 1976 года заявил, что разрядка не означает прекращения борьбы с империализмом – наоборот, она означает усиление этой борьбы, но с применением новых форм. В 1977 году Чандра был награжден орденом Ленина – одной из высших правительственных наград в СССР.

Всемирный Совет Мира ни разу не отошел от линии прямого следования советской внешней политике. Эта организация всегда выступала против НАТО и никогда – против Варшавского договора. Она неизменно: во время венгерской революции (1956), кубинского кризиса (1962), вторжения в Чехословакию (1968) и в Афганистан (1979) – поддерживала советскую точку зрения.

ШПИОНЫ «В ШТАТСКОМ»

Советские журналисты в Западной Европе занимаются не одной своей прямой деятельностью. Они не только служат советской пропаганде и дезинформируют советского читателя относительно положения дел в странах, где являются корреспондентами. Кое-кто из советских журналистов выслан из Западной Европы за

незаконное вмешательство в местную политическую жизнь.

В апреле 1983 года швейцарское правительство закрыло бернское бюро АПН и выслало его директора. Двое швейцарских граждан, служащих бюро, по поручению своего начальства вмешивались в действия швейцарских пацифистов, пытаясь разжечь молодежь. АПН оказало материальную помощь при организации массовой демонстрации в Берне в декабре 1981 года. Сотрудники бернского бюро разбрасывали листовки, отпечатанные в агентстве, и даже принимали участие в военизированных тренировках демонстрантов. В июле 1982 года АПН организовало волнения во время сессии швейцарского парламента.

По заявлению швейцарского правительства, бернское бюро АПН стало активным центром тайной дезинформации и пропаганды, направляемой из Москвы. Его деятельность нарушала суверенитет Швейцарии.

С ухудшением отношений между Востоком и Западом усилились советские попытки получить доступ к информации о западных технических достижениях. Советская промышленность часто имитирует западные образцы – от фотоаппаратов «Лейка» до самолета «Конкорд». В последнее время советская промышленность пыталась компенсировать свое отставание за счет сбора информации о западных заводах, университетах и научно-исследовательских центрах.

В 1983 году резко возросло число советских представителей, высланных из западноевропейских стран. С января по сентябрь было выслано 68 человек: 47 из Франции, пять из ФРГ, пять из Англии, четыре из Италии, три из Ирландии, двое из Бельгии и по одному из Дании и Голландии. Большинство высланных – дипломаты, но есть и сотрудники торговых фирм, Аэрофлота, журналисты, двое служащих торгового флота, служащие ЮНЕСКО и Международного Совета по пшенице и даже жена дипломата.

Высылка из Франции 47 советских дипломатов и других советских представителей в апреле 1983 года была самой значительной после изгнания 105 советских представителей из Великобритании в начале 70-х годов. За предыдущие двадцать лет из Франции было выслано всего 15 советских граждан.

Как заявило французское МВД, контрразведка раскрыла сеть советских агентов, занимавшихся систематическим сбором секретной информации на территории Франции, особенно военной информации. По обвинению в связях с советской разведкой арестовано несколько французских граждан.

По мнению бывшего министра внутренних дел Мишеля Понятовского (интервью парижской газете «Матен»), во Франции на КГБ работает более десяти тысяч человек, часть которых даже не сознаёт, что стала жертвой манипуляции. Понятовский считает, что треть советского дипломатического корпуса укомплектована сотрудниками КГБ, но и они, в свою очередь, – лишь треть всего числа сотрудников КГБ во Франции: остальные служат, главным образом, в «Аэрофлоте» и в «Интуристе». Общая их численность – примерно 600, и каждый управляет группой французских агентов (сознательных или бессознательных) в 15-20 человек... Главная цель их деятельности – дестабилизация.

* *
*

Читатель заметил, что все рассуждения в этой статье весьма осторожны и не выходят за рамки фактов, ставших известными. Сохраняя осторожность, мы все же не можем не прийти к некоторым выводам.

В течение последних лет, когда отношения между Востоком и Западом ухудшились, резко возросла нелояльная деятельность СССР и его союзников в странах Западной Европы. Не настаивая на том, что СССР непо-

средственно участвует в организации террористических актов, все же нельзя пройти мимо того факта, что он, по меньшей мере, не пытается сдерживать полностью зависимых от него союзников – например, Болгарию. Кроме того, поджигательный характер советских заявлений в поддержку «национально-освободительных» движений вдохновляет участников этих движений на террористические акты.

Заметим, что Запад никогда не разжигал и не поддерживал терроризм в странах Варшавского договора. Западные страны ведут там идеологическую и пропагандную работу. Некоторые западноевропейские круги поддерживают советских и восточноевропейских диссидентов, но диссиденты не используют насилия и не призывают к нему. И терроризм внутри стран Варшавского договора практически не существует.

Я хотел бы также обратить внимание на усиление советских «активных мер»: поддельные документы фабрикуются, в первую очередь, с целью поссорить между собой западных союзников и вызвать расширение пацифистских движений. Серьезное внимание следует обратить и на возрастание советского шпионажа в Западной Европе, главным образом, шпионажа в области новой техники и технологии.

Западноевропейские страны предпринимают усилия по противостоянию подрывной деятельности коммунистических стран, но эти усилия стали бы во много раз плодотворнее, будь они скоординированы. Западным странам следовало бы устраивать совместные совещания по этим проблемам на всех уровнях политической структуры. Им следовало бы также поставить вопрос о контактах с СССР в рамках ООН и других международных организаций и в рамках Конференции по безопасности в Европе.

Западная Европа должна, наконец, серьезно внушить СССР и его союзникам, что подобного рода деятельность может нанести тяжкий ущерб отноше-

ниям между Востоком и Западом и отложить возвращение к разрядке на более отдаленные времена.

Премия им. Даля 1984

Жюри премии им. Даля, рассмотрев рукописи, присланные на конкурс, решило присудить премию за 1984 год **Вадиму Делоне** (посмертно) за рукопись книги «Портреты в колючей раме».

Жюри конкурса

Возобновляется прием рукописей на конкурс 1985 г.

Рукописи можно присылать по адресам: Editeurs Réunis, 11 rue de la Montagne Ste Geneviève 75005 Paris, или:

La Pensée Russe 217 rue du Faubourg St. Honoré 75008 Paris.

Журнал «БЪДЕЩЕ»

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Маргарита Гимельштейн

ДУШИ НАШИХ ДЕТЕЙ

Словами «народ безмолвствует» кончается пушкинская трагедия из русской истории. Но так ли это было? И разве в России когда-то случилось вот что: однажды ночью один (в общем, очень неплохой человек) принес лестницу на гору – и не мог иначе: у него было двое детей, и оба учились на казенный счет, он боялся за их будущее; другой принес молоток и гвозди – принес и ушел к молодой жене, которая ждала ребенка; третий – надежда и утешение своих престарелых родителей, поставил лестницу и стал эти гвозди вбивать – что ему еще оставалось делать?

Первосвященник давно спал, Прокуратор умыл руки.

Но судьба Сына Божьего – в конце концов только воля Отца Небесного, а судьба Сына Вашего?

Как часто я слышала эти слова: «Нет иного выхода».

С. А.: «*Иначе невозможно*». Он был моим воспитанником, почти что самым любимым. Неисправимый романтик, он постоянно ходил в «походы». Под кроватью у него по понедельникам я всегда находила закопченный котелок. Он блестяще учился и еще в школе начал писать статьи по физике и биологии. Но был, что называется, «неумен среди людей».

Поступив в университет, он планировал в 5 лет окончить два факультета – физический и биологический. И мог бы это сделать. Он добивался всеми правдами и неправдами, чтобы у него до срока приняли экзамены за два года сразу. Один – физику – после долгих мытарств по инстанциям он сдал блестяще. И все. Никто

не захотел стать его куратором. Хотя, казалось бы, вот оно, *ваше* русское дарование, *вами* вскормленное, берите его. Потом он стал жаловаться на бюрократизм, на то, что на кафедрах ведется слабая научная работа – окопались карьеристы. Весной он оставил университет. А осенью ушел в армию. Полгода назад он позвонил у моих дверей.

Какая это была для меня радость! И как быстро она иссякла, когда мальчик рассказал, что вернулся из Афганистана, получив отпуск из-за двух ранений – в ногу и чуть левее и выше паха. Радовался он более всего тому, что его, раненого, успели вынести с поля боя. Если бы не вынесли – пристрелили бы свои. *Не было иного выхода* – афганцы чудовищно обращались с пленными.

Милый мой, – говорю, – а нет у тебя хотя бы легкой досады на тех, что тебя туда послали? Или хотя бы на то, что тебя поставили в такую ситуацию, при которой ты вынужден был добивать своих? А если бы это был твой самый закадычный друг, с которым ты, как сам мне рассказывал, просыпался, мокрый от росы, в одном спальном мешке? А если бы тебя ранило чуть правее и ниже, тогда тоже не было бы «досады»?

И он ответил мне снисходительно (он и в школе часто говорил со мной чуть снисходительно, например: «Что вы нюни распустили, сейчас я все улажу»): «*Но ведь другого выхода нет* – афганцы сами-то не воюют».

Ну, не смешная ли логика? Смеетесь ли вы?

Не понять вам, живущим не у нас, как, когда, какими изощренными средствами могли убедить моего мальчика, даже без подкупа – ведь не наемником он был.

Я дала ему фруктов и конфет на дорогу, поцеловала: «Не забывай, дорогой, ты сын в моем доме».

Руководитель наших археологических раскопок в Херсонесе Таврическом, показывая детям загаженный

пляжниками «Дом винодела», разбитые ими амфоры, назвал их (пляжников этих) каким-то смешным и необычным словом (точно не помню). Дети рассмеялись. А он вдруг рассвирепел: «Смеетесь?! **ЗАВТРА ОНИ ПРИДУТ К ВАМ ДОМОЙ!!!**»

В 9 классе «погорел» на дегустации невинного, в общем, напитка бессменный мой староста, опора и поддержка. Расставаясь с ним – тут уж действительно не было иного выхода: пить в закрытой школе нельзя, – я даже всплакнула.

Два года назад, на автобусном вокзале, он, совсем по-ребячьи взвизгнув, налетел, обнял меня. Нам было по пути. Он ехал навестить родителей, я – дочку на даче. Он уже был курсантом военного училища. А в то лето только-только начались польские события. Мы, конечно, очень скоро свернули на их обсуждение – мне было это очень важно. Реакция моего ребенка была однозначной: «*Как они смеют заводить свои порядки? Мы их освобождали. Туда надо послать войска*».

И ты, говорю, поедешь?

– Хоть завтра.

Знаешь ли ты, сокровище мое, некогда сопливое, что у меня там друг, первый, единственный, бесконечно дорогой. И он – против. И он первый выйдет тебе навстречу, потому что кристальной чистоты человек. И ты убьешь его. А потом убьют тебя. Мне-то, когда ты будешь уходить, что делать? Не пустить тебя? Убить? Но я так люблю тебя – пальцем никому не дам тронуть. А если ты все-таки пойдешь туда и убьешь моего друга, и вернешься живой, а потом – чем чёрт не шутит – женишься на моей дочери, будешь сыном жить в моем доме?

Вьетнамский крестьянин когда-то, отдавая сына своего монахам, говорил: «Я отдаю вам сына – верните мне его тело».

А мы?! И с «глубоким удовлетворением»?

Как, когда, с какого момента ампутуют у них, детей наших, чувство ценности жизни, их бессмертной души, их совести? Иными словами – ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА?

КОГДА ЭТО НАЧИНАЕТСЯ?

Может быть, с роддома, откуда мы берем их всегда с ранками от опрелостей, иногда и с сепсисом?

С тусклой, холодной, неудобной одежды, которую мы им шьем?

С первого посещения педиатра?

Моя дочка моим педиатром первые два месяца своей жизни считалась мальчиком – врач не замечал при осмотре ее пола. А потом она два раза лежала в больницах. Я не говорю о том, что ей не помогли – случай был не простой, – но почему она так отчаялась, так отчаялась там, что, трехлетняя, тайком пыталась сбежать – ее поймали уже у выхода. Она была серая от горя, когда я взяла ее оттуда.

С детского сада, где начинаются уже вполне всерьез инъекции политического воспитания?

С пионерского лагеря, где ваш сын марширует и салютует все лето, а вы каждую неделю возите ему продукты из города?

А повар лагеря ворует и кормит ворованными продуктами своего сына. Тот марширует и салютует в той же колонне. И не осуждайте, кстати, повара. Зарплата у него невелика, а соблазнов много. Если же ОНИ дадут ему высокую зарплату, он, того и гляди, перестанет воровать, и сын у него вырастет честный. А тогда – что ОНИ с ним сделают?

Когда вы состаритесь, когда мы состаримся, мы захотим от наших детей только одного – любви. А что мы дали им?

Книги? Одежду? Если вы живете, сохрани Господь, в Архангельской области и получаете молоко только изредка по карточкам? А каждые три года там откры-

вается новая школа для дефективных – дети не развиваются от плохого питания.

Может быть, и вы приносили вашим детям ворованные продукты? А как потом «не укради» объясняли?

Подарили ли вы Сыну Вашему самую большую радость – думать и говорить то, что он думает? Еще Кант сказал: «Человек не может знать и думать одно, а говорить и делать другое и при этом сохранить чувство радости». Вы заметили, какие они безрадостные, дети ваши?

Вы дали им образование в виде всеобуча?

Да знаете ли вы, что это такое? Когда 100% получают аттестат, а 60 из них не знают программы уже с 5 класса?

Даже мы учились иначе (регресс и деградация происходят на наших глазах, на глазах одного, еще сравнительно молодого поколения) – вспомните второгодников на «камчатке»: теперь их нет; вспомните книги в магазине на Суворовском – «Дон Кихот» с иллюстрациями Доре; да вспомните хотя бы темы сочинений – «Татьяна Ларина», – а нынче что? Дети бесконечно поднимают в сочинениях «Целину» и прокладывают БАМ.

Нет реальных знаний, нет реальных оценок, нет вообще ничего реального, ибо то, что существует на самом деле, все 10 лет в школе признается несуществующим, а то, чего и в помине нет, то прославляется беспрестанно. Самый популярный инструмент у нас – фанфары.

А если нет ничего реального, откуда возьмется чувство собственного достоинства, т. е. реальности своего существования?

Вы думаете, Сын Ваш вырастет и что-то сможет изменить? Даже если захочет, никогда не догадается, как это сделать. Я объясню, что я здесь имею в виду.

Совсем недавно в течение двух месяцев я преподавала историю в одной весьма привилегированной ленинградской школе. Через день после первого урока

меня вызвали к директору, где собственной персоной восседал Функционер Отец. Его сын пожаловался ему дома, что я на уроке прославляла американский образ жизни. Тема, я очень хорошо помню, была «Английские мануфактуры XVI века». Объясняясь, я восстановила перед Отцом цепь своих рассуждений: применение ручного труда дает низкую производительность, та приносит малые доходы, они приводят к необходимости жесточайшей эксплуатации с целью расширения производства, рабочие соответственно живут в бесконечной нужде и нищете. И для примера сейчас: – машинный труд – высокие доходы – дома и машины у рабочих на Западе. Вот это последнее и было «прославлением» (кстати, почему американского, а не шведского, скажем) образа жизни.

«Не надо этого», – сказал Функционер. – «Но ведь это, в общем-то, Маркс», – возразила я. «Все равно не надо», – поставил он точку.

Потом, наедине с директором, я сказала, что цель у меня была одна: чуть восстановить логические связи (главное в истории) в кастрированном учебнике. «Учебники писали не дураки, – ответила она мне. – Если бы логические связи не были нарушены еще в учебнике 6 класса, как в 10 классе и позднее мы смогли бы преподавать обществоведение и политическую экономию? На какой основе?»

Что делал удельный князь без среднего даже образования, когда получал в наследство сожженный город? Откуда он знал, что делать?

Но он-то знал, а ваши дети не будут. Не могут. Их мозги вывернуты наизнанку и повернуты в другом направлении. А наследство наше пострашнее.

И ПРИ ЭТОМ ОТ РОЖДЕНИЯ И ДО СМЕРТИ СВОЕЙ В АФГАНИСТАНЕ СЫН ВАШ ТВЕРДО ПОМНИТЬ БУДЕТ ОДНО – ТО, ЧТО У НЕГО БЫЛО САМОЕ СЧАСТЛИВОЕ В МИРЕ ДЕТСТВО!!!

И вот такими – завтра – дети ваши – придут к вам (и к вам тоже) домой.

Потому что и у вас есть власть имущие, а для них, власть имущих, нет мечты более сладостной, чем породить миллионы способных жить только при этой власти и ни при какой другой.

Представьте себе, что на вашей улице есть один дом, где все – от мала до велика – больны проказой. А глава дома (стыдясь болезни?) с рождения внушает домочадцам, что проказа – на самом деле, высшая форма здоровья. И в неоспоримом доказательстве этого – в доме с утра и до вечера на всю мощь гремит старый граммофон. Бравурные марши несутся по всей улице. Соседи смеются, а завтра проказа поползет из дома. (Скажем, там есть дешевый газ – вы пришли и купили.)

И если вы заразитесь все, то самым-то страшным будет в итоге только одно: все вы будете считать это высшей формой здоровья.

Нет, я не сжечь дом и уничтожить больных призываю, но я помочь хочу. В этом доме мои дети. Помогите мне. Помогите им.

И, если позволите, чуть-чуть об ЭТОМ.

Вдруг, сохрани вас Господь, ваш ребенок родился еще и евреем?

В один год с моей Иришей в доме родилось еще трое детей. Они вместе росли, вместе решили учиться – в одном классе. Вместе сдавали экзамены в школу с французским языком обучения, т. е. не обычную, чуть лучше. Ириша с 5 лет прекрасно читала. У нее даже – единственной – была резолюция зав. РОНО «Принять».

А в списках принятых ее не было. Когда мы с покойным свекром (ветераном войны) пошли выяснять – почему, завуч школы сказала нам наедине: «Вы знаете – почему. Ваш ребенок учиться здесь не будет. Мы этого не хотим». – «Вот я приведу ее первого сентября, и вы ей сами объясните это ваше «почему», – сказала я, – ибо я

не представляю, как это сделать». – «Ну, вы же не будете травмировать ребенка», – откровенно-нагло возразила она. А я ей ответила: «Она все равно от таких, как вы, здесь свое получит».

И, уходя, я плакала самыми горькими слезами на свете – слезами нереализованной страшной ярости и стыда. Я думала: «Господи, что же это? Ведь это моя девочка, свет очей моих, единственная и первая живая из родившихся у меня. Как же я допустила до этого? Как дошла до жизни такой?»

И первого сентября мой ребенок – единственный из нашего дома – пошел в другую сторону, в другую школу.

Как я дошла до жизни такой, я уже рассказывала пятерым психиатрам, десятку друзей, одному прокурору, двум следователям и одному нашему крупному журналисту – официальному борцу за правду.

Расскажу кратко и вам.

В год окончания университета я поступила на работу, воспитателем в наш университетский интернат для особо одаренных детей. В чем заключались мои обязанности: будить их два раза в неделю, укладывать два раза в неделю и в остальное время – воспитывать.

Я полюбила их сразу, как только увидела. Это была именно та самая ошеломляющая любовь с первого взгляда. И она стала фактически единственным методом и единственной формой моей воспитательской деятельности на все годы. Она уничтожила во мне все остальные чувства. (Честолюбие, скажем, или жажду каждодневного материального благополучия.) И я была счастлива, как никто. Случалось ли вам, мечталось ли, что вы приходите куда-то и все вам рады, все вас любят?

Не все там шло гладко. Я никогда не занималась там тем, что называется «антисоветской деятельностью, пропагандой», но часто, почти все время, наталкивалась на свое руководство, на конфликты с вышестоящими.

Они ничего не знали, не могли знать о сути моего общения с детьми, но просто чувствовали, что каждый день, кропотливо, я по кирпичикам разбирала в детях то, что строили они, и строила что-то свое. И единственным «строительным материалом» была моя любовь. Она была *реальностью*, поэтому беспрепятственно и безошибочно действовала против лжи, которую строили в детях ОНИ.

Я была уверена, что когда-нибудь и где-нибудь, уже без нашего взаимного общения, эта любовь принесет плоды: ведь не бывает так, что когда вы посадите розы в своем саду – вдруг вырастут лопухи. (Если, конечно, вы уверены, что сажали именно розы.)

Половина моих учеников была детьми наших университетских профессоров, другая – дети из провинции. И те и другие читали и знали сравнительно мало. И совсем не воспринимали, скажем, Чехова – у них было иное восприятие жизни – почти безрадостное; понятия гуманизма, человеческого – почти не было. И мне бы тогда еще 2-3 года. Я бы не торопилась так, не разбрасывалась в диапазоне... Но в школе дети учились только с 15 до 17 лет.

Ушли первые мои ученики. Появились новые. В злополучное лето 1979 г. я поехала с двумя десятками своих «новых» и тремя «старичками»-студентами в Крым.

Я давно об этом мечтала. Школа гордилась своей традицией этих ежегодных летних походов и тем, что после них дети еще две недели работали на раскопках Херсонеса Таврического. Только ездили в эти походы всегда одни и те же наши учителя, и в то лето меня пригласили впервые, с условием, что руководителем и финансовым главой этого предприятия будет политрук школы. О нем можно сказать в двух словах: белесое ничтожество 25 лет без каких бы то ни было нравственных понятий или ошеломляющих пороков. Он как политрук был законченно тривиальным.

Ах, что там было, в Крыму, и не передать. Из моря светили мне детские лица, а я – на берегу, как на адской жаровне, – всегда с одними и теми же мыслями: «Денег с детей собрали уйму – на автомобиль хватило бы, государство добавило что-то еще, – сколько, я так почти до конца и не знала, – а дети голодали и политрук экономил каждую копейку, дети проели мои и свои карманные деньги, и вчера – голодный обморок у Митеньки, а ночью – каждый день мародерство в ближайших селениях, крадут кроликов и жарят по ночам».

Скандалам моим с политруком не было конца. И только за десять дней до нашего возвращения в Ленинград, припертый к стене документами, которые у него удалось добыть, он признался, что значительной суммы – больше половины – и двухсот банок консервов у него нет и не было, а находится все это у зам. директора интерната. К нему он и вылетел на самолете.

Через три дня на почтамте города Севастополя я получила некоторую сумму денег, а для себя – телеграмму о смерти моего отца. Думаю теперь, что совокупность моих почти трехнедельных угрызений совести при виде голодных детей и этого известия на какое-то время лишила меня остатков трезвого мышления. Единственно на что хватило сил – не плакать при детях.

Отец болел 5 лет лейкозом, зимой того года на почве лейкоза у него развился рак уха. Требовалась очень несложная, но немедленная операция. С направлением, в котором был указан диагноз: количество лейкоцитов – 230 тысяч!!! – отца не брали ни в одну онкологическую больницу: мест якобы не было. Десяток людей, просмотрев его направление, ставили его на очередь на сентябрь (а его в июле уже не стало!). Он бы и до июля не дожил, но нашелся молодой врач, который за определенную сумму нашел и место и время – 15 минут, – чтобы отрезать у отца кончик уха. (Мать этого врача, кстати, – учитель.) И мы тогда были благодарны ему: отец про-

жил с нами еще несколько месяцев, а что до взятки, то медицина, на мой взгляд, не должна до поры вообще быть бесплатной – она должна быть рентабельной, тогда она, может быть, будет и более гуманной.

Когда мы вернулись из Крыма, положение мое в интернате стало почти невыносимым. Меня боялись и ненавидели мои непосредственные начальники, так как у меня остались компрометирующие документы, из которых ясно было, что воровали все. Я боялась еще больше вот чего: перед расставанием в Крыму наш политрук сказал мне буквально следующее: «В школе в этих походах воровали всегда и все. Если вы попытаете скомпрометировать нас этими бумажками, вас сотрут в порошок. А что до ОБХСС, то они все куплены, и вы это знаете, значит, обращение в милицию вам ничего не даст».

Я не могла ему не верить. Школа обворовывалась до последней степени, а все ревизии кончались дружескими ужинами ревизоров и руководства. Однажды, по секрету, тогдашний прямой заместитель и нынешний директор интерната А. А. Быков сказал мне, что продукты, украденные у детей, – целый грузовик – ежедневно продаются дачникам на станции Поселок близ Ордежа. Я лично знала человека, который покупал в школе гравий, украденный, для школьного стадиона предназначенный. Да что говорить – у нас и стула целого не было.

В общем, я разрывалась между совестью и страхом. Но боялась я только одного: лишиться своей работы. Большой беды я себе не представляла.

Все в конце концов решилось само собой. Но как!

Со мной в Крым, как я уже рассказывала, ездили трое бывших учеников – студенты. Один из них – вот уж воистину святой ребенок! – всегда был со мной. И вот ему-то я летом все и рассказывала. И до сих пор со стыдом вспоминаю, что, когда мы с ним узнали, что нас об-

воровывают, отреагировали оба одинаково – мир наш рушился. Мало того, уже потом, в городе, я рассказывала ему о том, что меня травят. До сих пор не могу понять, зачем. Он был очень талантливый и нравственно одаренный ребенок – гордость и надежда профессора-отца. 25 сентября, в день, когда было наводнение, он приехал ко мне в школу без одежды – забыл где-то, – возбужденный, странный как никогда. Я увезла его к себе, одела и, почти успокоенная – он объяснил мне, что влюблен и поэтому очень рассеян, – отпустила его домой в Петергоф. А ночью он позвонил и сказал, что не может найти дорогу к вокзалу. Я до утра его искала, а потом поехала к его родителям. И они рассказали мне, что мальчик сошел с ума, потому что разочаровался в жизни, и помогла ему в этом я. Против такого обвинения нечего было возразить. Гнев и любовь отца мальчика, его правое желание отомстить тем, кто воровал тогда, решили все дело. Я подала заявление прокурору.

С самого начала я не верила в этот суд, поэтому не считала, что делаю правое дело. Не считаю и сейчас. Я сделала это только ради того отца, ни минуты не веря в правосудие.

В школе каждый день ко мне подходили наши учителя (в основном, выпускники той же школы), ездившие в свое время в Крым, и говорили мне примерно следующее: «Воровали все, и ты всех погубишь. Судьба наших детей и наша на твоей совести. Но мы-то крали не так уж много. Зачем ты делаешь это с нами?» (Скажите мне, кстати, какая сумма предельная, чтобы украсть ее у детей и не чувствовать угрызений совести? Н. Г. сказала: «Мы-то взяли всего 30 рублей».)

С той ночи, когда я искала Диму по городу и еще от этих разговоров (мне-то вообще всех было жаль) я потеряла сон, мне всегда было страшно, а в ноябре (я не спала уже 2 месяца), после того как мой непосредственный начальник написал на меня немыслимый донос в КГБ и я там 3 часа что-то объясняла (а писать уже

почти не могла), я от страха пошла к психиатру и попросилась в больницу, где и пробыла до весны.

Суда так и не было, хотя неведомым путем через 1,5 года дело было закончено, вина доказана, все виновные сняты с работы и благополучно устроены на другие места, а законченное дело исчезло за неделю до суда.

Больше я не искала правосудия. Только один раз, когда узнала, что в довершение всего мое имя смешали с грязью, связали с именем этого политрука (он мой поступок публично объявил результатом интимной связи и ревностью) – я расвирепела. Тогда-то я и написала тов. Ваксбергу в его «Литературную газету», борцу этому нашему за правду, письмо на шести страницах. Не прошло и трех месяцев, как он ответил мне в двух строчках через свою заместительницу. Предложил все забыть и заняться чем-нибудь другим (спортом, что ли?).

Так я и поступила. Сейчас я домашняя хозяйка. Я не могу долго работать – мне всегда страшно в коллективе. *К тому же, у меня подлая специальность – я историк.*

Что побудило меня писать сейчас? Одно чувство осталось и мучает меня – это сострадание к нашим детям.

Идеологические насильники, нравственные извращенцы, духовные ничтожества пришли к нам в дом, они давно уже посягнули на наш мир, взяли и продолжают брать наши души. Не отдавайте же им, ИМ наших детей. Если вы любите детей своих, разрушайте каждый день по кирпичикам то, что в них созидает школа. Научите их радоваться реальной жизни. Посмотрите, как мало они умеют делать это – наши априорные атеисты (и потому бездумные православные), наши жестокие дети. Пусть чувство жизни, которое вы будете воспитывать в них, даже будет стоить им самой жизни – все равно. Иначе, рано или поздно, когда-то количество зла, которое се-

ется и прорастает в них, наших детях, станет максимальным, само существование их во Вселенной не будет рациональным. Так или иначе, в результате войны или вырождения – они погибнут. Ведь БОГ (не нравится – скажите «закон природы») уничтожает все нерациональное.

И вам – вне наших границ: если проказа наша переползет из нашего дома в ваш дом, тогда нам всем не понадобится атомной войны, чтобы увидеть конец света.

Шесть лет назад я бы никогда не написала всего этого – я была слишком счастлива, мне было не до того.

Я не подписалась бы под всем этим еще два года назад своим настоящим именем, потому что тогда я радовалась, что осталась жива, и искала покоя. А сейчас? Что я могу еще потерять?

Сейчас я не могу не поставить своего имени, потому что уничтожить ложь можно только реальностью. А что до моего благополучия – у меня нечего отнять. А для своего ребенка – что я могу сделать?

Только одно. Поставить под всем этим свое имя.

Маргарита ГИМЕЛЬШТЕЙН – учительница из Ленинграда.

ИСТОКИ

Иосиф Дарский

ШАЛЯПИН И ГОРЬКИЙ

Исследование Иосифа Дарского о Шаляпине и Горьком представляется мне одной из интереснейших работ, проливающей свет на истинные и часто глубоко трагические детали и оттенки во взаимоотношениях этих колоссов русской культуры. Подробно разобрав и проследив по первоисточникам развитие их дружбы от зарождения до заката, Дарский раскрывает перед читателями интереснейшие отношения двух выдающихся художников, жизнь которых была брошена в водоворот самых напряженных лет XX века, и, что особенно важно, на примере Шаляпина и Горького мы видим, какое разрушительное действие на человеческие отношения производила всеподчиняющая система советского господства и как нелегко было в высшем смысле противостоять этому. Поработив и превратив в «управляемого» Максима Горького, но не сломив Шаляпина – система лишней раз расписалась в своем бессилии перед Высоким Человеческим Духом.

О Горьком и Шаляпине в СССР написано немало книг, но все они написаны в жестких рамках дозволенного и не в состоянии обеспечить историческую достоверность. И в этом смысле работа Иосифа Дарского, будучи написана свободным пером, представляет исключительный интерес. Будучи большим знатоком и страстным исследователем творчества Шаляпина, Иосиф Дарский своей работой проливает свет на чисто человеческую сторону отношений Шаляпина и Горь-

кого в их исторической достоверности и последовательности.

Работа эта, несомненно, вызовет большой интерес у самого широкого круга читателей.

Максим Шостакович

О Шаляпине и его окружении можно сказать словами Грибоедова – «в друзьях особенно счастлив»! Назовем лишь самых близких и, в первую очередь, Исаю Дворищина – многолетнего друга и личного секретаря, – а также композитора Сергея Рахманинова. Узы дружбы, кроме того, связывали Шаляпина и с писателями, например, Иваном Буниным и Александром Kupриным, и с художниками Константином Коровиным и Валентином Серовым, и с певцами Энрико Карузо и Титта Руффо, и так далее. Однако особое место среди друзей великого артиста принадлежит Алексею Максимовичу Горькому. Дружба эта началась практически сразу, с первой же встречи, продолжалась почти три десятилетия и в конце концов была разорвана Горьким. И все же, несмотря на ее драматический конец, Шаляпин продолжал называть его – «мой первый друг Горький». Подводя итог творческого пути, в своих мемуарах он утверждает: «Дружбой этого замечательного писателя и столь же замечательного человека я всю жизнь гордился».

Взаимоотношениям этих двух представителей русской культуры посвящены сотни страниц, опубликованные на их родине. Достаточно назвать хотя бы монографии М. О. Янковского, Л. В. Никулина или В. Н. Дмитриевского, исследующие творчество Шаляпина, или, к примеру, такие журнальные публикации, как очерк Георгия Хубова «Горький и Шаляпин» и статья Елены Грошевой «Федор Шаляпин», появившиеся в свое время в журнале «Музыкальная жизнь». В любой из названных работ довольно подробно излагаются имевшие

место исторические факты. Когда же дело доходит до оценки событий и поступков, особенно конфликтов между Горьким и Шалапиным, то пресловутая классовая оценка делает своё дело. «Поневоле иль по воле» все советские авторы разделяют и оправдывают позицию Горького. И ребенку ясно, что без достойной идеологической подоплеки ни одна работа, связанная с шалапинско-горьковской темой, не была бы напечатана. Да и подход к самой теме всегда предопределен заранее. Прежде всего, это заметно в «расстановке по рангам», т. е. первым всегда называется имя Горького, и только потом следует Шалапин. Взаимоотношения же друзей, как правило, преподносятся по следующей схеме: мудрый и всё понимающий Горький, как добрый ментор, наставляет своего иногда проказничающего воспитанника Федю, объясняя ему, «что такое хорошо и что такое плохо». Ну точь-в-точь, как на картине Петра Бучкина «А. М. Горький и Ф. И. Шалапин» (!!). Нетрудно заметить горьковский указующий перст, да и вся его «целеустремленная» поза противопоставлена «внимающему» Шалапину. И композиция картины и ее замысел – типичнейшие образцы метода социалистического реализма. В 1917-18 годах Бучкин сделал несколько набросков портретов Шалапина, а к знаменитой художественной выставке, приуроченной к 40-летию Октябрьской революции, сотворил сие выдающееся, превышающее два с половиной квадратных метра, полотно.

Никогда не забуду, как на пути в Америку довелось мне встретиться в Риме со старшим сыном Шалапина – Борисом Федоровичем. Борис Шалапин унаследовал от отца талант рисовальщика, и его кисти принадлежат великолепные портреты многих выдающихся людей нашего столетия.

Взглянув на репродукцию бучкинской работы, Борис Федорович произнес: «Бучкин? Кто такой Бучкин? Еще Бучкин какой-то!» Трудно что-либо добавить к оценке этой картины.

Среди многочисленных литературных источников, свободных от идеологического пресса, мне пока не встречались исследования, посвященные дружбе Шаляпина с Горьким. Предлагаемый читателю анализ является результатом обзора шаляпинских автобиографий: «Страницы из моей жизни» и «Маска и душа», – опубликованной переписки Горького и Шаляпина, а также воспоминаний их современников.

Знакомство Шаляпина с Горьким могло завязаться раньше исторически зафиксированной даты. Могло, но не началось. К Шаляпину, тогда еще певшему в Мамонтовской опере в Москве, на квартиру в Леонтьевском переулке однажды явился Сергей Рахманинов и принес книгу рассказов начинающего автора. «Кажется мне, это был первый сборник Горького, – вспоминал Шаляпин. – Действительно, рассказы мне очень понравились. От них веяло чем-то, что близко лежит к моей душе. Должен сказать, что и по сию пору, когда читаю произведения Горького, мне кажется, что города, улицы и люди, им описываемые, – все мои знакомые». Шаляпин выразил свой восторг от чтения в письме, посланном Горькому в Нижний Новгород, но ответа не получил.

Прошло несколько лет. Шаляпин снова был солистом Императорской сцены – в Московском Большом театре. Имя его уже стало известным не только в России, но и в Европе – в марте 1901 года он с триумфом выступил в Миланском театре Ла Скала в роли Мефистофеля в одноименной опере Бойто.

После завершения сезона в Москве Шаляпин выступил несколько раз в Петербурге и во второй половине августа 1901 года приехал в Нижний Новгород. Антрепризой А. Эйхенвальда он был ангажирован для выступления на сцене Ярмарочного театра в своих лучших ролях.

Горький, только что выпущенный из тюрьмы и находившийся в ссылке в Н. Новгороде, присутствовал на спектакле «Князь Игорь», но пришел к Шаляпину за

кулисы лишь четыре дня спустя, 30 августа, во время представления «Жизни за Царя» («Ивана Сусанина»).

Хотя эта дата и считается началом знакомства с Горьким – так утверждает сам Шаляпин, – из литературы известно, что первая встреча друзей произошла примерно за год до описываемого события. Это видно из письма Горького А. П. Чехову: проведя неделю в Москве, он писал из Нижнего Новгорода в начале октября 1900 года: «Шаляпин – простой парень, большущий, неуклюжий, с грубым умным лицом. В каждом суждении его чувствуется артист. Но я провел с ним полчаса, не больше».

Воспоминания Шаляпина написаны в 30-х годах, и вполне допустимо, что он запомнил это мимолетное свидание. Нижегородскую же встречу он описывает так: «В следующий антракт ко мне пришел человек с лицом, которое показалось мне оригинальным и привлекательным, хотя и не очень красивым. Под прекрасными длинными волосами, над немного смешным носом и широко выступавшими скулами горели чувством глубокие, добрые глаза, напоминавшие ясность озера. Усы и маленькая бородка. Полуулыбнувшись, он протянул мне руку, крепко пожал мою и родным мне волжским акцентом – на О сказал:

– «Я слышал, что вы тоже наш брат Исаакий» (нашего поля ягода).

– Как будто, – ответил я.

И так, с первого этого рукопожатия мы – я, по крайней мере, наверное, – почувствовали друг к другу симпатию».

Воспоминания эти опубликованы в Париже издательством «Современные записки» в 1932 году и, кстати сказать, с того момента на русском языке больше не издавались. На родине же певца вообще никогда не были изданы целиком, ибо добрая треть их не соответствует «государственному идеологическому стандарту».

На другой день в вестибюле театра состоялась вторая встреча, во время которой беседа затянулась до позднего вечера, и, как утверждает Шаляпин, «в этот вечер между нами завязалась долгая, горячая, искренняя дружба».

Все дни, пока Шаляпин гастролировал в Нижнем, друзья проводили вместе – то в театре, то на квартире у Горького, то «мы шли в Кунавино кушать пельмени, любимое наше северное блюдо», вспоминал певец.

Четвертого сентября Шаляпин дал концерт в фонд постройки Народного дома в Нижнем Новгороде. Горький, присутствовавший на этом концерте, писал К. П. Пятницкому: «Он дал здесь концерт в пользу народного театра, мы получили с концерта прибыли около 2500 р., и я уж растратил из этой суммы р. 600. Скверно! Но я вывернусь, ничего».

На следующий день Шаляпин уехал в Москву. Вместе с большой группой нижегородцев на вокзале провожал его и М. Горький. Самому писателю выезд из города был еще запрещен, поэтому в уже упомянутом письме к Пятницкому мы читаем следующее: «Он (Шаляпин. – И. Д.) будет хлопотать о допущении меня в Москву, в октябре, куда мне надо быть, чтобы поставить пьесу».

Мы уже знаем, какие чувства вызвала у Шаляпина встреча с Горьким. А вот мнение Горького о своем друге: «Я за это время был поглощен Шаляпиным, а теперь на всех парах пишу драму. Шаляпин – это нечто огромное, изумительное и – русское. Безоружный, малограмотный сапожник и токарь, он сквозь терния всяких унижений взошел на вершину горы, весь окурен славой и – остался простецким душевным парнем. Это – великолепно!» – так сообщал он Пятницкому. А чуть позже он пишет Чехову: «...в конце августа канителился с Шаляпиным. Очень он понравился мне – простой, искренний, славный парень!» Восторги Горького еще более выразительны месяц спустя. Вот несколько отрывков из его

письма к В. А. Поссе: «...был здесь Шаляпин. Этот человек – скромно говоря – гений... Умный от природы, он пока (курсив Горького. – И. Д.) еще – младенец, хотя и слишком развит для певца. И это слишком (курсив Горького. – И. Д.) позволяет ему творить чудеса... Лично Шаляпин – простой, милый парень, умница. Все время он сидел у меня, мы много говорили, и я убедился еще раз, что не нужно многому учиться для того, чтоб много понимать... Он прожил много, – не меньше меня, он видывал виды не хуже, чем я. Огромная, славная фигура! И – свой человек».

Расставаясь, друзья обменялись фотографиями, сделанными нижегородским фотографом-художником М. П. Дмитриевым. На своих портретах Горький сделал две надписи. Первая гласит: «Простому, русскому парню Феде от его товарища по судьбе А. Пешкова». На втором портрете можно прочесть: «Великому артисту Федору Ивановичу Шаляпину. М. Горький – преклоняясь перед его могучим талантом. 30-го августа 1901. Нижний Новгород». В тот же день на фотопортрете, изображающем обоих друзей, Шаляпин написал: «Как бы желал я, дорогой мой Алексей Максимович, быть с тобой всегда вместе, не только здесь, на земле, но и там... где вечность и – жизнь бесконечная – «Люблю» – вот всё, что я тебе скажу. М. Горькому Ф. Шаляпин».

Так на рубеже столетий зародилась дружба двух выдающихся представителей русской культуры. Хотя Шаляпин был на пять лет моложе своего друга, судьбы их сложились очень похоже. Оба вышли из народных глубин, оба страдали от голода и несправедливости, оба упорным трудом достигли вершин славы. И, видимо, была какая-то предопределенность в том, что, возвращенные на волжских просторах, подружился они, встретившись на берегу Волги.

Наличие схожих моментов в биографиях обоих друзей породило немало легенд о встречах Горького и Шаляпина в отрочестве и юности. Наиболее популярна

– особенно в Америке – история о том, как оба они вместе поступали в хор. И как Горький был принят, а Шаляпин отвергнут как «безголосый». Из одной публикации в другую кочует эта выдумка. Меняются лишь города (то Казань, то Нижний Новгород) и хоры (то церковный, то оперный). «Все это неверно, – пишет Шаляпин, – когда Горький однажды спросил, кто я такой, я стал рассказывать ему мою биографию, и вот тут-то (курсив Шаляпина. – И. Д.) для нас обоих неожиданно выяснилось, что мы встречались, не будучи знакомыми, в ранние годы, и что жизнь наша похожа, а в некоторых случаях текла рядом. Вот, например, в то время, как я мальчиком был в Казани отдан в учение к сапожнику Андрееву, который жил на углу Малой Проломной улицы, Горький на другом углу параллельной Большой Проломной улицы в пекарне... работал пекарем... Когда позже, в начале семнадцатого моего года, я на буксирном пароходе пробирался из Астрахани на Нижегородскую ярмарку, и, будучи без всяких денег, вынужден был на остановках работать по грузке и выгрузке баржей, по-нашему, по-волжскому это называлось «паузиться» – Алексей Максимович в это самое время также работал в самарском порту... Из наших разговоров выяснилось, что мы жили друг от друга близко и в Тифлисе. В то время, как я работал в управлении Закавказской железной дороги по бухгалтерской части, Алексей Максимович служил в мастерских той же дороги слесарем и смазчиком. Что же касается нашего экзамена в хористы, то правда, что оба мы откликнулись на призыв антрепренера Серебрякова к гражданам Казани пополнить его хор молодыми голосами, *но и в это время мы не были знакомы* (выделено мною. – И. Д.). Горького приняли, а меня нет, потому что он был на четыре (здесь Шаляпин ошибается: разница в возрасте между ними была в пять лет – Горький родился 28 марта 1868 года, а Шаляпин 13 февраля 1873. – И. Д.) года старше: его голос сформировался, а мой еще ломался...»

После отъезда Шаляпина в Москву Горькому было запрещено оставаться долее в Нижнем. Распоряжением Министерства внутренних дел ему было предписано выехать на жительство в Арзамас. Ссылаясь на обострившийся туберкулез, Горький подал прошение, чтобы ему разрешили вместо Арзамаса поехать в Крым. «... вот если ты можешь, то похлопочи, чтоб меня пустили», – пишет Горький своему другу. Недели через две Шаляпин шлет в Нижний радостную телеграмму: «Милый Лекса вчера получено письмо Святополк-Мирского (князь Петр Данилович Святополк-Мирский был в ту пору товарищем, т. е. заместителем, министра внутренних дел. – И. Д.) разрешением тебе ехать Ялту радостью сообщая декабре буду Петербурге похлопочу дальнейшим...»

По дороге в Ялту Горький планирует заехать в Москву, чтобы «всеми правдами и неправдами» остаться хоть на сутки с другом. Однако, боясь политических демонстраций, полиция, пропустив в Москву семью Горького, пересаживает самого писателя в другой вагон, который перегоняется в Подольск. Весть эта стала известна в Москве, и пригородным поездом на встречу с Горьким в Подольск выехали Иван Бунин, Леонид Андреев, Пятницкий, Телешов и немецкий переводчик произведений Горького Август Шольц. Чуть позднее для встречи с другом приехал и Шаляпин. До прихода поезда с семьей Горького было еще достаточно времени, и все встречавшие вместе с Горьким отправились в город, в гостиницу.

«„Шампанского!“» – закричал громким голосом Шаляпин (так описывал этот вечер А. Шольц во франкфуртской газете).

Хозяин, небольшой, слабенький человек с неприятным выражением лица, должен был признаться, что у него не было разрешения на продажу вина.

„– Ну, хороша же гостиница! – сказал Шаляпин. – Мы должны раздобыть собственного вина!“»

И пока друзья устраивались поудобнее в маленькой, тесной комнатке на втором этаже, он отправился в город на поиски спиртного. Вскоре он возвратился, и за ним следом внесли целую батарею бутылок с красными головками».

Пока друзья коротали время, за занавеской, отделявшей комнату, послышалось приближающееся звяканье шпор, и из-под скатерти, выполнявшей роль занавески, стали заметны несколько пар жандармских сапог. Через некоторое время в комнате появился сконфуженный хозяин с домашней книгой в руках, прося всех присутствующих оставить в ней свои имена и адреса и уверяя, что в город заведен такой порядок.

Телешов вспоминает: «„Приезжий здесь я один, – вдруг заявил на это Шалапин серьезно и строго. – А это мои гости. Такого закона нет, чтобы гостей переписывать. Давайте сюда книгу, я один распишусь в чем следует“. Не без трепета следил хозяин за словами, которые начал вписывать в его книгу Шалапин. Увидев, наконец, что мучитель его – артист „Императорских театров“, облегченно вздохнул и успокоился».

Приближалось время расставания, и на прощание друзья подарили Горькому книгу рассказов Леонида Андреева, на которой каждый из присутствовавших оставил свой автограф. Среди них выделяется шалапинский экспромт:

Наш милый друг Максим,
В Подольске с горем мы сидим.
Не горе горькое, а Горький
Покинет нас с вечерней зорькой.

Скорый поезд Москва – Симферополь, в котором уже ехала семья Горького, остановился в Подольске буквально на несколько секунд. Едва писатель поднялся на площадку, взревел гудок, и поезд тронулся. На прощанье Горький лишь успел сказать всем спасибо и крикнуть: «Товарищи! Будем отныне все на „ты“».

Горький уехал, а в Подольске продолжалось «знакомство» Шаляпина с московскими писателями, что видно из бунинского письма к А. П. Чехову: «Хотелось бы повеселить вас новостями, но ведь все общеинтересное вы, конечно, знаете? О Горьком, значит, тоже, за исключением разве того, что, проводив его, мы с Шаляпиным пили до 6 часов утра».

Шаляпин сразу был принят в писательскую среду. Со многими из них был близок и дружен долгие годы. Общение с русскими литераторами, как в бытность в Мамонтовской опере – с русскими художниками, оказало несомненное влияние на дальнейшее формирование Шаляпина как артиста. С конца ноября 1901 года он становится завсегдатаем знаменитых Телешовских сред. После окончания ссылки там начинает бывать и Горький, и встречи друзей возобновляются.

Мы довольно подробно рассмотрели начальный период – период зарождения – дружбы Шаляпина с Горьким. Нет нужды разбирать ее хронологически день за днем. Имеется достаточно фактов, свидетельствующих о том, что отношения между друзьями сразу же установились искренними и откровенными. Их переписка и письма к современникам наполнены доброжеланием и сердечностью по адресу друг друга.

Встречаясь с писателями, художниками, артистами, учеными, Шаляпин, которому практически не довелось получить образования, не считая нескольких классов начальной школы, по меткому выражению Саввы Мамонтова, «буквально жрал знания». На различных собраниях, кружках, на дружеских пирушках он стал прислушиваться к тому, что говорили эти люди, считавшиеся в то время цветом русской интеллигенции. И Шаляпин заметил, «что все они относятся критически к правителям и к царю, находя, что жизнь российского народа закована в цепи и не может двигаться свободно вперед... Некоторые из этих умных людей, как я потом узнал, – вспоминал Шаляпин, – принадлежали даже к

каким-то тайным кружкам – революционным... Их выкладки, их разговоры убеждали меня в том, что они правы. Я все сильнее и глубже стал им сочувствовать – в особенности, когда видел, что они, действительно, готовы положить душу за благо народа. Я искренно негодовал, когда власти хватали таких людей и сажали их в тюрьмы. Мне это казалось возмутительной несправедливостью. И я, как мог, старался содействовать и помогать этим экзальтированным борцам за мой народ... Человеком, оказавшим на меня в этом отношении особенно сильное, я бы сказал – решительное влияние, был мой друг Алексей Максимович Пешков – Максим Горький. Это он своим страстным убеждением и примером скрепил мою связь с социалистами, это ему и его энтузиазму поверил я больше, чем кому бы то ни было и чему бы то ни было другому на свете».

Хорошо известно, что немалые суммы пожертвований с шаляпинских концертов через посредство Горького перекочевывали в партийную кассу большевиков. Сам Шаляпин в душе считал себя уже социалистом и однажды в разговоре с Горьким он спросил друга, не будет ли искренне со стороны Шаляпина, если он вступит в партию социал-демократов. Я полагаю, что ответ Горького заслуживает благодарности и далеких потомков, отделенных многими десятилетиями от той ночи на Капри. Шаляпин вспоминал: «Если я в партию социалистов не вступил, то только потому, что Горький посмотрел на меня в тот вечер строго и дружески сказал: – Ты для этого не годен. И я тебя прошу, запомни один раз навсегда: ни в какие партии не вступай, а будь артистом, как ты есть. Этого с тебя вполне довольно».

Желание Шаляпина приобщиться к политической борьбе было, по-видимому, импульсивным, сиюминутным. Театр и пение были смыслом его жизни. «Если я в жизни был чем-нибудь, так только актером и певцом. Моему призванию я был предан безраздельно..., менее всего в жизни я был политиком. От политики меня от-

талкивала вся моя натура». И, несмотря на это, так получалось, что всю свою жизнь Шаляпин был вовлечен или *вовлекаем* в различного рода политические демонстрации. Вспомним хотя бы события 1905 года, когда во время концерта в Киеве, в цирке Крутикова, по просьбе рабочих, для которых, кстати сказать, этот концерт был устроен и которым бесплатно было роздано 4000 билетов, Шаляпин запел «Дубинушку», дружно подхваченную всем залом: «...и я, как на Пасху у заутрени, отделился от земли, – вспоминал певец, – я не знаю, что звучало в этой песне, – революция или пламенный призыв к бодрости, прославление человеческого труда, человеческого счастья и свободы. Не знаю. Я в экстазе пел, а что за этим следует, – рай или ад – я и не думал».

О концерте и о «Дубинушке» в особенности поползли слухи. Некоторые немедленно зачислили Шаляпина в «крайние революционеры». К тому же, в подпольной партийной печати появилось сообщение, гласившее, что «от концерта Х. поступило в кассу 3000 рублей». Конечно же, полиции не составило особого труда «вычислить», чей концерт мог дать такой сбор. Легальные газеты по этому поводу сообщили, что за жертвования на революцию Шаляпин будет предан суду. Тогда Шаляпин написал в киевскую полицию письмо, объясняя, что деньги он, действительно, дал, но на что они пойдут – ему не было известно. «Когда я даю деньги на хлеб, а их пропивают – не мое дело. Власти, по-видимому, это поняли. Никаких преследований против меня не подняли», – вспоминал Шаляпин. Тут уместно для сравнения вспомнить аналогичный факт. Когда в 1927 году в Париже певец пожертвовал 5000 франков на детей русских безработных, другое правительство, «народное» – которое, по Брехту, «народно даже без народа» – выводы сделало немедленно, лишив Шаляпина звания Народного артиста, а следом за этим и гражданства.

История с «Дубинушкой» стала привлекать всеобщее внимание. Все чаще на концертах публика стала

требовать исполнения этой песни. А однажды ему пришлось исполнить ее в московском ресторане «Метрополь». В тот день по случаю особого манифеста, в котором царь обещал свободу, ликовала вся Москва. «Я стоял на столе и пел – с каким подъемом, с какой радостью!» – писал Шаляпин. Горький, также находившийся в зале, описал эту сцену в конце второго тома «Жизни Клима Самгина».

С «Дубинушкой» связан и еще один шаляпинский инцидент, пожалуй, самый значительный. Прошло чуть более месяца после ее исполнения в «Метрополе», и Шаляпин спел эту песню со сцены Императорского (!) Большого театра. В театре состоялся концерт в пользу убежища для престарелых артистов. «В конце второго отделения значился и Шаляпин, – писал управляющий Московской конторой Н. К. фон Бооль в своем письме от 27 ноября 1905 года директору Императорских театров В. А. Теляковскому. – Когда он исполнил свой номер, публика по обыкновению шумно требовала повторения. С верхов громко кричали «Блоху» и «Дубинушку». Шаляпин, выходя на вызовы, обратился к публике и сказал, что «Дубинушка» – песня хоровая и что поэтому он спеть ее не сможет, если ему не будут подпевать. Раздался взрыв аплодисментов, и Шаляпин начал «Дубинушку». Припев подхватили в зале – очень дружно и даже стройно».

Сам Шаляпин, приехав в Петербург, не скрывая, рассказал все Теляковскому. «Я, конечно, принял грозный вид, выругал его и сказал, что для начала объявляю строгий выговор, – а там видно будет», – вспоминал в своих записках Теляковский. К слову сказать, весь период своего директорствования он вел почти ежедневные записи в дневнике, поэтому его мемуары представляют совершенно бесценный источник информации. Воспоминания его «с некоторыми сокращениями» (интересно, почему?) и «политически грамотными» ком-

ментариями были изданы в 1965 году в Советском Союзе и давно стали библиографической редкостью.

Шаляпину присылалось огромное количество угрожающих писем от «революционно настроенной молодежи» (комментарий № 16 поясняет нам, что речь идет не о революционной молодежи, а о террористах (!?), далеких от подлинной революционности (!). То-то и видно, особенно в наши дни, как далеки они друг от друга. – И. Д.). «Его обещали не только бить, но и убить за то, что он мало себя проявляет в освободительном движении. После же этого инцидента он стал получать подобные письма и от людей противоположного лагеря. Бойкотировали его и с той и с другой стороны», – пишет Теляковский. Шаляпин от всего этого был совершенно расстроен.

Министр двора барон Фредерикс немедленно потребовал, чтобы контракт с Шаляпиным был нарушен, на что директор предложил (каково! Директор театров возражает министру. – И. Д.) «историю эту свести на нет и смотреть на поступок Шаляпина как на нарушение правил цензуры, не придавая этому инциденту политического значения. Если же прогнать Шаляпина, это придаст ему ореол мученика, что крайне нежелательно... Партии революционеров будет очень приятно иметь в своих рядах выдающегося артиста и певца, к тому же еще певца из крестьян. В тюрьму Шаляпина не упрячешь, он имеет большое имя не только в России, но и во всем мире. Петь ему запретить нельзя. Он будет продолжать петь не только в провинции, но и во всем свете – и «Дубинушку» услышат не одни москвичи и петербуржцы. Он наэлектризует публику настолько, что полиции останется только закрывать один театр за другим, а его высылать из одного города в другой. Все это в России еще возможно, за границей же все будут его встречать с распростертыми объятиями, как пострадавшего за свободу. Дружба Шаляпина с Горьким станет еще теснее и придаст ему особый ореол».

Елена Грошева, автор юбилейной – к 20-летию со дня смерти певца – статьи, упомянутой в начале обзора, утверждает, что, по свидетельству Теляковского, «Николай II *требует изгнать этого босяка* (выделено мною. – И. Д.) из Императорского театра». На самом же деле у Теляковского сказано (стр. 294): «[Мосолов] мне сообщил, что государь, оказывается, очень возмущен поступком Шаляпина и *спросил* (выделено мною. – И. Д.) министра:

– Как, неужели до сих пор еще не уволили ни Шаляпина, ни Бооля?

При этом разговоре присутствовала императрица Александра Федоровна, которая, однако, не разделяла мнения государя. Она находила, что Шаляпин прежде всего артист, и это надо принимать во внимание при суждении о его поступке, а не делать из него опасного революционера, умышленно и сгоряча».

Теляковский предупредил министра, что покинет пост директора, если Шаляпин будет уволен, и сделает он это не из сочувствия и не из личных симпатий к певцу, а из-за невозможности отвести последствия увольнения певца. На некоторое время шаляпинский инцидент получил отсрочку, а когда миновал острый момент, предложение Теляковского, встретившее поддержку при дворе, было принято, и «преступление» Шаляпина было прощено.

Если к истории с «Дубинушкой» в Большом театре Горький оказался причастен лишь косвенно, то в другом политическом инциденте, шесть лет спустя, он был единственным из друзей, пришедших на помощь к затравленному и оплеванному Шаляпину. Случай этот широко известен, его на все лады перепевали не только в России, но и в зарубежной печати.

«Коленопреклоненный» царь Борис – Шаляпин перед царской ложей в Мариинском театре – кто об этом не слышал! Я сознательно взял слово «коленопреклоненный» в кавычки, ибо если разобраться, то «колено-

преклонения» Шаляпина как такового не было вообще. Факт этот известен совершенно достоверно из мемуаров Теляковского и ряда других свидетельств. Напомню кратко, что произошло.

Хор театра, давно требовавший прибавки к жалованию, решил воспользоваться пребыванием в театре Николая II и в антракте после 3-го акта, когда все артисты – и Шаляпин в том числе – уже откланялись публике и разошлись по своим уборным, а оркестр и дирижер покинули оркестровую яму, в зале неожиданно раздались возгласы: «Гимн!». Теляковский считает, что или хористы подстроили это нарочно, поручив крикнуть «гимн» кому-либо из своих, или дворцовый комендант генерал-адъютант Дедюлин, любивший подобные демонстрации, устроил это при помощи чинов охраны. И тогда из-за спущенного занавеса хор начал исполнять гимн «á capella». Когда занавес поднялся, хор опустился на колени лицом к царской ложе. Теляковский пишет: «Ближе всего к царской ложе стояла на коленях артистка Е. И. Збруева. Услышав, что поют гимн (по правилам, при пении гимна на сцену обязаны были выходить и петь даже солисты, хотя бы они были в это время и не в костюмах. – И. Д.), на сцену вышел и Шаляпин. Он вошел в дверь «терема» (оставалась декорация третьего акта), и его высокая фигура казалась еще выше наряду с коленопреклоненной толпой. Увидев хор на коленях, Шаляпин стал пятиться назад, но хористы дверь из терема ему загородили. Шаляпин смотрел в направлении моей ложи, будто спрашивая, что ему делать. Я указал ему кивком головы, что он сам видит, что происходит на сцене. Как бы Шаляпин ни поступил – во всяком случае он остался бы виноват. Если он станет на колени – зачем встал? Если не станет – зачем один остался стоять? Продолжать стоять, когда все опустились на колени, – это было бы объяснено, как демонстрация. Шаляпин опустился на колено».

На другой день правительственное сообщение, опубликованное в газетах, гласило, что участвовавшие в спектакле «с хором во главе с солистом его величества Шаляпиным, исполнявшим роль Бориса Годунова, стоя на коленях (выделено мною. – И. Д.) и обратившись к царской ложе, исполнили „Боже Царя храни“».

Выдумка эта облетела все газеты, попала в Европу, и немедленно вслед за этим вся левая печать принялась клеймить и хаять Шаляпина, который, ничего не зная, уехал на гастроли за границу. Правые же газеты, напротив, всячески превозносили патриотические чувства певца «из мужиков» и печатали интервью с Шаляпиным, которых тот никогда не давал. Все развивалось по сценарию, о котором сам Шаляпин пел неоднократно, исполняя партию Дон Базилио:

И, как бомба, разрываясь,
Клевета все потрясает
И колеблет мир земной.
Тот же, кто был цель гоненья,
Претерпев все униженья,
Погибает в общем мненье,
Пораженный клеветой.

Затравленный Шаляпин был забросан анонимками с издевательствами и угрозами. Его бывшие друзья, газетные фельетонисты Влас Дорошевич и А. В. Амфи-театров, отвернулись от него и обливали грязью в своих фельетонах. Не разобравшись, в чем дело, сгоряча, прекратил с Шаляпиным дружбу Валентин Серов и сам же глубоко страдал от этого до самой своей кончины.

А травля продолжалась. Какие-то крепко подвыпившие российские студенты-социалисты, отсиживавшиеся на юге Франции, узнав, что в одном с ними поезде находится Шаляпин, наклеили на окно его купе записку с лозунгом «холоп». В результате разразился очередной скандал, попавший, естественно, в газеты под заголовком: «Ночное нападение русских нигилистов на

Ф. И. Шаляпина». Пытаясь вырваться из заколдованного круга, Шаляпин пишет друзьям письма, которые попадают в газеты. Он дает интервью, стараясь объяснить происшедшее. В результате, путает факты, и ситуация осложняется еще больше.

Доведенный до отчаяния, он пишет письмо Горькому, жившему в то время на Капри, с просьбой принять его. Сначала Горький медлил с ответом, желая разобраться в случившемся самостоятельно, и поэтому он написал Шаляпину письмо, в котором просил самого певца ответить, как было дело и как он сам относится к инциденту. М. Ф. Андреева (советское искусствоведение «целомудренно» называет ее «друг Горького Андреева». – И. Д.) вспоминала: «В это время приехал на Капри скульптор И. Я. Гинцбург и рассказал, что он сам был на спектакле, все сам видел и наблюдал, что Федор не становился на колени на авансцене, воздевая руки, но, когда хор со Збруевой во главе выбежал и шлепнулся на колени с громким пением гимна, *Федор, растерявшись, спрятался за кресло Бориса, привстав на одно колено* (выделено мною. – И. Д.)».

Тут подоспело и шаляпинское письмо с описанием инцидента, которое полностью совпадало с рассказом Гинцбурга. И Горький немедленно пишет другу ответ. Письмо это невелико и заслуживает того, чтобы его привести полностью:

«И люблю и уважаю я тебя не меньше, чем всегда любил и уважал; знаю я, что в душе – ты честный человек, к холопству – не способен, но ты нелепый русский человек и – много раз я говорил тебе это! – не знаешь своей настоящей цены, великой цены.

Нестерпимо, до слез больно мне за тебя, много думаю – как бы помочь, чем? И не вижу, чувствую себя бессильным.

Не умно ты сделал, что сразу же после этой истории не поехал ко мне или не объяснил всех условий, при коих она разыгралась, – знай я все с твоих слов, – веря

тебе, я бы что-нибудь сделал, чтобы заткнуть пасти твоих судей.

А теперь – придется выжидать время. Твоего приезда сюда я бы желал и очень, но – здесь масса русских. Я с ними в недобрых отношениях, и они не преминут устроить скандал тебе, чтобы – кстати уж! – и меня уколоть. Кроме здешних, еще каждую неделю бывают экскурсанты из России, караванами, человек по пятьдесят, – народ дикий и нахальный.

А видеться нам – нужно. Погоди несколько, я напишу тебе, когда и как мы можем встретиться без шума и скандала, теперь же – скандал вновь поднялся бы. Ведь так приятно ударить меня – тобою, тебя – мною. Все живут напоказ, и каждому ужасно хочется показать себя честным человеком, – это верный признак внутренней бесчестности.

До свидания, Федор Иванович, будь здоров и не особенно сокрушайся – пройдет.

А. Пешков». •

В сентябре, получив от друга телеграмму с единственным словом: «Приезжай», Шаляпин помчался на Капри. Обычно Горький встречал гостей на пристани или дома, но на этот раз он выехал на лодке прямо к пароходу. Даже спустя много лет Шаляпин чувствовал благодарность к другу за этот жест: «Этот чуткий друг понял и почувствовал, какую муку я в то время переживал. Я был так растроган этим благородным его жестом, что от радостного волнения заплакал. Алексей Максимович меня успокоил, лишний раз дав мне понять, что он знает цену мелкой пакости людей...»

М. Ф. Андреева так описывает эту встречу: «Федор тогда был совершенно растерян, и отчаяние его было так велико, что он пытался застрелиться; не будь рядом с ним такой сильной дамы, как Мария Валентиновна (вторая жена Шаляпина. – И. Д.), он и застрелился бы, она глаз с него не спускала. Разговаривая с А. М., он так

рыдал, что слушать больно было. Алексей же слезы не проронил, хотя потом мы всю ночь не спали, и Алеша плакал над тем, что Федор не так силен и велик как человек, каким бы он по таланту своему должен был бы быть».

Чтобы помочь другу выкарабкаться из создавшейся ситуации, Горький пишет Н. Е. Буренину (одному из деятелей большевистского подполья) и просит того встретиться с Шаляпиным по его возвращении в Петербург и, подключив к этому делу Д. В. Стасова (брата известного критика), выступить в печати с письмом, «в коем он:

во-первых – признает себя виновным в том, что, растерявшись, сделал глупость;

во-вторых – признает возмущение порядочных людей естественным и законным;

в-третьих – расскажет как и откуда явились интервью и дрянные телеграммы, кои ставятся ему в вину».

Буренин же Шаляпина от обращения к публике с письмом почему-то отговорил, и Горький с этим не согласился, он утверждал, что «публика злопамятна и долго носит камень за пазухой, особенно долго в том случае, когда она имеет право кинуть камнем в грешного».

Горький как в воду глядел. Через четыре года Шаляпин в зале Народного дома в Петрограде устроил бесплатный спектакль для рабочих. По этому поводу «группа рабочих» (кто же не знает, как создаются эти «группы рабочих» или «группы товарищей») восьми петроградских заводов обратилась к певцу с письмом, в котором *напомнила*, что негоже выходцу из народа становиться на колени перед царем.

Через год «почтеннейшей публике» представился еще один случай метнуть в Шаляпина очередной «булыжник». Выразилось это, как утверждает советское искусствоведение, в том, что в печати появились многочисленные протесты «демократической общественности» по поводу предполагавшегося опубликования автобио-

графии Шаляпина на страницах журнала «Летопись». Журнал этот издавался в Петрограде Горьким, и Горький же предложил Шаляпину свою помощь в создании автобиографии.

История с шаляпинской автобиографией «Страницы из моей жизни» настолько увлекательна, что о ней в пору писать детективный роман. Основное действие этого «романа» развернется спустя много лет, когда Шаляпин уже окажется за границей. Начало же этой истории относится к лету 1916 года, когда оба друга поселились в Форосе, в Крыму, чтобы написать автобиографию певца.

Создание ее происходило следующим образом. Горький гостил у Шаляпина в Форосе до самого конца июля, пробыв с другом в общей сложности около *полутора* месяцев. Как мы увидим позже, в данном случае скрупулезность совершенно необходима, поэтому сошлемся на документальные свидетельства. «Мы с Горьким будем жить инкогнито, где-нибудь в захолустье. Но работа наша займет времени не более трех недель...», – так пишет Шаляпин дочери Ирине в мае еще до встречи с Горьким в Крыму. Проходит месяц, и вновь он сообщает ей: «Каждый день купаюсь и *очень усиленно* (выделено мною. – И. Д.) работаю с Алексеем Максимовичем». Своему другу и адвокату М. Ф. Волькенштейну в письме от 6 июля он пишет: «Работаю *ежедневно несколько часов* (выделено мною. – И. Д.), и, кажется, работа подвигается вперед...»

В то же самое время (письмо от 16 июля) Горький сообщает книгоиздателю И. П. Ладыжникову: «Работа расплзается и вширь и вглубь, очень боюсь, что мы ее не кончим. Напечатано 500 страниц, а дошли только еще до первой поездки в Италию! Я очень тороплюсь, но – существует непобедимое техническое затруднение: барышня может стенографировать не более двух часов, а все остальное время дня, до вечера, у нее уходит на расшифровку. Править я, конечно, не успеваю. Федор ино-

гда рассказывает отчаянно вяло, и тускло, и многословно. Но иногда – удивительно! Главная работа над рукописью будет в Питере, это для меня ясно. Когда кончим? Всё-таки, надеюсь, – к 20, 22-му».

Однако и к этой дате работа не завершилась, что видно из письма Горького к К. А. Тимирязеву (2 августа): «Только вчера возвратился из Крыма, где жил в Форосе у Федора Ивановича, *помогая* (выделено мною. – И. Д.) ему в работе над его автобиографией. За семь недель (выделено мною. – И. Д.) очень отдохнул от Петербурга...»

Первая часть шаяпинских воспоминаний увидела свет в горьковской «Летописи», остальные главы были опубликованы уже советским издательством «Прибой». На этом мы прервем изложение истории, связанной с автобиографией, ибо продолжение ее относится уже к двадцатым годам. Но перед этим подведем некоторые арифметические итоги, которые будут важны «через десять лет». Итак, Горький находился у Шаяпина в течение семи недель. Если предположить, что работа над книгой велась только половину времени и что Шаяпин диктовал действительно лишь по два часа в день, то общее время, им затраченное, составит как минимум 50 (!) часов. Запомним эту цифру и перенесемся из Крыма на год вперед. В России уже началась революция.

В предшествовавшие ей годы, как показывает переписка, друзей немало волновали различные аспекты искусства. Тут и обсуждение шаяпинских спектаклей, в частности, блестящей премьеры «Псковитянки» в Милане, и разговоры о живописи и литературе, и, к сожалению, неосуществленные намерения создать для Шаяпина оперы об Эдипе и об одном из героев новгородского былинного эпоса Василии Буслаеве.

Вопросами искусства, правда, в несколько ином плане, занимались они и после Февральской революции, в период так называемого «двоевластия». Шаяпин вспоминал: «Началась невообразимая партийная гры-

зня на верхах, и анархически разгулялись низы... Социалистический Совет рабочих депутатов, опиравшийся на деморализованных солдат и на обозленные рабочие массы, держал в плену Временное Правительство и недоверчиво контролировал каждую его меру. К людям, сколько-нибудь умеренным, Совет относился с крайней подозрительностью – даже к «заложнику революции» в правительстве А. Ф. Керенскому. Двоевластие питало и усиливало анархию».

В создавшейся ситуации культурная интеллигенция Петрограда не без основания опасалась за сохранность культурных, художественных и исторических памятников. Была образована комиссия по охране памятников искусства. В ее состав вошли и Горький с Шалапиным, и им сразу же пришлось приступить к делу, которое заключалось в следующем. Совет рабочих депутатов принял решение о проведении похорон жертв революции на Дворцовой площади. Хотя никого из членов царской семьи в Зимнем Дворце уже не было, председатель Совета Чхеидзе, к которому пришли Шалапин и Горький с просьбой об отмене этого решения, «...слышать не хотел наших доводов, – пишет Шалапин, – жертвы революции *должны* (выделено Шалапиным. – И. Д.) быть похоронены под окнами тиранов!.. Мы отправились к Керенскому, бывшему в то время министром юстиции. Мы просили министра властью своей воспрепятствовать загромождению площади Зимнего Дворца. Не хорошо устраивать кладбище у Дворца, который ведь может пригодиться народу. Керенский с нами согласился, и благодаря Временному Правительству решение Совета было отменено».

Иван Бунин в своих «Воспоминаниях» также ярко рисует обстановку тех дней. Как-то в апреле 1917 года Бунин и Шалапин получили приглашение от Горького присутствовать на «торжественном сборище» в Михайловском (ныне Малом оперном) театре по поводу учреждения «Академии свободных наук». Вот как описыв-

вает этот вечер Бунин: «Горький держал свою речь весьма долго, высокопарно и затем объявил:

– Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!

Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он решительно сказал прибежавшему:

– Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.

Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:

– Вот, брат, какое дело: и петь нельзя и не петь нельзя, – ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А всё-таки петь я не стану.

Так и не стал».

В октябрьскую ночь большевистского переворота Шаляпин пел Филиппа в «Дон Карлосе». В вердиевский оркестр вплетался гром пушек крейсера «Авроры». Со сцены Народного дома испанский монарх прислушивался к тому, как утверждался философский закон «отрицания отрицания», – поглощая остатки Российской Империи, зарождалась империя советская.

После спектакля – в дождь и туман, – сопровождаемые стрельбой, не найдя извозчика и перебегая от подъезда к подъезду, добрались, наконец, Шаляпины до своего дома. От пережитых потрясений слегла на целый месяц Мария Валентиновна. «Если бы я в эту ночь спал, – пишет Шаляпин, – я бы сказал, что проснулся я уже в социалистическом тумане».

Трагические события, разыгравшиеся в этом тумане, начались почти сразу. Одна из глав второй части шаляпинских мемуаров «Маска и душа», названная «Под большевиками», целиком посвящена их описанию, поэтому лучше предоставим слово самому Шаля-

пину: «...столица ещё не отдавала себе ясного отчёта в том, чем на практике будет для России большевистский режим. И вот – первое потрясение. В госпитале зверским образом матросами убиты «враги народа» больные Кокошкин и Шингарёв, арестованные министры Временного Правительства, лучшие представители либеральной интеллигенции.

Я помню, как после этого убийства потрясенный Горький предложил мне пойти с ним в министерство юстиции хлопотать об освобождении других арестованных членов Временного Правительства... Здесь нас принял... министр юстиции Штейнберг. В начавшейся беседе я занимал скромную позицию манекена – говорил один Горький. Взволнованный, бледный, он говорил, что такое отношение к людям омерзительно. «Я настаиваю на том, чтобы члены Временного Правительства были выпущены на свободу немедленно. А то с ними случится то, что случилось с Шингарёвым и Кокошкиным. Это позор для революции». Штейнберг отнесся к словам Горького очень сочувственно и обещал сделать все, что можно, возможно скорее... Через некоторое время министры были освобождены.

В роли заступника за невинно-арестовываемых Горький выступал в то время очень часто. Я бы даже сказал, что это было главным смыслом его жизни в первый период большевизма. Я встречался с ним часто и замечал в нем очень много нежности к тому классу, которому угрожала гибель. По ласковости сердца он не только освобождал арестованных, но даже давал деньги, чтобы помочь тому или другому человеку спастись от неистовавшей тогда невежественной и грубой силы и бежать за границу».

Эти шаляпинские воспоминания написаны в 1932 году в Париже. И хотя пути друзей к этому времени уже разошлись, но Горькому певец посвятил десятки страниц. И сколько истинной приязни, сколько тепла вложил Шаляпин в описание портрета своего друга!

Шаляпин был не только гениальным певцом и артистом. Читая его, легко убедиться, что и в социальных, и в политических дебрях, несмотря на то, что все время старался быть далёким от политики, он разобрался довольно быстро. Как говорится, «мечтанья с глаз долой и спала пелена». Вот что он писал: «Я заметил, что искренность и простота, которые мне когда-то так глубоко импонировали в социалистах, в этих социалистах последнего выпуска совершенно отсутствует. Бросалась в глаза какая-то сквозная лживость (выделено Шаляпиным. – И. Д.) во всём. Лгут на митингах, лгут в газетах, лгут в учреждениях и организациях. Лгут в пустяках и так же легко лгут, когда дело идет о жизни невинных людей...»

И Шаляпин приводит еще один пример «любви к ближнему», который, к сожалению, не был таким же счастливым, как освобождение членов Временного Правительства. Вот эта печальная история, переданная устами Шаляпина: «Горький, который в то время, как я уже отмечал, очень горячо занимался красно-крестной работой, видимо, очень тяготился тем, что в тюрьме с опасностью для жизни сидят великие князья. Среди них был известный историк великий князь Николай Михайлович и Павел Александрович.

Старания Горького в Петербурге (Шаляпин продолжает называть Петроград Петербургом. – И. Д.) в пользу великих князей, по-видимому, не были успешны, и вот Алексей Максимович предпринимает поездку в Москву к самому Ленину. Он убеждает Ленина освободить великих князей и в этом успевает. Ленин выдает Горькому письменное распоряжение о немедленном их освобождении. Горький, радостно возбужденный, едет в Петербург с бумагой. И на вокзале из газет узнаёт об их расстреле! Какой-то московский чекист по телефону сообщил о милости Ленина в Петербург, и петербургские чекисты поспешили ночью расстрелять людей,

которых наутро ждало освобождение... Горький буквально заболел от ужаса».

Предоставим читателю право догадываться о личности «какого-то московского чекиста» и о путях, благодаря которым ему стало известно о ленинском письме и разговоре с Горьким, – мы же вернемся к шляпинским воспоминаниям. Однако примеров того, как «эх, хорошо в стране советской жить», мы больше приводить не будем. Хотя в книге Шаляпина их предостаточно, но это увело бы нас в сторону от основной темы. Шаляпин пишет, что «Горький не скрывал своих чувств и открыто порицал большевистскую демагогию... Я очень скоро почувствовал, как разочарованно смотрел Горький на развивающиеся события и на выдвигающихся новых деятелей революции».

Дальнейшее пребывание в Советской России становилось мукой, и почти одновременно, не знаю – сговорившись или нет, друзья покидают родину. То, что Шаляпин обсуждал с Горьким возможность отъезда, видно из следующего заявления певца: «Когда я во время большевистской революции, совестясь покинуть родную страну и мучаясь сложившейся обстановкой жизни и работы, после долгой внутренней борьбы решил, в конце концов, перебраться за рубеж, я со стороны Горького враждебного отношения к моему решению не заметил...»

Дав 29 июня 1922 года прощальный концерт в Большом зале Петроградской Филармонии, вечером того же дня Шаляпин со своей семьей отплывает на пароходе в Европу «на лечение и гастролы». Годом раньше также «на лечение» в Финляндию, а затем в Италию уехал и Горький.

Елена Грошева, автор уже упомянутой статьи «Федор Шаляпин», была и редактором-составителем шляпинских многотомников всех трех изданий. Она же предпослала им вступительные статьи, которые, по существу, являются вариациями на тему ее работы два-

дцатипятилетней давности. В зависимости от «соответствующей установки», некоторые моменты убирались, некоторые смягчались, но оставалась неизменной «генеральная линия», в которой «с улыбкой говорит товарищ Грошева», что «верно обобщить свои жизненные наблюдения революционных лет, отбросить несущественное (? – И. Д.) и увидеть главное, понять, что принесла социалистическая революция народу, Шаляпин не сумел. Малое и случайное, сугубо личное (?? – И. Д.) заслонило от него огромную важность и силу революционных преобразований».

Бог с ней, с Еленой Георгиевной. Если ей повезло и она получила возможность прочесть шаляпинскую книгу полностью, хотелось бы надеяться, что она сама не верит той чепухе, которую пишет, а просто вынуждена «одобрять, выражать, поддерживать» и так далее. Мы же приступаем к рассмотрению наиболее интересного и сложного, но и наименее изученного периода в дружбе Шаляпина и Горького – последней ее трети.

Опубликованная переписка этих лет между друзьями весьма скудна – едва набирается один десяток, причем лишь два письма принадлежат перу Горького. При этом последнее письмо уподобилось подпоручику Кижe, но об этом позже.

Обосновавшись в Париже, Шаляпин мотается по Европе и Америке, стараясь заработать побольше денег, чтобы обеспечить своё многочисленное семейство. Об этом он сообщает Горькому в письме от 26 июля 1924 года: «Продаю душу за доллары – выругал бы себя покрепче, да что-то жалко становится. Люблю себя-то, скотину, люблю, бесстыдника!»

Он усиленно приглашает Горького приехать к нему на дачу в Нормандию и обещает выхлопотать ему визу. На следующий год он собирается навестить друга в Сорренто, но и эта встреча сорвалась. В одном из писем Шаляпин рассказывает другу о поездке в Пиренеи и о купленном там клочке земли: «Я подумал, что тебе

было бы, пожалуй, лучше и еще полезней жить там. Может быть, я, если хорошо поработаю этот сезон и заработаю денег, – весной буду строить там дачу. С каким сладким удовольствием я выстроил бы тебе рабочий кабинет. Может быть, ты согласился бы туда приехать. Вот было бы чудесно! А?..»

В том же письме (16 сентября 1925 года) Шаяпин делится с другом предчувствиями, значение которых мы можем сейчас, с позиции времени, по достоинству оценить. Они показывают, какой силой предвидения обладал гениальный актер: «Многие думают, что «великая» война кончилась и так называемые «победители» и так называемые «побежденные» будто бы ищут урегулирования взаимных отношений, будто бы стремятся к миру (подчеркнуто Шаяпиным. – И. Д.) – а я, по глупости моей, все думаю, что война все продолжается, и главная катастрофа еще не случилась...»

Прости, Максимыч, но думается мне, что великое уничтожение человечества впереди и, кажется, в недалеком будущем. Не знаю, доживем ли?.. Не дай Бог! Вероятно, все, что я написал, – неумно, но мне кто-то говорит это в моем сердце».

В июне 1926 года Шаяпин отплывает на гастроли в Австралию и Новую Зеландию. По дороге пароход делает остановку в Неаполе, где, наконец, после нескольких лет разлуки происходит встреча друзей, о которой в письме к Е. П. Пешковой Горький сообщает: «Третьего дня, проездом в Австралию, был здесь Федор с Марией Валентиновной и четырьмя дочерьми. Мы с Максом (сыном Горького. – И. Д.) ездили к нему на пароход, провели с ним часов пять. Постарел Федор. Очень. И – не столько телесно, сколько – душевно. Устал человек. Ему бы следовало отдохнуть год, два».

Но отдохнуть Шаяпину некогда, незадолго до этого в письме к дочери Ирине он сетует: «Работать приходится каторжно. Жизнь страшно дорога, налоги всюду ужасные, а тут никто еще не встал на ноги, и нужна всем

помощь – ничего не поделаешь – работать надо...» И он использует любую возможность, чтобы не только заработать самому, но и помочь своему многочисленному потомству и друзьям, в том числе и Алексею Максимовичу. Поэтому его очень обрадовало предложение американских издателей о публикации книги «Страницы из моей жизни», которую Шаяпин с Горьким создавали вместе в Форосе. Новость эту Шаяпин сообщил своему другу во время встречи в Неаполе, а чуть позднее подтвердил в письме: «Я рад был тому, что эта продажа дала бы достаточно денег, а в твоём положении с разными литературными неурядицами и затруднениями дала бы тебе временно хорошую материальную поддержку, так как сам я денег брать никаких не хотел, да, говоря по совести, и не считал себя вправе...»

Три месяца спустя Шаяпин неожиданно узнает о том, что в ленинградском издательстве «Прибой» его воспоминания вышли в свет отдельной книгой, и он немедленно пишет Горькому: «Я не поверил бы, если бы не прочел вырезки как раз из той части, которая не была еще никогда и нигде напечатана. Ты, конечно, знаешь наше российское положение в отношении международного авторского права, и поэтому я, вероятно, не смогу уже продать их (записки. – И. Д.) в Америке, как хотел. Все издатели откажутся купить и возьмут, просто переведут на английский язык сами и будут печатать где и как хотят».

Будущее показало, что опасения Шаяпина были напрасны. Это наглядно видно из письма Ирине Шаяпиной (27 октября 1927 года), в котором читаем: «Книгой моей торгуют вовсю разные купцы Франции, Германии, Австрии и проч. За исключением Америки и Англии, где за эту книгу мне что-то платят. Остальные же аппрофитируют (извлекают выгоду. – И. Д.) закон и под покровительством «нет авторских контактов с Россией» зарабатывают за мой счет огромные деньги. Жулье!»

Однако мы слегка забежали вперед. Пока разгорался сыр-бор, кто-то нашептал Горькому, что Шаляпин распространяет слухи, будто именно Горький продал «Прибою» один из экземпляров рукописи (второй хранился у Шаляпина в сейфе парижской квартиры. – И. Д.). Письмо Горького по этому поводу или потеряно, или в силу каких-то причин не опубликовано, что представляется более вероятным. Легко можно предположить, в каком тоне оно было написано, ибо ответ на него Шаляпин заключает следующими словами: «Я уверен в том, что ты сам знаешь хорошо: недостатков у меня много, но мерзости в душе я никогда не ношу, а всегда тебя люблю и уважаю».

Из того же письма мы узнаём, что еще зимой 1927 года, когда Шаляпин увидел объявление «Прибоя» о намерении печатать всю книгу полностью (мы помним, что в 1917 году в «Летописи» вышла только первая часть воспоминаний. – И. Д.), он направил из Нью-Йорка телеграммы протеста в редакцию и Луначарскому. Кстати, тексты этих телеграмм до сих пор не опубликованы. О своих действиях он также телеграфно уведомил и Горького.

Редактор «Прибоя» присылает Шаляпину письмо с извинениями (само собой разумеется, что и оно не опубликовано. – И. Д.), предлагает уплатить гонорар и сообщает, что «дальнейшее печатание приостановлено впредь до моего согласия, – пишет Шаляпин Горькому, – на предложение о гонораре я ничего не ответил, так как никакого гонорара с них брать не хочу. Из этого ты увидишь, что, если б я и хотел бросить в тебя столь хамским обвинением, – я бы уже этого сделать не мог».

Бедный Шаляпин! Печальный опыт с «коленипреклонением» и, в частности, с последовавшей за этим перепиской ничему его не научил. Он вновь действует, как ему подсказывают чувства. Через несколько лет, как мы увидим, эта переписка с издательством будет использована против него. По всей видимости, он напи-

сал в редакцию «Прибоя» то же, что сообщает и Горькому: «Гонорар от Тихонова, если ты хорошенько припомнишь, я получил... по твоему же настоянию (за публикацию в 1917 году. – И. Д.), потому что я, как и сейчас (выделено мною. – И. Д.), считал совершенно неуместным брать деньги за книгу. Это меня никогда не интересовало. Тихонов несколько раз говорил мне потом, что он должен заплатить мне еще какие-то деньги, но я никогда ничего больше не получал и также никогда ему не напоминал.

На днях m-elle Вraith из Америки сообщила, что имеет от проданной книги чистой выручки 5000 долларов, и я ей послал телеграмму, чтобы она перевела тебе 2500 долларов.

Тон твоего письма показался мне обидным. Если я заботился и беспокоился о материальной стороне этой книги, то это было для того, чтобы ты получил несколько тысяч долларов, которые, как я предполагал, для тебя, вероятно, были бы не лишними».

По-видимому, ответ Шаляпина удовлетворил Горького. Ссоры на этот раз не произошло, однако размолвка не прошла бесследно. Горьковское раздражение в адрес Шаляпина прорывается в совершенно не соответствующей истине фразе, оброненной в письме к И. А. Груздеву: «Сам Федор писать не способен, ибо – ленив». Хорошо известно, что Шаляпин без помощи Горького написал вторую книгу мемуаров, опубликовал несколько статей, стихов, фельетон, да и эпистолярное наследие его читается с захватывающим интересом. Недаром же Рахманинов говорил о нем: «Беспредельный, феноменальный талант во всем, за что ни берет-ся».

В марте 1928 года в Советском Союзе торжественно отмечалось 60-летие Горького, а в мае – после семилетнего отсутствия – сам юбиляр отправился на родину. На пути в Москву, находясь проездом в Берлине, он встречается с Шаляпиным.

Первая поездка на родину ошеломила Горького и, нет сомнения, оказала огромное влияние на перемену во взглядах, в том числе и на отношение к Шалапину. Сын писателя Максим, сопровождавший его в поездке, так описывал встречу, устроенную Горькому: «...я настолько взволнован встречей, которую устроили Дуке (так он называл отца. – И. Д.), что связно писать не могу. С одиннадцати вечера и до самой Москвы, на всех станциях встречали с музыкой по несколько тысяч человек.

А в Москве делалось такое, что невозможно описать, провожала конная милиция, все улицы были полны народа...

Первое, что поразило, это *молодость толпы (езде) и замечательная дисциплина* (выделено мною. – И. Д.)».

Находясь в Москве, Горький помогает Ирине Шалапиной получить разрешение на выезд в Париж для встречи с отцом, за что Шалапин благодарит друга в письме от 10 октября 1928 года. По всей вероятности, существовало ответное письмо Горького. Ни в одном литературном источнике разыскать его мне не удалось. Однако в «Маске и душе» встречаем следующее: «Я уже прожил порядочное время за границей, как однажды получил письмо от Горького с предложением вернуться в Советский Союз... Конечно, Алексей Максимович в это время уже съездил в Россию и, вероятно, усмотрел для меня новую, определенную возможность там жить и работать. Но я в эту возможность, каюсь, не поверил».

И Шалапин объясняет, почему именно: «Вспоминная, как мне было там тяжело жить и работать, и не понимая, *почему изменилось мнение* (выделено мною. – И. Д.) Алексея Максимовича, я ему ответил, что ехать в Россию мне сейчас не хотелось бы. И выяснил откровенно причины. Писал я об этом Горькому на Капри... Так временно вопрос о моем отношении к возвращению в Россию повис в воздухе. Горький к нему не возвращался». Для этой части нашего повествования мне, видимо,

следовало бы изготовить клише, которое в очередной раз констатировало бы факт, что и это письмо не было обнародовано.

Прошел почти год, и Горький вновь поднял вопрос о возвращении Шаляпина на родину. Произошло это в Риме 18 апреля 1929 года. День этот принято считать днем последней встречи друзей. Это подтверждает и первый (и пока единственный) «Хронограф жизни и творчества Ф. И. Шаляпина», составленный Ю. Котляровым.

Встреча произошла следующим образом. Шаляпин, приехавший в Рим петь Бориса Годунова, позвонил Горькому в Сорренто и спросил разрешения приехать. Однако Горький решил сам поехать на встречу с другом и заодно послушать оперу. В театре Горький был возбужден и взволнован игрой Шаляпина и каждый антракт ходил к нему за кулисы.

После спектакля Федор Иванович и Мария Валентиновна Шаляпины пригласили Горького и всё его сопровождение на ужин в ресторан. Присутствовала там и Н. А. Пешкова, жена Максима, которая оставила следующие воспоминания: «...в заключение Алексей Максимович сказал Фёдору Ивановичу: «Поезжай на родину, посмотри на строительство новой жизни, на новых людей, интерес их тебе огромен, увидев, ты захочешь остаться там, я уверен». Мария Валентиновна, молча слушавшая, вдруг решительно заявила, обращаясь к Фёдору Ивановичу: „В Советский Союз ты поедешь только через мой труп“».

Фраза эта в официальной советской шаляпиниане стала хрестоматийной и кочует теперь из книги в книгу. С легкой (точнее было бы сказать – с нележкой) руки этой околотитературной дамы составила и вот уже более 40 лет насаждается «идеологически выдержанная» теория, объясняющая причины шаляпинского невозвращения. А. И. Солженицын не зря назвал ее «гепеушницей, спутницей Горького», ибо, посещая Соло-

вещкий лагерь, ничего, кроме красот природы и «местной соловецкой селедочки», она заметить не пожелала.

Описание встречи в Риме Н. Пешкова завершает так: «После такого заявления жены Федор Иванович как-то сразу затих, настроение у всех упало, Алексей Максимович замолчал, Максим помрачнел. Быстро засобирались домой, приятно начатый вечер был испорчен».

А теперь сравним версию Пешковой с рассказом самого Горького, как его передает Лев Никулин: «После спектакля Алексей Максимович, его близкие, вместе с Шаляпинными отправились в старинный ресторан Рима, так называемую «Библиотеку». Шаляпин был в ударе, он радовался встрече с Горьким, до поздней ночи они оставались в «Библиотеке». Шаляпин припоминал любимые рассказы Алексея Максимовича и передавал эти рассказы с обычным блеском прекрасного комедийного актера. Потом он запел, и все, кто был в эту ночь в «Библиотеке», столпились у стола, восхищенные этим неожиданным и чудесным концертом великого русского певца... Это была последняя встреча Алексея Максимовича с Федором Шаляпиным».

Пусть читатели решают, какая из версий звучит более правдоподобно. Мы же предложим их вниманию третий, шаляпинский, вариант: «...позже, когда мне случилось петь в Риме (я там пел спектакли), я встретился с Горьким лично. Все еще дружески, Алексей Максимович мне снова тогда сказал, что *необходимо* (выделено Шаляпиным. – И. Д.), чтобы я ехал на родину. Я снова и более решительно отказался, сказав, что ехать туда не хочу. Не хочу потому, что не имею веры в возможность для меня там жить и работать, как я понимаю жизнь и работу. И не то, что я боюсь кого-нибудь из правителей или вождей в отдельности, я боюсь, так сказать, всего уклада отношений, боюсь «аппарата»... Самые лучшие намерения в отношении меня любого из вождей могут остаться праздными. В один прекрасный

день, какое-нибудь собрание, какая-нибудь коллегия могут уничтожить все, что мне обещано. Я, например, захочу поехать за границу, а меня оставят, заставят и нишкни – никуда не выпустят. А там ищи виноватого, кто подковал зайца... Я почувствовал, что Алексею Максимовичу мой ответ (заметим: не ответ Марии Валентиновны, а самого Шаляпина. – И. Д.) не очень понравился. И когда я потом, вынужденный к тому бесцеремонным отношением советской власти к моим законным правам даже за границей, сделал из моего решения не возвращаться в Россию все логические выводы и «дерзнул» эти мои права защитить, то по нашей дружбе прошла глубокая трещина. Среди немногих потерь и нескольких разрывов последних лет, не скрою, и с волнением это говорю – потеря Горького для меня одна из самых тяжелых и болезненных».

Чтобы разобраться в том, что же произошло, мы вновь возвращаемся к первой шаляпинской автобиографии – «Страницам из моей жизни». В июне 1930 года адвокат Шаляпина Д. Печорин предъявил во французском суде иск к советскому правительству, обвиняя советские учреждения в самовольном печатании и продаже мемуаров Шаляпина, в незаконном ввозе книги во Францию и продаже ее в Париже. Материальные убытки Шаляпина по этому иску исчислялись в два миллиона франков.

Ход судебного разбирательства и правомерность решения суда не являются темой нашего исследования. Тем не менее, было бы очень интересно, если бы кто-нибудь из моих коллег-журналистов, проживающих во Франции, «раскопал» и обнародовал бы сейчас этот материал пятидесятилетней давности. Нас же интересует, как повлиял этот процесс на отношения между друзьями.

Советской стороной в суде была оглашена переписка Шаляпина с издательством «Прибой» в 1926 году по поводу издания записок певца в Ленинграде. Как

утверждают авторы комментариев в советских публикациях, Шаяпин в своих письмах отказался от претензий к издательству. Наряду с этой перепиской суду было также предъявлено письмо Горького советскому полпреду во Франции В. С. Довгалевскому, а также его письма в газеты «Правда» и «Известия». Содержание всех этих писем, в общем, идентично, поэтому выберем письмо редактору «Известий» (№ 349 от 20 декабря 1930 года) – оно короче остальных.

«Записки эти возникли *по моей* (выделено мною. – И. Д.) инициативе и при непосредственном моем участии. В 1916 году я *уговорил* (выделено мною. – И. Д.) Шаяпина рассказать мне его жизнь в присутствии стенографистки Евдокии Петровны Сильверсван. Он это сделал в несколько сеансов, затратив на рассказы *не более 10 часов* (выделено мною. – И. Д.). После того, как эти хаотические рассказы были стенографисткой расшифрованы, я придам им связность, переписал, добавив все то, что знал раньше по рассказам Шаяпина. В 1916 году он разрешил печатать их в «Летописи», за что ему уплачено было 6500 рублей».

А в письме к самому Шаяпину, написанному в августе того же года, то есть до начала судебного процесса, Горький заявляет даже так: «Записки твои на три четверти – мой труд». То же самое он повторил потом в письме к Довгалевскому. Пусть юристы разбираются в том, имеет ли право редактор, а в данном случае Горький выполнял преимущественно редакторскую работу, считать своею «на три четверти» книгу автора. Им же мы предоставим возможность оспорить, на мой взгляд, совершенно смехотворное утверждение Горького, которое мы находим в письме (и только там) к Довгалевскому: «Должен прибавить следующее: факт появления „Записок“ Шаяпина в журнале „Летопись“ (т. е. еще до существования советской власти. – И. Д.), казалось бы, лишает автора прав (?? – И. Д.) на оплату гонораром иностранных изданий „Записок“».

Пока юристы, если, конечно, захотят, будут разбираться в поставленной перед нами задаче, мы попробуем опровергнуть другие утверждения Горького. Прежде всего, мы уже подсчитывали, что даже по самому скромному расчету на создание своей автобиографии Шаяпин затратил в 5 раз больше времени. Далее, Горький утверждает, что инициатива создания записок принадлежит ему и что он же уговорил Шаяпина продиктовать их в Крыму.

Ах, как «прошАляпили» советские редакторы переписку друзей, предшествовавшую этому событию за много лет. Стоит лишь заглянуть в письмо Горького, написанное Шаяпину в сентябре 1909 года, как легко убедиться в том, что «двадцать лет спустя» он, мягко выражаясь, запямятовал авторство этой идеи.

Вот несколько отрывков из этого письма: «Милый мой Федор, – Константин Петрович – он здесь – сообщил мне, что *ты хочешь написать и издать свою автобиографию* (выделено мною. – И. Д.) – меня это сообщение очень взволновало и встревожило!.. Я тебя убедительно прошу – и ты должен верить мне! – не говорить о твоей затее никому, пока не поговоришь со мной... Ты можешь поверить мне – я не свои выгоды преследую, остерегая тебя от возможной – по доброте твоей и безалаберности – ошибки... О письме этом никому не говори, никому его не показывай! Очень прошу! По праву дружбы – прошу тебя – не торопись, не начинай ничего раньше, чем переговоришь со мной! Не испорчу ничего – поверь! – а во многом помогу – будь спокоен!»

Намерение друзей написать вместе шаяпинскую автобиографию откладывалось в течение нескольких лет и, наконец, было осуществлено в 1916 году. И опять же не по горьковской инициативе. В письме к Ирине Шаяпиной от 14 апреля 1916 года Шаяпин сообщал: «...затем возможно, что поеду с тем же Максимом (Горьким. – И. Д.) в Крым. Он чувствует себя, в смысле здоровья, отвратительно и должен обязательно побывать

в тепле на солнце, ... – вот я и решил прибегнуть к – так сказать – военной хитрости – то есть предложить ему следующее. Я, мол, буду писать книгу моих воспоминаний, а он будет написанное редактировать. Печатать же написанное будем в его журнале под названием «Летопись». *Идея эта ему понравилась* (выделено мною. – И. Д.), и он решил поехать со мной в Крым...»

Трудно допустить мысль, что приведенные нами документы фигурировали во французском суде. А если вспомнить свидетельство самого Горького в письме к Тимирязеву, что он *помогал*, а не создавал «на три четверти» шаляпинскую книгу, то в подобном случае решение суда могло бы быть иным. Шаляпину же в иске судом было отказано.

Однако не проигрыш процесса печалит Шаляпина. Он пытается найти объяснение внезапно изменившейся позиции Горького. При этом он категорически отмечает мысль, «что этот человек мог бы действовать под влиянием низких побуждений». Шаляпин ищет ответа и не находит его: «И все, что в последнее время случилось с моим милым другом, я думаю, имеет какое-то неведомое ни мне, ни другим объяснение, соответствующее его личности и его характеру».

В этой связи мне представляется интересным обратиться к капитальнейшему исследованию нашего столетия, солженицынскому «Архипелагу ГУЛаг», в котором писатель высказывает очень важную мысль: «Жалкое поведение Горького после возвращения из Италии и до смерти я приписывал его заблуждениям и неуму. Но недавно опубликованная переписка 20-х годов дает толчок объяснить ниже того: корыстью. Оказавшись в Сорренто, Горький с удивлением не обнаружил вокруг себя мировой славы, а затем – и денег (был же у него целый двор обслуги). Стало ясно, что за деньгами и оживлением славы надо возвращаться в Союз и принять все условия. Тут он стал добровольным пленником Яго-

ды. И Сталин убивал его зря, из перестраховки: он вос-
пел бы и 37-й год».

Кому-то мнение Александра Исаевича может показаться слишком категоричным. Может быть. Но это его точка зрения, и к ней должно относиться с уважением. Мне же она во многом представляется верной. Одно лишь обстоятельство хотелось бы добавить к характеристике поведения «подсоветского» Горького.

Не стоит забывать, что в это время ему шел уже седьмой десяток. К тому же хорошо известно, что многие годы он страдал от туберкулеза. Многолетняя же интоксикация туберкулезных больных, как известно, особенно в период обострения процесса, предрасполагает к эйфории. А если мы вспомним, какую встречу инсценировали власти к его возвращению, каким почетом и ореолом его окружили, то можно найти и «психологическое» объяснение резко изменившегося поведения Горького. Как тут не вспомнить еще раз бессмертного Грибоедова: «Да и кому в Москве не зажимали рты...» Как бы то ни было, сейчас не составит особого труда дать ответ на шаляпинский вопрос, кто же из них двоих был прав: «Что же произошло? Произошло, оказывается, то, что мы вдруг стали различно понимать и оценивать происходящее в России. Я думаю, что в жизни, как в искусстве, двух правд не бывает – есть только одна правда. Кто этой правдой обладает, я не смею решить. Может быть, я, может быть, Алексей Максимович. Во всяком случае, на общей нам правде прежних лет мы уже не сходимся».

Шли годы. После судебного процесса в Париже пути друзей окончательно разошлись, и, как утверждают все шаляпинские историографы, больше они ни разу не встречались. Мне же, после тщательного сопоставления фактов, представляется, что все же еще одна встреча имела место. Американский импрессарио Шаляпина Сол Юрок в своих воспоминаниях описывает эту встречу, которую он сам же и устроил. Вот как это

было. По рассказу Юрока, Горький находился в берлинском отеле «Адлон» на пути из Парижа в Москву. Я проверил хронограф жизни Горького день за днем, и из него не видно, что Горький мог быть в Париже в 30-х годах. Зато хорошо известен факт, что в августе 1932 года Горький выехал на Амстердамский конгресс борцов за мир. Голландское правительство во въезде в страну ему и всей советской делегации отказало, и в течение восьми дней Горький был вынужден оставаться в Берлине. К сожалению, горьковские биографы не указывают, в каком отеле останавливался Горький, Юрок же, по всей видимости, перепутал Париж с Амстердамом – простим ему эту «мелочь».

В то же самое время Шаляпин снимался в кинофильме «Дон Кихот», разъезжая то в Испанию, то в Англию. При европейских расстояниях доехать до Берлина – сущие пустяки, поэтому вполне возможно, что Шаляпин мог появиться в Берлине в период между 26 августа и 2 сентября. А теперь предоставим слово самому Юроку: «Я слышал, что Горький находился в отеле «Адлон» на пути из Парижа в Москву. Будучи поклонником обоих и не в силах вынести того, что оба мои кумира были в ссоре, я позвонил Горькому... Я спросил Горького, могу ли я привести Шаляпина. – Где этот болван? – прорычал горьковский голос в мое ухо. Другого приглашения мне не требовалось.

На мой стук дверь широко растворилась. Шаляпин сделал шаг вперед и, как огромный медведь, заключил Горького в свои объятия. Так они встретились друг с другом. Как они расстались, я не могу сказать, так как оставался с ними часов 6-8 и оставил их в сумбуре слез и водки...»

В конце 1931 года Шаляпин приступил к работе над своей второй книгой мемуаров «Маска и душа». В ней он хотел подвести итог своего сорокалетнего служения искусству. Не случаен поэтому и подзаголовок книги – «Мои сорок лет на театрах». Во вступлении к ней Шаля-

пин писал: «Магический кристалл, через который я Россию видел – был театр. Все, что я буду вспоминать и рассказывать, будет так или иначе связано с моей театральной жизнью. О людях и явлениях жизни я собираюсь судить не как политик или социолог, а актер, с актерской точки зрения. Как актеру, мне прежде всего интересны человеческие типы – их душа, их грим, их жесты... Если автору уместно говорить о качестве своего труда, то я позволю себе указать только на то, что в моей работе я стремился прежде всего к полной правдивости. Я выступаю перед читателем без грима...».

На протяжении всего нашего исследования мы неоднократно обращались к этому шаляпинскому труду и, я полагаю, можем с уверенностью сказать, что Шаляпин ни разу не отклонился от обусловленного принципа.

Отношение Горького к шаляпинской книге высказано в письме к Ромену Роллану: «Очень тяжелая вещь эти „воспоминания“, и я уверен, что Шаляпину внушают их паразиты, окружающие его, внушают для того, чтобы окончательно преградить ему дорогу на родину. Его новая жена бесстыдно говорит: „Федя поедет к большевикам только через мой труп“».

Еще более резок Горький в письме к самому Шаляпину. Однако, прежде чем обратиться к нему, проследим историю его публикации. Мы уже упоминали это письмо, говоря, что оно напоминает подпоручика Киже. Итак, первый раз оно увидело свет в сборнике «Горьковские чтения» (1954 год), затем вошло в первый том первого издания шаляпинского многотомника под номером 42. Из второго издания, 1960 года, оно неожиданно исчезает, при этом в оглавлении (стр. 761) за 41-м номером следует сразу 43-й. Примечания к переписке Горького и Шаляпина сообщают нам, что «...не удалось установить, было ли это письмо отправлено Ф. И. Шаляпину или же оно так и осталось у А. М. Горького в черновом наброске. Поэтому письмо не включено в раздел „Переписка с Горьким“».

Описание самого «черновика», приводимое в комментариях, весьма примечательно. В правом углу первой страницы рукою Горького написано: «3 копии. Одну на папиросной». Интересно, слышал ли кто-нибудь, чтобы «черновик» печатался в трех экземплярах? Глупость этого примечания не лезет ни в какие ворота. Повидимому, это поняли и в редакции, ибо из 3-го издания эта часть комментария изъята, как изъято, естественно, и само письмо.

А теперь самое время к нему обратиться: «Мне кажется, – пишет Горький, – что лжете Вы не по своей воле, а по дряблости Вашей природы и потому, что жуликам, которые окружают Вас, полезно, чтоб Вы лгали и всячески компрометировали себя. Это они, пользуясь Вашей жадностью к деньгам, Вашей малограмотностью и глубоким социальным невежеством, понуждают Вас бесстыдно лгать. Зачем это нужно им? Они – Ваши паразиты, вошь, которая питается Вашей кровью. Один из главных и самый крупный сказал за всех остальных веские слова: „Федя воротится к большевикам только через мой труп“».

Конец горьковского письма звучит патетически: «Зачем Вам понадобилось сочинять это? Эх, Шалапин, скверно Вы кончили».

Обращение к многолетнему другу на «Вы», а также тон этого письма на первый взгляд должны знаменовать полное осуждение Шалапина и окончательный разрыв дружбы. Однако ряд других обстоятельств наводит на мысль, что оно могло быть написано под влиянием определенных сил, а не по собственному желанию Горького. В самом деле, книга была завершена в марте 1932 года, а письмо датировано почти годом позже, т. е. 17 января 1933 года. Горький в то время жил в Сорренто, и трудно допустить мысль, что ему понадобилось столько времени, чтобы получить и прочесть шалапинскую книгу. Далее, ссылаясь на «лживость» книги, Горький приводит в письме лишь мелкие, второстепенные факты и

нигде ни разу не опровергает описываемые Шаляпиным негативные стороны большевистского режима, часть из которых мы отметили в нашем обзоре. И, наконец, совершенно откровенная и неуклюжая попытка всю вину свалить на голову М. В. Шаляпиной. А ведь было время, о ней он высказывался совсем по-другому. В письмах Горького к Е. П. Пешковой читаем: «Чудесная баба эта Мария Валентиновна и *хорошо* (курсив Горького. – И. Д.) она Федора любит, так по-матерински, по-сестрински» (30 августа 1911 года). Несколько дней спустя он вновь рассыпается ей в похвалах: «Великое счастье, что рядом с ним такая умная и спокойная женщина, как Мария Валентиновна, – вот чудесная фигура и милый товарищ!»

Не свидетельствует ли сопоставление всех приведенных фактов о том, что, клеймя Шаляпина вслух, в душе Горький не порицал друга?

Вернемся ненадолго вновь к последнему (прощальному) горьковскому письму. Несмотря на уверения советских шаляпиноведов, что оно могло остаться неотправленным, имеются свидетельства противоположные. Из воспоминаний А. М. Давыдова, в прошлом одного из лучших теноров российской сцены, видно, что «Горький, невзирая на прежнюю дружбу, на любовь к Шаляпину, написал ему очень резкое письмо. На Шаляпина этот ответ произвел впечатление разорвавшейся бомбы. *Я сам наблюдал его удрученное состояние после этого письма* (выделено мною. – И. Д.). Неоднократно, со слезами на глазах, он говорил: «В лице Горького я потерял своего лучшего друга». Шаляпин горячо и искренне любил Горького».

Имеющиеся в нашем распоряжении данные полностью подтверждают давыдовские слова, что Шаляпин не переставал любить Горького. Хотя не известно больше ни одного факта – по крайней мере, в печати – о встречах или переписке Шаляпина с Горьким, косвенные контакты между ними не прекращались. Узнав о

внезапной смерти сына Горького Максима, Шаляпин, находившийся на гастролях в Будапеште, послал Горькому телеграмму с соболезнованиями по поводу безвременной утраты. Событие это засвидетельствовано в горьковском хронографе, однако – нетрудно уже догадаться – текст телеграммы, хранящейся в архиве писателя, не приводится.

Весной 1935 года в Париж приезжала Е. П. Пешкова вместе со своей невесткой и с художником П. Коринным. Перед отъездом из Москвы Горький поручил жене встретиться в Париже с Шаляпиным. «Увидишь Федора, скажи ему: пора вернуться домой, давно пора!» – вспоминала Пешкова. Разговор во время встреч все время велся вокруг проблемы, связанной с возвращением Шаляпина на родину. Об этом пишет Пешкова, этого же в одном из писем к Ирине касается и сам Шаляпин.

В июле того же года к Ирине Шаляпиной обратилась редакция какой-то московской газеты с предложением опубликовать переписку Горького с Шаляпиным. На вопрос дочери о разрешении публикации Шаляпин ответил отрицательно, скромно принизив свое значение в жизни Горького: «Насчет писем Алексея Максимова – я думаю, едва ли это нужно. У него такая переписка со всеми исключительными и высокочемателными людьми всей нашей эпохи. Я же в среде их человек маленький, и значения, по моему мнению, не имею, а если и имею, то очень малое. Куда уж тут! У меня-то есть его письма, я, конечно, берегу их и горд ими. Как-никак, а все-таки у нас была дружба и довольно долго, а, главное, была молодость и общие мысли и дела».

В 1936 году, завершив изнурительные гастроли в Азии, Шаляпин возвращался на пароходе в Европу. Узнав о смерти Алексея Максимова, он с борта парохода прислал на адрес Ирины в Москву следующую телеграмму:

«Передай Екатерине Павловне следующее: потрясен, прочитав ужасающую телеграмму. Всех вас всегда обожал. Пусть будут с вами силы и здоровье. Федор Шаляпин».

Вернувшись в Париж, Шаляпин публикует вместо некролога статью «Об А. М. Горьком», в которой кратко рассказывает о своем знакомстве с ним и о некоторых последующих встречах. В нашем обзоре мы уже цитировали эту работу. Сейчас же мне хотелось бы обратить внимание на то, как Шаляпин, несмотря на разрыв со своим другом, старается дать объективную картину характера и поступков Горького: «Когда я слышу о корысти Горького, о его роскошной жизни на виллах в Капри и в Сорренто, о его богатствах, – мне становится за людей совестно. Я могу сказать, ибо очень хорошо это знаю, что Горький был один из тех людей, которые всегда без денег, сколько бы они не зарабатывали и не приобретали. Не на себя тратил он деньги, не любил денег и ими не интересовался... Нет, не корысть руководила Алексеем Максимовичем. Я говорил о его вечной боли за народ».

А одним абзацем раньше приведенного высказывания Шаляпин утверждает: «Что бы мне ни говорили об Алексее Максимовиче, я глубоко, твердо, без малейшей интонации сомнения знаю, что все его мысли, чувства, дела, заслуги, ошибки – все это имело один-единственный корень – Волгу, великую русскую реку, – и ее стоны... Если Горький шел вперед порывисто и уверенно, то это шел он к лучшему будущему для народа; и если он заблуждался, сбивался, может быть, с того пути, который другие считают правильным, это опять-таки шел он к той же цели...»

Шаляпин тяжело переживал потерю друга. Через год после его смерти он просит Ирину выхлопотать разрешение на вывоз из Москвы своей библиотеки, когда-то давно подаренной Горьким: «Теперь, когда его не

стало, – каждый вздох его и о нем мне в тысячу раз дороже, чем когда бы то ни было...»

Не прошло двух лет со дня кончины Горького, как не стало и Шаяпина. В кремлевской стене замурован прах одного из друзей, во французской земле покоится другой. Полжизни продолжалась дружба двух выдающихся сынов Российской земли и в конце концов драматически оборвалась, став очередной жертвой советского режима.

После многолетнего отсутствия Горький вернулся на родину, променяв свою свободу на звание «патриарха советской литературы». Шаяпин так и не рискнул последовать примеру друга и, несмотря на щедрые посулы, высказался по этому поводу вполне определенно: «Я продолжаю думать и чувствовать, что свобода человека в его жизни и труде – величайшее благо. Что не надо людям навязывать насилу счастье. Не знаешь, кому какое счастье нужно. Я продолжаю любить свободу, которую мы когда-то крепко любили вместе с Алексеем Максимовичем Горьким...»

ЛИТЕРАТУРА

М. Ф. Андреева. Переписка, воспоминания, статьи, документы. Воспоминания о М. Ф. Андреевой. М., «Искусство», 1961.

Архив А. М. Горького. Т. III. Материалы и исследования. 1941.

Архив А. М. Горького. Т. IV. М., ГИХЛ.

Архив А. М. Горького. Т. V. Письма к Е. П. Пешковой. М., ГИХЛ, 1955.

Архив А. М. Горького. Т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым. М., «Наука», 1966.

Архив А. М. Горького. Т. XIII. М. Горький и сын. М., «Наука», 1971.

И. А. Бунин. Воспоминания. Париж, «Возрождение», 1950.

М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи и высказывания. М., ГИХЛ, 1951.

М. Горький. Сочинения. Т. 29. Письма. М., ГИХЛ, 1949.

М. Горький. Сочинения. Т. 30. Письма. М., ГИХЛ, 1954.

- Горьковские чтения. 1949-52. М., АН СССР, 1954.
- Е. Г. Грошева. Федор Шаляпин. – «Советская музыка», 1958, № 4.
- В. Н. Дмитриевский. Великий артист. Л., «Наука», 1973.
- Летопись жизни и творчества А. М. Горького. Т. 4. М., АН СССР, 1960.
- Литературное наследство. Т. 72. М. Горький и Л. Андреев. М., «Наука», 1965.
- Литературное наследство. Тт. 83-84. Иван Бунин. М., «Наука», 1973.
- Л. В. Никулин. Федор Шаляпин. М., «Искусство», 1954.
- В. Розанов. Ночное нападение русских нигилистов на Ф. И. Шаляпина. – «Каторга и ссылка», 1928, № 50, стр. 140-153.
- Ал. Серебров (Тихонов). Время и люди. «Московский рабочий», 1960.
- А. И. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Тт. 3-4. Париж, YMCA-Press, 1974.
- И. Телешов. Избранные сочинения. Т. 3. М., ГИХЛ, 1956.
- В. А. Теляковский. Воспоминания. Л.-М., «Искусство», 1965.
- Г. Хубов. Горький и Шаляпин. – «Советская музыка», 1952, № 4-5.
- Ф. И. Шаляпин. Литературное наследство. Т. 1-2. М., «Искусство», 1957-58.
- Ф. И. Шаляпин. Литературное наследство. Т. 1-2. М., «Искусство», 1960.
- Ф. И. Шаляпин. Литературное наследство. Т. 1-3. М., «Искусство», 1976-79.
- Ф. И. Шаляпин. Маска и душа. Париж, 1932.
- М. О. Янковский. Шаляпин. Л., «Искусство», 1972.
- Sol Hurok. Impresario. Random House, NY, 1946.
- August Scholz. Wie Ich Maxim Gorki kennenlernte. – «Frankfurter Zeitung», No 340, Dec. 8, pp. 1-3, 1901. (Translated by Professor Andrew Hanfmann).

Иосиф ДАРСКИЙ – закончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт. До самого отъезда в 1977 году работал врачом по гигиене труда в различных НИИ и Санэпидслужбе города. Опубликовал около десятка работ по специальности, в настоящее время работает консультантом по гигиене труда в штате Нью-Йорк.

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany**

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA**

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

Искусство

Александр Г л е з е р

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Десять лет тому назад, 15 сентября 1974 года, в Москве произошло событие, вошедшее в историю русской культуры и вызвавшее отклик и даже бурю во всем цивилизованном мире. В тот далекий день возглавляемые Оскаром Рабиным художники-нонконформисты, которых последние полгода особенно тщательно обкладывало со всех сторон КГБ, решили дать открытый бой своим душителям. С картинами в руках они вышли на пустырь на окраине столицы нашей родины, на скрещении улиц Профсоюзной и Островитянова. В ответ на это власти бросили против горстки живописцев бульдозеры, поливальные машины и переодетых в штатское милиционеров. За какие-то 30 минут все было кончено. Картины стонали под бульдозерами и трещали на огне (победители разожгли костер и кидали туда полотна), художники, частью арестованные, частью разогнанные, как и зрители, в числе которых были и иностранные журналисты и дипломаты, отступили. Однако эта победа обернулась для власть имущих поражением. Мир, кажется, уже привык к советскому варварству. Но вот что-то такое особенно свирепо-дикое оказалось в бульдозерах, давящих картины, что даже этот мир содрогнулся и возмутился. Печать, общественность и государственные деятели разных стран день за днем обсуждали московское побоище. Одна из ведущих американских газет утверждала, что это начало конца детанта. Директор знаменитой лондонской «Тейт галери» отменил уже запланированную в Эрмитаже вы-

ставку Тернера. «Что это за общество, посылающее бульдозеры против картин?» – вопрошал в американском Сенате председатель американских профсоюзов Джордж Мини. А тут еще художники, будто не им выкручивали руки, будто не их избивали ногами, будто уничтожали не их полотна, заявляют: «Через две недели мы снова выйдем на то же самое место с картинами!». И власти пошли на попятную. Кордоны защитников соцреализма в штатском, да и кордоны самого соцреализма были смяты. 29 сентября 1974 года 15 тысяч зрителей присутствовали на официально разрешенном параде русского неофициального искусства в Измайловском парке. Он был разрешен только на четыре часа. Но как много стоили и как много значили эти четыре часа свободы?!

С той поры прошло десять лет. Уже тогда, через неделю после нашей победы, пессимисты и скептики качали головами: «А что теперь будет? Думаете, лучше? Хуже! Никогда они вам своего поражения не простят. Не надо было, не надо было начинать. Тише едешь, дальше будешь».

И вот совсем недавно один из французских коллекционеров русского искусства спросил у меня: «Что у вас получилось? Вроде бы верх взяли. А на деле что? Задавили там ваше движение. Одних приручили, других заставили уехать. Теперь вот, я слышал, художники в Москве говорят, что у них ностальгия по 60-м годам. Тогда что-то делалось, на что-то надеялись, а ныне скука, мертвечина...»

Да, если не анализировать то, что произошло за эти десять лет, а поддаваться эмоциям, то можно прийти в уныние. И наиболее активных коллекционеров из России изгнали, и наиболее бескомпромиссных художников на Запад выставили. А остальных нонконформистов загнали в Москве в Горком художников-графиков, создали там для них живописную секцию и поставили недавних бунтарей под гебистский контроль. Казалось

бы, есть от чего схватиться за голову: «Что же мы сделали?» Ну, а если б не сделали, что было бы сегодня? Ответить на это просто: так бы запугали художников (с февраля по сентябрь 1974 г. этим и милиция и КГБ очень активно занимались), что придушили бы движение нонконформистов, да так, что никто бы этого не заметил. А Горком художников – хоть и зло, конечно, но меньшее. Представьте себе, десятилетиями утверждала советская пропаганда, что никакого искусства, кроме социалистического реализма, не существует, все остальное – буржуазные штучки, проповедь буржуазной идеологии, гнилой модернизм. И вдруг Горком, советская художественная организация, начинает проводить экспозицию этих самых проклятых модернистов. И вся страна узнает об этом по не менее проклятым голосам западных радиостанций. И вот уже восемь лет, хоть время от времени грозятся власти закрыть живописную секцию Горкома художников, то и дело в Москве на Малой Грузинской улице проходят то групповые, то персональные выставки художников, с которыми два десятилетия нещадно боролись главнокомандующие советской культуры и госбезопасности. И народ смотрит эти выставки: то Вячеслава Калинина, то Николая Вечтомова, то Анатолия Зверева, то общие экспозиции и молодых, и «старой гвардии», ветеранов движения нонконформистов. И слух об этих выставках идет, как говорится, по всей Руси великой. Десять лет назад никто, кроме узкого круга москвичей, об этих живописцах ничего не слышал. А теперь?.. И вроде бы нужно объяснить народу, что стряслось, почему еще недавно чуть ли не предатели родины (так назвал модернистов на страницах журнала «Огонек» академик Налбандян) официально экспонируются ныне в Москве, а порою и в Ленинграде. Правда, на самом деле, никто ничего народу, так уж повелось в СССР, не объясняет. Но народ не дурак и сам соответствующие выводы делает. И задается вопросом: не гол ли король, то бишь соцреализм. Это я не придумал, а

слышал от недавно побывавших на московских выставках иностранцев.

Не нужно забывать и о том, что «бульдозерная» и Измайловская выставки активизировали многих молодых художников, «третье поколение» нонконформистов, которые отсиживались до того времени в подвалах своих мастерских. После сентября 1974 года они присоединились к своим старшим коллегам. И сейчас имена многих из этих молодых уже знают на Западе. И вот еще что: сентябрьские события отозвались на положении и официальных художников левого толка. Многие экспозиции, которые были до этого немыслимы, уже в октябре того же года были дозволены. Власти решили выпустить пар на всякий случай. Не хватало еще им бунта в рядах Союза художников!

Что касается изгнанников – художников и коллекционеров, то хотя их отъезд из России и ослабил, конечно, с одной стороны, движение нонконформистов, но с другой – оказал положительное влияние на развитие событий в метрополии. Действительно, до 1974 года о художниках-нонконформистах на Западе почти не знали. В сентябре 1974 года о них услышал весь мир. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Западные журналисты, которые освещали бульдозерную и Измайловскую экспозиции, о самих картинах писали мало и поверхностно. Советские органы информации, которым, естественно, на Западе никто не верил, именовали нонконформистов не иначе как бездарными мазилами, дебоширами, хулиганами, шарлатанами от искусства. Появление на Западе московских и ленинградских коллекционеров и художников дало возможность западным критикам и любителям живописи удовлетворить свой вполне понятный интерес к свободному русскому искусству. Давят каких-то художников бульдозерами, бросают в психушки, изгоняют из страны, но за что?.. Что же они пишут, что они рисуют, что

это за искусство, если огромное и мощное государство борется с ними всеми возможными и невозможными средствами?

Бульдозеры создали такую рекламу нонконформистскому искусству, что не успел я приехать в Вену, как уже через три дня, в одном из самых престижных выставочных помещений (Künstlerhaus) открылась экспозиция моей коллекции. А затем пошли приглашения из Западной Германии (десять выставок за два года), из Англии, Японии... Гигантская – пятьсот картин – выставка современного русского искусства в Париже в Пале де Конгре, через несколько месяцев большая, сопровождающаяся выпуском книги о неофициальном искусстве в СССР, экспозиция в Институте современных искусств в Лондоне. Еще через несколько месяцев Бьеннале в Венеции, которое посетило 160 тысяч зрителей («Давно уже не было у нас такого успеха», – сказал директор Бьеннале Карло Рипо ди Меана). А в 1978 году выставки русского неофициального искусства прошли в трех французских музеях, в городском музее Токио, в музее западногерманского города Саарбрюкена. В 1976 году открылся Музей русского искусства в изгнании в Монжероне в Париже, в 1980 году аналогичный музей возник в Джерси-сити под Нью-Йорком. Появились журналы «Третья волна» и «А – Я», в которых освещалось творчество художников-нонконформистов. Мир узнал о том, что в России, кроме казенного мертворожденного искусства соцреализма, существует и искусство подлинное.

Правда, скептиков ничто не убеждало. Они долгое время упорно твердили, что интерес к русскому искусству – дело чисто политическое и временное. Скоро все это кончится, уверяли они. Сейчас, кажется, примолкли, потому что не объяснишь же политикой тот факт, что на Западе появились коллекционеры неофициального русского искусства, что крупнейшие американские музеи приобретают, например, картины Вита-

лия Комара и Александра Меламида, что в Швеции создается музей Эрнста Неизвестного, что Михаил Шемякин обрел известность по обе стороны океана, что Оскар Рабин и Олег Целков живут только на свои картины (это не удастся и большинству западных художников). Наши московские начальники подобного развития событий не ожидали. Недаром, уже начиная с 1977 года, они внушали московским художникам-нонконформистам: голодают, мол, на Западе ваши коллеги, никто там русским искусством не интересуется. Даже соответствующие статьи порой в газетах публиковались. Однако железный занавес в стране Советов давно прорывился, век такой, что, как ни ставь радиоглушилки, как ни обыскивай на таможне въезжающих туристов, информация до того, кто ею интересуется, доходит, доходят и каталоги, и журналы, и газеты. И какой же большой моральной поддержкой для тех, кто и сегодня отстаивает там свободу творчества, являются, скажем, статьи о свободном русском искусстве и об отдельных художниках-эмигрантах в американских, западногерманских или французских журналах по искусству. А они были, и не мало: о Неизвестном, о Комаре и Меламиде, о Шемякине, о Нусберге, о Рабине, о Шелковском, о Целкове, о Файфе... В этом году в февральском номере крупного парижского журнала появилась большая статья о Монжеронском музее, в которой анализировалось, причем очень доброжелательно, творчество москвичей Владимира Немухина, Вячеслава Калинина, Владимира Вейсберга, Дмитрия Краснопевцева, Бориса Свешникова, Анатолия Зверева... И все эти журналы, как и каталоги выставок, в Москве и Ленинграде есть, доподлинно знаю. Не у всех (потому что то и дело появляются знакомые того или иного московского или ленинградского художника и просят от их имени те или иные каталоги, журналы, публикации), но есть.

Весь этот неожиданный для властей разворот событий очень им не нравится, но что они могут сделать? В

свое время они пытались сорвать выставку в Пале де Конгре. Не получилось. В этом году, узнав о том, что в Париже открывается новая русская галерея – вот тебе и нет интереса к свободному русскому искусству, – занервничали. Казалось бы, с чего? Уже есть такие галереи и в Париже, и в Нью-Йорке. Но дело в том, что все эти галереи создавали эмигранты и носят они чисто коммерческий характер. А тут вдруг француженка, искусствовед по образованию, Мари-Терез де Форас решила открыть русскую галерею, да еще во всеуслышание заявила, что хочет помочь и художникам, которые были вынуждены покинуть родину, и художникам, которые отстаивают свободу творчества в СССР. Ни с какой точки зрения появление такой галереи советских товарищей не устраивало. И еще до ее открытия пытались агенты Лубянки оплести сетями ее хозяйку: то предлагали доставлять картины из Москвы, то приглашали приехать в Ленинград, а там уж познакомят с художниками и помогут вывезти полотна, то звонили и советовали избегать политики, за это же снова сулили переправку картин из СССР. Но все они были отгаданы и отвергнуты. А уж заходы в открывшуюся в самом центре Парижа, напротив собора Парижской Богоматери «Галерею Мари-Терез» советских агентов с провокационными заявлениями и вопросами еще только больше убедили хозяйку галереи в правильности выбранного ею пути. Она даже наметила провести в ближайшее время персональную, из частных собраний, то есть не коммерческую, выставку Вячеслава Сысоева, художника-сатирика, находящегося ныне в советском концлагере. Так что и здесь ничего у товарищей не получилось. А в галерее уже состоялось три выставки, и статьи о них появились в известнейших журналах по искусству.

Я хорошо помню ситуацию до сентября 1974 года. Художники-нонконформисты окружены стеной молчания. Почти никто не знает их в России. Мало кто слы-

шал о них на Западе. Каждая выставка в Москве немедленно закрывается. Каждая выставка на Западе – событие, которое месяцами обсуждается.

Главным итогом бульдозерной и Измайловской выставок стало то, что художники поверили в свою силу и то, что о них услышал весь мир. А за прошедшее десятилетие весь мир, весь без преувеличения, узнал и их творчество. За это время на Западе: в США, Франции, Англии, Западной Германии, Швейцарии, Бельгии, Японии, Дании, Бразилии, Колумбии, Норвегии, Швеции – состоялось свыше семидесяти экспозиций (групповых и персональных) неофициальных русских живописцев. Две книги о неофициальном русском искусстве вышли за это время в Англии и США, были изданы десятки каталогов, опубликованы сотни журнальных и газетных статей; как я уже писал, во Франции появились коллекционеры свободного русского искусства. Недавно я получил письмо из Гамбурга. Там тоже собираются открыть русскую галерею и просят им помочь. Собираются открыть русскую галерею и в Лондоне. Музей в Монжероне продолжает получать предложения об организации выставок неофициального русского искусства в Европе. Художники-эмигранты только в этом году выставлялись в галереях Нью-Йорка, Сан-Франциско, Парижа, Вашингтона, Страсбурга...

От неизвестности и гебистской блокады к мировой известности – вот путь свободного русского искусства в это десятилетие, десятилетие, следовавшее за бульдозерным побоищем и измайловским победным днем сентября 1974 года.

Литература и время

Барбара Топорская

ЖИВАГО – СВИДЕТЕЛЬ ЭПОХИ

От переводчика: Больше четверти века прошло с появления «Доктора Живаго», а роман со временем становится – вместо что-то яснее – словно загадочнее. Недаром к нему всё обращаются и обращаются критики и исследователи, недаром и у нас на страницах «Континента» разговор о нем заходит не в первый раз. В первом прочтении «Доктор Живаго» и восхищает, и смущает, местами даже коробит, вызывает пресловутое впечатление «гениальной неудачи», если не прямо «гениального графоманства». А потом припоминаешь его, и оказывается, что каким-то боком захватило тебя и несет его волной, что все его коробящие наивности, натянутые случайности – не неумелость писательская (но и не – умелость), а нечто стихийное и естественное, что тебя уже не оставит и от тебя не отстанет. И тогда перечитываешь – раз, и другой, и целиком, и выборочно, и навязчиво хочешь понять: что же это нечто – роман ли сам? или то, что происходит между тобой и романом? Потому, вероятно, все самое интересное, что написано о «Докторе Живаго», клонится именно к этой теме: что происходит между читателем и романом? между жизнью в романе и жизнью «в жизни»? И давнишнее поверхностно-политическое впечатление становится, если так можно выразиться, историко-натурфилософским.

О «Докторе Живаго» писали и будут писать. Мы публикуем одну из ранних статей о романе. Польская поэтесса, прозаик, публицист Барбара Топорская нашла, как кажется, тот поворот, тот угол зрения, который и сегодня окажется близок русскому читателю.

Н. Горбаневская

О СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ И РОМАНЕ

Пастернак-поэт лучше прозаика. Но современная поэзия так элитарна, трудна (если не апоэтична), головоломна, суха, а все, что сохраняет рифму и ритм, логику и грамматику, так легко заподозрить в эпигонстве,

что единственный критерий для обычного читателя при оценке современного поэта – его проза. К поэзии не следует относиться, как к атомной физике, хотя бы потому, что самые запутанные физические формулы поддаются проверке и можно не понимать теории Эйнштейна, но верить в атомный реактор; зато трудно поверить, что кострубатые стихи хороши, поскольку чуть-чуть напоминают Эллиота, чуть-чуть – Шапиро, а чуть-чуть – объявления, которые в Вильно прикалывали кнопками на дверь:

Квалифицированная
В связи с болезнью дочери
(Гейне-Медина)
Шьет На Дому из материала заказчика
Быстро и Дешево
Первосортная Сила
Jardin des Modes и Die Dame
Номер 9, вход со двора
Л е о н т и н а
(спросить у дворника)

Откуда мне знать – может, и это были стихи? Особенно когда буквы намокали под дождем и чернила расплывались голубым, а потом все это засыхало слегка волнисто, с отвернувшимися уголками, пожелтевшие тетрадные листки на черных стволах лип: о Комнате Внаем в Приличной Семье, о Пропавшей Собачке, о Камышовых Корзинках Инвалида, о Бюстгальтерах и Корсетах с Парижским Шиком... Под зеленой листвой, под желтой листвой, а всего печальней, когда листва опадала... Возвращаясь к теме: зеркало поэзии Милоша – «Долина Иссы», отражение поэта Лехоня – его «Дневник». Закрывая объемный роман Пастернака, запуганный невежда, которому стихи поэта представлялись недостаточно «современными», знает: Пастернак-поэт лучше прозаика, он великий поэт.

«Доктор Живаго» часто прихрамывает, часто прямо хромот. Конструкция первой половины романа, хотя намного лучше второй, построена на принципе случайных совпадений. Как в дурном театре: герои входят на сцену и сходят с нее, случайно встречаются или разминуются, как и когда удобно автору. Поскольку сцена – бескрайняя Россия, эти совпадения, на которых держится все действие романа, выглядят довольно искусственно. Но можно сказать: «Так и бывает в жизни»; это можно сказать в особенности тогда, когда уже деваться некуда от диалектического умничанья, от социального и исторического детерминизма. Из двух крайностей заведомо ближе к истине та, которая гласит, что судьбой людей управляет слепой случай. Во второй половине романа – хуже: недостоверными ситуациями автор лишил правдоподобия монтаж случайностей. И все же, хоть и можно составить длинный список мест, где спотыкаешься, – читая роман Пастернака, не сомневаешься, что это великая литература. Глубокая, волнующая, вдохновенная. Искренняя, правдивая и достоверная.

И здесь стоит сделать отступление на тему реализма в романе как таковом. В конце XIX века реализм сделали приемом философии и политики, веря, что это единственный литературный метод свидетельствования социально-исторической истины. Наш нынешний опыт учит нас, что это отнюдь не так. Можно мастерски конструировать романический вымысел, правдоподобный, как протокол судебного заседания, можно мастерски описывать, как едят суп, чистят ботинки или намазывают лицо, и при этом не иметь ничего общего с правдой или быть с ней не в ладах. В первом специализируются авторы детективных романов, во втором – соцреалистическая литература. Два ужасных исчадия XX века, из-за которых у человека больше доверия к невнятице Беккета, чем к дисциплинированному течению эпического повествования.

Пастернак не занимается программным пренебрежением к деталям. Наоборот, его роман – видно, умышленно – обращается к традиции русских реалистических романов. Ему лишь не хватает высочайшего мастерства Толстого и Достоевского. Но в наше время даже погрешности прозы Пастернака обращаются не против него, а в его пользу. В век рутины – ни следа рутины. Ни одна страница огромного романа не написана из сюжетной нужды ловко свести концы с концами.

«Доктор Живаго» состоит из небольших глав, которые автор прерывает ровно там, где тема перестает его интересовать. Между концом одной и началом другой главы могут спокойно пройти часы, дни, месяцы или годы. Пастернак пишет только о том, о чем хочет писать, и благодаря этому все, что он пишет, насыщено необычайной для романа, зато свойственной поэзии, интенсивностью.

Только в самом конце книги он словно очнулся от поэтического транса и удовлетворил обычных читателей, которым, разумеется, хочется точно знать, что стало с главной героиней романа Ларой. И в эпилоге он дописал краткий рассказ дочери Лары – рассказ, на мой взгляд, скандально слабый. Однако если роман Пастернака сравнить с «нормальными» романами, где такие подпорки фабулы встречаются через каждые несколько страниц, где каждая реплика чуть подлиннее, особенно в дискуссии на важные темы, механически прерывается двумя тире, между которыми вставляется что попало, типа: «он закинул ногу на ногу», «затянулся сигаретой», «она машинально гладила кошку, которая мурлыча вскочила к ней на колени», словно автор боится, что читатель заскучает, – то следует констатировать, что у Пастернака этих рутинных приемов почти нет.

Упорно называя Советский Союз Россией, политики и публицисты Запада тенденциозно обманывают себя: это-де нормальное государство, с которым можно проводить нормальную политику, заключать нормальные мирные договоры или же вести нормальные войны; они тенденциозно закрывают глаза на тот факт, что Советы – это государство плюс коммунизм и что эта отнюдь не мелкая деталь, упорно замалчиваемая при употреблении названия «Россия», важнее всего для целого света. Поляки, упорно называя Советский Союз Россией, подчеркивают традиционную ненависть к восточному соседу и снобистски не разбираются в восточных делах. Американцы упираются на слове «Russia» по невежеству и в силу отечественных традиций, согласно которым нет хуже тирании, чем монархия, ибо независимость Штатов родилась из борьбы с английской монархией (кстати, во времена Георга III весьма приличной и либеральной). Поэтому, когда американский политик хочет выстрелить из тяжелой пропагандной пушки, он сравнивает Советы с «царской Россией», и русские передачи «Голоса Америки» следом за ним палят в советский свет как в копеечку. Напрасно пыталась я объяснить моей американской приятельнице разницу между либерализмом и демократией. Когда, наконец, я сказала, что предпочла бы жить в царской России, а не в демократической Америке, она расплакалась со злости. Многих читателей я наверняка огорчу таким высказыванием, поэтому хотела бы отметить, что я вовсе не так оригинальна, как это может показаться.

XIX век, кроме политических эмиграций, знал три неполитические эмиграции: одна, весьма численная, неграмотная эмиграция деревенской и городской бедноты в Америку; вторая, по природе своей менее численная, – из Западной Европы в Россию; третья, наконец, удивительнейшее явление, называемое «экспатриацией», –

массовое переселение американских интеллигентов в Европу. Это движение, начало которого датируется примерно серединой прошлого века, достигло кульминации в третьем десятилетии нынешнего, когда все интеллектуальные сливки Америки обитали в Париже, Лондоне, Берлине, Италии и т. д. Демократия, даже совокупно с материальным благополучием, – вовсе не обязательно Земля Обетованная интеллигенции.

В Россию выезжала интеллигенция не такого высокого полета. Из Германии, Франции, Англии, Швеции, Италии ехали бонны и гувернантки, но ехали и университетские профессора и инженеры, актеры, певцы, балерины и художники, а в первую очередь – дельцы с капиталами, чтобы вложить их в стране, которая, казалось, обладала неограниченными перспективами. Это не была запланированная эмиграция – происходило, скорее, неожиданное укоренение в стране гостеприимной, дружелюбной к западным пришельцам, экзотической, просторной и богатой. Пребывание незаметно затягивалось, а дети уже становились российскими патриотами. И похоже, что самым привлекательным в России было либеральное настроение, созданное русской интеллигенцией. Оно было в воздухе и в хорошем тоне каждого воспитанного человека – петербургского денди и московской курсистки, кокотки из Одессы и даже высших чинов жандармерии. В жизни оно играло гораздо большую роль, чем власть, самая абсолютная в тогдашней Европе, ибо с властью человек встречался редко, а с людьми – что ни день. Быть свободомыслящим, быть «против» – это было «кредо», снобизм и входной билет в хорошее общество. В такой-то атмосфере легкой анархии и легкой революционности ассимилировались дети иностранцев, вращались в российский «вишневый сад», чтобы потом, даже после долгих лет изгнания, в отчизнах своих отцов чувствовать себя русскими эмигрантами. Благодаря этому многие мои знакомые из русской эмиграции носят странные для русских имена: Рената

Вильгельмовна, Борис Карлович, Виктор Эрнестович... Только некоторые, когда прижмешь их к стенке, неохотно признаются, что в них нет ни капли славянской крови. До чего же глуп национализм!

Я никогда не была в России, а в детстве старалась быть антирусской. Потом я обнаружила в себе словно атрофию – «анти» не получалось. Ирка была русская, Поля – еврейка, Эрна – немка и лютеранка, к этому присоединились еще запутанные литовские и белорусские дела – слишком от многого надо было отмежеваться, чтобы удовлетворить эндецких* теток. И наступил тихий отказ от патриотизма, поскольку он стал равнозначен национализму, и произошел нырок в русскую литературу, а за ним появилась и храбрость, огорчая окружающих, утверждать, что ценишь ее выше, чем французскую. (Сегодня я скорее исправила бы это мнение, ибо с возрастом меняются вкусы: например, вдруг открываешь Баха, а Пуччини становится невыносим, предпочитаешь ренессансные палаццо готическим соборам, любишь Моне больше, чем Мане, тогда как раньше было наоборот. И, может быть, сегодня я поставила бы французскую умеренность и ясность выше русского «правдоискательства» и тревоги, французский «жиродизм» выше русской «достоевщины», но с возрастом пропадает вкус к художественной литературе и предпочитаешь роману эссе, воспоминания или какой-нибудь учебник.) Поэтому книге Пастернака не надо было переламывать во мне никакого антирусского сопротивления.

Но одно дело – отсутствие ненависти, другое – невольное подчинение такому сильному поэтическому гипнозу, что в стране чуждой, чтоб не сказать враждебной, распознаешь черты своей родины: эти березы, эти снега и метели, кони в оглоблях, телеги на большаках,

* Эндеки – национал-демократы, крайне националистическая партия. – П е р.

брички, катящиеся по дугам полевых и лесных проселков к удаленным от станций имениям, даже российские деревни и городки, даже эта старая дореволюционная Москва – кажутся вдруг знакомыми и сердечно близкими. И неведомый край становится медиумом твоей ностальгии, которая с годами иссохла и пригасла, оживая лишь время от времени, в редких снах... Не знаю, существует ли в литературе произведение, столь же наэлектризованное любовью к родине, любовью столь же заразительной. И вот в нападках на автора, многочисленных и выдержанных в стиле советского барокко, неизменно повторяется все тот же упрек: «Пастернак – свинья: он изменил родине. Пастернак ее ненавидит». Какую родину? Россию или Советский Союз? Точность названия в высшей степени существенна.

В ФИЗИКЕ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИЕЙ

Если бы Советский Союз был Россией, обладающей даже самым что ни на есть имперским государственным динамизмом, и если бы границы российских владений совпадали с сегодняшним железным занавесом, вопрос мирного сосуществования был бы для нас, поляков, несомненно, крайне тяжким, но не грозил бы разложением того комплекса явлений, который мы называем «культурой Запада» или «свободным миром». Я не говорю сейчас о таких очевидностях, как то, что трудно себе вообразить даже самый ничтожный процент англичан, французов, итальянцев и т. д., которые стремились бы включить свои страны в российские владения. Но не будем строить иллюзий, что западная культура – устойчивое тело, что-то вроде гранитного Монблана, определяемого географическим положением. И не будем строить иллюзий, что ее будут хранить рабочие, пусть самые симпатичные, даже мчащиеся по автострадам исключительно на «мерседесах».

Всегда и везде формировала культуру и поддерживала культурные традиции интеллектуальная элита, или, шире, интеллигенция. Какова сегодня позиция интеллектуала или интеллигента на Западе? Как раз противоположная той, что некогда занимал русский интеллигент: либо левый конформизм, либо «disengagement».

Моралист Камю набрал воды в рот по вопросу Алжира. Не стоит удивляться. Не обязательно быть даже французом, достаточно быть европейцем, чтобы опасаться, что арабский национализм играет роль советского окружения. Тем не менее, это ни на иоту не прибавляет нравственности французскому правлению в Алжире. Так же, как необходимость сохранять английские военные базы ни на иоту не придает нравственности правлению Англии на Кипре. Еще ярче выглядит вопрос атомных испытаний. Допустить советский перевес в этом оружии равнялось бы самоубийству западного мира со всей его культурой. Это ни на иоту не придает нравственности осыпанию Японии радиоактивной пылью. Выходит, что, самое большее, возможно не замечать некоторых вещей, избегать некоторых направлений исследования. Не знать и не верить. Так, как западное общественное мнение не знает, что наибольшее число беженцев сегодня вслед за Восточной Германией поставляет титовская Югославия. Так, как редакторы «Обсервера» не знают, что Гонконг заполнен беженцами из коммунистического Китая. (Зато они знают, что китайцы ненавидят Чан Кай-ши и обожают Мао Цзе-дуна. Откуда?)

Никто и никогда не доказал, что самоцензура, применяемая ради той или иной выгоды или хотя бы ради сохранения блаженной невинности, действует менее разрушительно, чем цензура. На мой взгляд – более. И сам факт наличия Советского Союза действует разрушительно, ибо превращает людей, сосуществующих с ним, в полуслепых и полуглухих. Одни видят только

левым глазом и слышат левым ухом, другие – только правым глазом и правым ухом. Кто из этих полукалек должен стать продолжателем и хранителем «западной культуры»?

КАКИМ ГЛАЗОМ МЫ ВИДИМ ЛУЧШЕ?

Западная Европа, внезапно одаренная годами сытого благополучия, не склонна бить тревогу по поводу этого внушения на расстоянии, но не следует иллюзорно рассчитывать, что сегодняшняя идиллия будет продолжаться вечно. Она – неожиданный результат поражения, которое столкнуло Европу на краешек советско-американского состязания. Стоит, однако, приглядеться к истории Соединенных Штатов с того момента, как они вступили на арену международной политики: либо коммунистическое проникновение, такое сильное, что невозможно было установить, где кончалась диверсия, направляемая из Москвы, а где начиналась политика Рузвельта, – либо маккартизм. Сходным образом выглядели дела в предвоенной Европе: либо «народный фронт», гостеприимное гнездышко для коммунистических ячеек, либо фашизм.

Веймарская республика была подорвана коммунистической диверсией, отнюдь не ограничивавшейся идеологическими кампаниями; задачи этой диверсии были вполне конкретны: шпионаж, диверсионные акты, подделка документов, экспорт агентов по всему свету. То же происходило во Франции под властью Народного Фронта. Только упорствуя в политическом дальтонизме, можно не замечать, до какой степени республиканская Испания была представительством Москвы. С тех времен, когда Ленин заменил революционного интеллигента «профессиональными революционерами», шпионами, агентами, провокаторами, наемными убийцами без чести, но с верой в «тактику» и все это смешал с идеологией, – терпимость и либера-

лизм стали жертвой большевизма, стремящегося к уничтожению свободы; а ограничение свободы ведет на скользкую дорожку к тоталитаризму.

Быть может, я лично всегда выбирала бы свободу, вместо того чтобы играть с сильнодействующими средствами ее защиты. Когда положение кажется безвыходным, остается одно: придерживаться настоящего времени и заботиться о его порядочности. Как сказал бы Пастернак: между политикой и жизнью – я выбираю жизнь. Но зачем же питать иллюзии, что мы живем в либеральном и терпимом мире, если сегодня это мир коллективного мышления с разрешением уклоняться только налево? С каким презрением относятся к антикоммунистам, как им в кредит наклеивают этикетку «фашистов», как удобно отождествляют позиции интеллектуала с отсутствием «предрассудков» (40 лет спустя!). Терпимость и либерализм дозволены лишь тогда, когда ими кормится большевизм. И это куда большее достижение Советов, чем их атомные бомбы.

Мы дрожим от страха перед радиоактивной пылью. Почему мы так нечувствительны к заразе, которая идет из СССР? Вероятно, из-за отсутствия инструментов. «Дело Пастернака» внезапно оказалось весьма чувствительным инструментом.

ПРАВДА, КОТОРОЙ НИКТО НЕ ХОЧЕТ

Могло бы показаться, что «дело Пастернака» принадлежит к области однозначного, черно-белого, где без всяких трудностей отличаешь свободу от насилия и произвола. Оказывается, нет! Ситуация... серая. Коммунистическая печать нашла нежданных союзников в «Обсервере», «Экспрессе», «Монде», «Шпигеле»... Виноваты не Советы, а Шведская Академия, присудив Пастернаку Нобелевскую премию, – так считают те, у кого на визитных карточках значится «либерал». Правая печать, например, католический «Мюнхенер мер-

кур», взяла ноту гуманности: не надо было подставлять Пастернака под удар. Расхождение между мотивировками огромно, но все указывает на одно и то же: на порабощение умов с той стороны, которую патетически называют свободным миром. Пока этот процесс порабощения идет, побуждения и причины выглядят важными – в конечном результате они потеряют значение. Один журнал высказал мнение, что ввиду щекотливости положения Шведская Академия должна была сначала спросить у советского правительства согласия на присуждение премии Пастернаку. Когда кто-то возмущенно цитировал мне это, я пожалала плечами. Что, в конце концов, представляет собой бóльшую степень порабощения: задавать вопросы или угадывать желания? При таких настроениях неслыханная компрометация Советов, мерзость, подлость, варварство, а вдобавок хамство, неуклюжесть и глупость, которые по случаю Пастернака проявились во всей полноте, проходят почти незамеченными. Левоглазые Крэнкшоу не способны заметить, например, такую мелочь, что разные советские организации во главе с комсомолом мечут громы и молнии на роман, которого... не читали, ибо в СССР он не издан. Из чего же они делают вывод, что он достоин осуждения? Но, когда заговариваешь об этом, начинается раздраженность: «Ужасны эти профессиональные антикоммунисты – вечно они таскают каштаны из огня».

Следует, впрочем, признать, что «профессиональные антикоммунисты» ведут себя в деле Пастернака вполне дилетантски. Они усиленно внушают, что, по существу, «Доктор Живаго» не содержит никакой неприязни к большевикам. Такое утверждение свидетельствует либо о неслыханном невежестве, либо о тактическом расчете. Пастернаку это не поможет, а правде повредит. А правда в этом случае воистину весьма любопытна.

Роман Пастернака – антисоветский сердцем и душой, более антимарксистский, чем вся литература «по-

зитивизма», антитеза соцреалистического романа в каждой детали. До какой же степени в СССР верили в возможность изменения системы, если Пастернак рассчитывал выпустить «Доктора Живаго» в советском издательстве, если величайший ловкач Эренбург несколько лет тому назад хвалился, что читал рукопись, и назвал ее «шедевром», если вокруг Пастернака начала создаваться атмосфера «человека с будущим»! Как это кончилось, мы знаем. Вчерашние друзья, соседи по дачам публично оплевали Пастернака. Но весь ход дела и его трагический эпилог – куда более сильное разоблачение, чем вся чепуха, которую несут московские корреспонденты. С одной стороны, перед нами неудержимая готовность скинуть с себя невольничье ярмо – даже среди благополучных иждивенцев советского режима; с другой – доказательство того, как легко советская власть, со Сталиным или без Сталина, способна управиться с этими тенденциями. Одновременно обнаружилось, как нереальна ставка на эволюцию в коммунистическом лагере без вмешательства извне. Во-первых, такая эволюция имела бы шансы на успех лишь в том случае, если бы она происходила в России, в центре, а не на периферии. Во-вторых, ставка на эволюцию оправдана только тогда, когда веришь, что общество, от которого зависит смена власти, системы, строя, нуждается в созревании. Созревание это состоялось уже сорок лет назад, да только общество бессильно. Оно не окрепнет от того, что вымрут такие, как Пастернак.

Быть может, эти выводы не слишком приятны для антикоммунистических «тактиков».

«ДВОРЯНСКОЕ ЧУВСТВО РАВЕНСТВА»

Трудно терминологически определить ту удивительную мягкость, почти старосветскую, почти анахроничную, благодаря которой «Доктор Живаго» так отличается от всего, что сегодня пишется, издается и чи-

тается не только там, но и здесь. И как приятно во второй половине XX века обнаружить современный язык без тени вульгарности, природный ум без стремления удивлять и исказить, лиризм, не замаскированный жесткостью. Современная литература словно бы внушила, что современный человек ведет себя по отношению к любви, благородству, доброте, как батрак по отношению к принцессе: либо как болван, либо как хам. С какой барственной свободой умеет Пастернак говорить об этих чувствах, не смущая и не смущаясь. На первых страницах книги есть характеристика матери Юрия Живаго. Пастернак пишет, что у нее было «дворянское чувство равенства со всеми живущими», что она умела «выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обесмысливаются». Это «дворянское чувство» – черта Пастернака-прозаика. Это определение следовало бы дополнить прямо органической убежденностью в исключительности каждой человеческой личности, отвращением к фразе, особенно когда она злоупотребляет «народом» или «нацией», и отталкиванием от политики, а также презрением к теории, догмам, демагогии. «Это графоманство!» – несколько раз повторяет Пастернак в своей книге, и в первый момент этот термин в сравнении с советской мельницей, где на перемол пущены мысли, выглядит эвфемизмом. Но вскоре мы догадываемся, как это верно. Жизнь велика, богата, обильна – доктринер обедняет ее, заужает, ограничивает. Как графоман, который не может справиться с темой.

«Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и выдавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом жизнь никогда не бывает. (...) она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий. (...)

В эти первые дни (речь идет об октябрьской революции. – Б. Т.) люди, как солдат Памфил Палых, без всякой агитации, лютой озверелой ненавистью ненавидевшие интеллигентов, бар и офицерство, казались редкими находками восторженным левым интеллигентам и были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом классовой солидарности, их варварство – образцом пролетарской твердости и революционного инстинкта».

Двух симпатичных рабочих, участников революции 1905 года, во время октябрьской революции Пастернак описывает так: «Сопричисленные к божественному разряду, к ногам которого революция положила все дары свои и жертвы, они сидели молчаливыми, строгими истуканами, из которых политическая спесь вытравила все живое, человеческое». Еще позже эти двое добрых людей из первых глав романа превращаются в «растрельные автоматы», став судьями ревтрибунала.

Подобные фрагменты можно было бы цитировать без конца, и цензура могла бы без конца их вычеркивать, но если даже разобрать роман до его скелета, до самой фабулы, то и тогда выпадет осадок, пусть не враждебный, но чуждый коммунистической философии, тому, что они называют «научным мировоззрением», а также технике и методу соцреалистической литературы.

Пусть никого не вводит в заблуждение тот факт, что все герои Пастернака стартуют как энтузиасты революции. Так было. Вся предреволюционная интеллигенция была революционной в стране, где «Капитал» Маркса стал известен раньше, чем капитализм, где ругательство «буржуй» появилось раньше буржуазии, где быть приговоренным к тюремному заключению считалось почетным и в тюрьмах на «казенной бумаге» и «казенными» чернилами писались революционные трактаты. Боже, прости ей несчастья, которые она навлекла на себя и на нас, ибо не ведала, что творит!

Современный западный интеллигент не имеет права на такое неведение, как бы красивы и соблазнительны ни были революционные традиции. Пока он не поймет, что путь «налево» лежит в лагерь насилия и конформизма, что роли переменялись и жертвенность, самоотверженность, отвага проявляются сейчас на стороне контрреволюции, до тех пор он будет скатываться по наклонной плоскости, и единственную надежду на то, что он не вызовет катастрофы, можно усматривать в том, что демократии могут обойтись без интеллигента. В том, что они могут заменить его «комиксами», «рок-н-роллом», «хула-хупом» и предвыборными фразами улыбчивых политических менеджеров.

Накормленный пролетариат, к тому же, отлично управляется без интеллигентов, с помощью хорошо оплачиваемых профсоюзных чиновников. «Революционная» интеллигенция ему не нужна – она на нем паразитирует, явно и цинично на Востоке, под маской различных «social workers» на Западе.

(А propos. Гарантирует ли благополучие от опасности большевизма? Говорят, что да, но я в этом совсем не уверена. Трудней совершить «пролетарскую революцию» без пролетариата, что ухитрились сделать в России, нежели там, где пролетариат есть, пусть даже самый обеспеченный. Ибо революцию совершают университеты, а не пролетариат.)

ДОКТОР ЮДЫМ И ДОКТОР ЖИВАГО

Доктор Живаго – антитеза «положительного героя» соцреалистического романа. Но этого мало. Он вызывал бы раздражение в варшавских салонах эпохи позитивизма. Даже в нашем классе, в 1933 году, когда мы абсолютно искренне восхищались доктором Юдымом*, Жеромский заставил своего героя ради общества отка-

* Доктор Юдым – герой романа Стефана Жеромского.

заться от личного счастья и семьи. Пастернак заставляет своего героя покинуть московскую больницу во время тифа ради иллюзии спасения личного счастья и семьи. Все усилия доктора Живаго с самого начала революции направлены в одну сторону: спасти близких, свое творчество и свою индивидуальность от Общественного Молоха, мучащего, нивелирующего, пожирающего жертвы. Видно, многое переменялось за последние десятилетия, если сегодня такой подход не удивляет и вызывает не протест, а скорее понимание и сочувствие. Даже в демократических странах, где общество еще не превратилось в чудовище, как в СССР, оно уже так хорошо организовано, что тяготит, и давит, и, по крайней мере, не побуждает к энтузиазму, к созиданию алтарей и жертвоприношениям. «Неутомимый общественник» сегодня не звучит красиво даже в некрологах.

ПРАВДОЛЮБЕЦ

*Неизвестный Солдат оказался военным преступником
Каждая цивилизация ставит новые памятники
Воздвигнем же памятник Человеку Который
Не Поднял Руки*

*Он был канцеляристом в концлагере
Никогда не поднял руки в защиту избиваемых*

Мы так засорены фразами о мире, что он представляется благом абсолютным, высшим – даже для Пап. «Война» звучит, как в Средние Века звучало «сатана». Сжечь на костре, побить камнями, утопить. «Голос Америки» ежедневно заверяет поработанные народы, что для Эйзенхауэра и Даллеса, для республиканцев и демократов, для всех порядочных, нравственных, демократичных людей мир – самое святое. Über alles. Даже мы, эмигранты, при каждом удобном случае страстно уверяем, что жаждем освобождения только мирным путем. Несмотря на то, что все знают (и все знают, что все знают), что такого пути нет.

На последних страницах романа Пастернака можно найти такие высказывания о последней войне:

«...весь этот кровавый ад был счастьем по сравнению с ужасами концлагеря...»;

«...война явилась очистительной бурей, струей свежего воздуха, веянием избавления»;

«И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы».

Что переменялось? Немногое. Совсем немногое. И, наверно, от Берлина до Владивостока миллионы людей мечтают о войне, как я мечтала о ней под Вильно в 1940-41 гг., как сейчас мечтаю о ней для своих дальних и ближних. Но по обе стороны железного занавеса в этом вопросе господствует все тот же психологический террор. Да только, чёрт побери, где нужно больше мужества, чтобы громко сказать правду: здесь или на подмосковной даче?

Барбара ТОПОРСКАЯ – польская поэтесса, прозаик, публицист. С 1945 г. регулярно печатается в польской эмигрантской прессе. Выпустила книги: «Сестры» (роман, 1966), «К востоку от сегодняшнего дня» (два романа, 1970), «Athene Noctua» (стихи, 1973), «Оглянись назад, Эон» (роман, 1981), «На Млечном Пути» (роман, 1982), «Дорогая пани...» (сборник статей и эссе Барбары Топорской и Юзефа Мацкевича, 1983). Из этого последнего сборника взята публикуемая статья, впервые напечатанная в лондонском еженедельнике «Вядомосьци» в 1959 году.

Литературный архив

Адам Мицкевич

К РУССКИМ ДРУЗЬЯМ

*Перевод с польского Анатолия Якобсона
(Публикуется впервые)*

Вы – помните ль меня? Когда о братьях кровных,
Тех, чей удел – погост, изгнание и темница,
Скорблю – тогда в моих видениях укромных,
В родимой чередѣ встают и ваши лица.

Где вы? Рылеев, ты? Тебя по приговоре
За шею не обнять, как до кромешных сроков, –
Она взята позорною пенькою. Горе
Народам, убивающим своих пророков!

Бестужев! Руку мне ты протянул когда-то.
Царь к тачке приковал кисть, что была открыта
Для шпаги и пера. И к ней, к ладони брата,
Пленѣнная рука поляка в плоть прибита.

А кто поруган злей? Кого из вас горчайший
Из жребиев постиг, карая неуклонно
И срамом орденов, и лаской высочайшей,
И сластью у крыльца царѣва бить поклоны?

А может, кто триумф жестокости монаршьей
В холопском рвении восславить ныне тщится?
Иль топчет польский край, умывшись кровью нашей,
И, будто похвалой, проклятьями кичится?

Из дальней стороны в полночный мир суровый
Пусть вольный голос мой предвестьем воскресенья
Домчится и звучит. Да рухнут льда покровы!
Так трубы журавлей вещают пир весенний.

Мой голос вам знаком! Как все, дохнуть не смея,
Когда-то ползал я под царскою дубиной,
Обманывал его я наподобье змея –
Но вам распахнут был душою голубиной.

Когда же горечь слёз прожгла мою отчизну
И в речь мою влилась – что может быть нелепей
Молчанья моего? Я кубок весь разбрызну:
Пусть разъедает жёлчь – не вас, но ваши цепи.

А если кто-нибудь из вас ответит бранью –
Что ж, вспомню лишний раз холуйства образ жуткий:
Несчастный пёс цепной клыками руку ранит.
Решившую извлечь его из подлой будки.

ГОЛОС С ТОГО СВЕТА

23 февраля 1842 года друг Пушкина Александр Тургенев, брат «хромого Тургенева» из декабристских строф «Онегина», записал в своем дневнике: «На последней лекции я положил на его (Мицкевича. – В. Ф.) кафедру стихи Пушкина к нему, назвав их „Голос с того света“».

Этот список стихотворения «Он между нами жил» с надписью Тургенева хранится сегодня в музее Мицкевича в Париже.

Так уж получилось, что надпись эту, «Голос с того света», можно отнести сегодня и к переводу стихотворения «К русским друзьям», сделанному Анатолием Якобсоном незадолго до смерти. Это послание Мицкевича несколько раз неудачно переводилось на русский язык, пока, наконец, перевод В. Левика не вытеснил все работы его предшественников. Сегодня перевод Левика считается хрестоматийным и входит во все сборники Мицкевича, издающиеся в Советском Союзе. К сожалению, перевод этот сделан «без божества, без вдохновенья». Левика не только не удалось воспроизвести ритмико-фонетическую поступь и интонационную динамику оригинала, он умудрился исказить

ход мысли автора, составляющий единое целое с формой стихотворения. Причем смысловые отклонения от подлинника настолько существенны, что заставляют подозревать переводчика в сознательной недобросовестности. У Мицкевича сказано: «...klatwa ludom, co swoje morduja proroki...», что в подстрочном переводе означает: «...проклятье народам, убивающим своих пророков». Левик же переводит: «проклятье палачам твоим, пророк народный». Как видим, Левик не только упростил Мицкевича, но и исказил, приписав ему банальную сентенцию. К тому же, весь перевод Левика пестрит такими штампами, как «светлый дух», «братских полон чувств», «радостный призыв» и т. д., невысказанными у поэта такого масштаба, как Мицкевич.

В отличие от ремесленной работы Левика, перевод Анатолия Якобсона – не слепок с оригинала, а живое воспроизведение, пусть и не воссоздающее в мельчайших деталях каждую подробность подлинника, зато обладающее теми же, что подлинник, качествами.

Якобсону удалось передать главное: взаимодействующее единство насыщенного ритма стиха с поступательным ходом мысли. Завершив работу над переводом Мицкевича за несколько месяцев до смерти, А. Якобсон еще успел отправить его в Москву Лидии Корнеевне Чуковской, мнение которой ценил чрезвычайно. Оценка Л. К. Чуковской его обрадовала, хотя ее критического замечания он не принял и продолжал считать строфы о Рылееве и Бестужеве своей творческой находкой. Лидия Чуковская писала: «Итак, о Мицкевиче: прочла Ваш перевод. Он замечателен богатством словаря академического и переводческого: такие словесные находки, как «погост», «череда» и «срам орденов» (браво!), «вещают пир». Да и кроме словесного богатства – поступь стиха передает величие, грозность. Но и недостатки представляются мне существенными. Две ударные строфы: о Рылееве и Бестужеве, не ударны, не убедительны, потому что синтаксически сбивчивы. «Рылеев, ты?» Найдено очень сердечно, интимно, а дальше – она (шея) взята позорною пенькою – сбивчиво, и вся строфа искусственна. То же и Бестужев. Даже до смысла я добралась не сразу, запутавшись в руке и кисти, тут синтаксис нарушен, то есть дыхание. (...) Перевод Левика ремесленная мертвечина, механическая. Вы его кладете на обе лопатки. Рядом с Вашим он похож на подстрочник».

Б. Пастернак писал: «Подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности».

Такое впечатление жизни удалось передать Анатолию Якобсону в переводе одного из лучших стихотворений европейской лирики.

Владимир Фроммер

Дорогой Владимир Емельянович!

Присоединяю свой голос к многочисленным поздравлениям, которые очевидно получает сегодня «Континент». Мое отношение к журналу и к его Главному редактору не претерпело каких бы то ни было изменений за последние 10 лет.

15 августа 1984

Марк Поповский

СТРАНА И МИР

В первом квартале 1984 г. в Мюнхене начинает выходить ежемесячный журнал «СТРАНА И МИР». Журнал освещает события политической, экономической и духовной жизни в Советском Союзе и во всем мире. Журнал обращен ко всем читающим по-русски, вне зависимости от их политической, национальной или религиозной принадлежности, — живущим в СССР и за рубежом.

Объем журнала 96 стр. большого формата.

Цена одного номера 6 нем. марок.

Стоимость годовой подписки 60 нем. марок.

Пересылка за счет редакции.

Подписка производится по адресу:

Das Land und die Welt e. V., Schellingstr. 48,
8000 München 40, BRD.

Подписная плата принимается в виде чека, почтовым переводом или перечислением на банковский счет:

Deutsche Bank BLZ 700 700 10, Konto-Nr. 331 9613 или
Postgiroamt München BLZ 700 100 80, Konto-Nr. 223981 804.

Справки по телефону (089) 272 18 99.

Колонка редактора

СНОВА ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

На этот раз против Владимира Буковского. В связи с этим с горечью вспоминаю, что, когда проект издания «Континента» только был выдвинут, вышеупомянутый писатель в лучших советских традициях, даже еще не читая журнала, первым начал кампанию в немецкой печати против его издания вообще. Вы спросите, почему? А ему, видите ли, не нравился наш немецкий издатель – Аксель Шпрингер, ибо он являлся его идейным противником в Германии. И вся эта довольно убогая демагогия распространялась этим уважаемым нами писателем, с употреблением излюбленных им словечек, вроде «плюрализма», «демократизма», «прогрессизма» и так далее, как говорится, и тому подобное. Люди его типа, как известно, – все поголовно плюралисты, демократы и прогрессисты, но лишь до тех пор, пока ты им не противоречишь, а если попытаешься, горе тебе! Знаем, знаем, дорогие, на своей собственной шкуре испытали! И по сегодня чешется.

В отличие от Генриха Бёлля – Аксель Шпрингер, к примеру, никогда за эти десять лет не пытался вмешиваться с высокомерными поучениями в дела нашего журнала или русской литературы в эмиграции вообще.

А теперь о полемике Генриха Бёлля с Владимиром Буковским. Что же не понравилось маститому писателю в «Записках русского путешественника»? Практически почти всё. Сделав несколько обязательных в таких случаях реверансов в сторону слишком известного автора, он не оставляет затем от книги, что называется, камня на камне.

И все это в поучающем тоне, с глобальными претензиями типичного немецкого интеллектуала, под

аккомпанемент трескучей политической риторики, от которой за версту несет внешнеполитическими передовицами газеты «Правда».

Разумеется, Генрих Бёлль кровно болеет за весь мир, но, в основном, за Третий, а Владимир Буковский, по его мнению, болеть не желает*. (Хотя, к слову сказать, у него на этот раз совсем другая тема.) Разумеется, тот же Генрих Бёлль не хочет, к примеру, говорить о Берлинской стене позора, хотя он и немец, а Владимир Буковский о ней вспоминает, ибо он, как европеец, кровно заинтересован в том, чтобы ее не существовало. Разумеется, в свою очередь, Генрих Бёлль считает беды близкой ему Латинской Америки или Южной Африки главными, а Владимир Буковский думает, что если бы советская система не занималась политическим и военным манипулированием в этих районах мира, с их действительно тяжелыми и насущными проблемами, то проблемы эти можно было бы решать гораздо эффективнее. Или, как говорится, у кого чего болит, тот о том и говорит.

Но я все же отдаю предпочтение позиции Владимира Буковского, ибо он болеет своими проблемами, о которых очень хорошо знает по личному опыту, а Генрих Бёлль – чужими, о которых судит по статьям изданий вроде «Цайта» или «Шпигеля».

Немецкий радиослушатель, еще не прочитавший книги Буковского, поверит на слово (и уже не возьмется за книгу!) таким, скажем, «оценкам» Бёлля: «Буковский обесценивает свой анализ советской системы тем, что в

* Совсем недавно, к примеру, едва узнав о судьбе индейского племени мискито, доведенного любезным сердцу Генриха Бёлля коммунистическим правительством Никарагуа до тотального голода, Владимир Буковский тут же пожертвовал голодающим свой очередной гонорар. Генрих Бёлль мог бы сделать то же самое по отношению тех народов в Третьем мире, которым он так сочувствует на словах. Тем более, что, по всей вероятности, маститый писатель гораздо состоятельнее русского диссидента.

качестве альтернативы предлагает стабильные военные диктатуры». Да читал ли сам Бёлль «Записки русского путешественника»? Или воспользовался чьим-то недобросовестным пересказом?

И, конечно же, весь этот маленький «радио-сырбор» знаменитого писателя был тут же услужливо переведен на русский язык политическими эмигрантами определенного толка и с услужливой оперативностью опубликован другими эмигрантами того же толка, явно с лукавыми целями.

Но к их маниакальным экзерсисам я давно попривык. Так что пусть себе тешатся. Караван пойдет и дальше своей дорогой.

P.S. Когда номер уже набирался, из Португалии пришло известие: бывший начальник Государственной безопасности, ярый прокоммунист, майор Карвальо пойман, как говорится, с поличным при подготовке государственного переворота. Напоминаем нашему читателю, что в Португалии действует представительная демократия и у власти находится социалистическая партия во главе с Марио Суаришем. Едва лишь власти объявили об аресте неудачливого кандидата в диктаторы, как группа западных интеллектуалов выступила с возмущенным протестом против этой, по их мнению, противозаконной меры. И, конечно же, одной из первых в списке авторов письма красовалась фамилия Генриха Бёлля со товарищи из числа попутнического сброда всех мастей.

После такого заявления позволительно спросить у писателя, считающего себя гуманистом: какого же типа демократии добивается он и его единомышленники на Западе, если они так близко к сердцу принимают судьбу этого откровенного фашиста марксистского толка. Впрочем, нам, жертвам таких фашистов, это очень легко себе представить. Нетрудно также теперь установить, кто же из двух авторов – Владимир Буковский или Генрих Бёлль – в действительности выступает апологетом авторитарных диктатур. Так что отныне немецкому писателю следовало бы быть поскромнее в своих смехотворных претензиях учить нас уму-разуму.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе
Главный редактор Ирина Иловойская-Альберти
Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris

Начиная с 1 января 1984 года, цены меняются вследствие изменения почтовых тарифов.

Стоимость подписки во французских франках:

Обычной почтой

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	74	138	265
Все остальные страны	107	294	397

Воздушной почтой

Европейские страны,			
Северная Африка	119	228	445
США и Латинская Америка,			
Южная Африка	146	281	530
Австралия, Япония, Китай	150	290	570
Израиль, Иран	125	240	468

Давнишним подписчикам по-прежнему делается скидка.
В цену входит выходящее 6 раз в год приложение
«Обозрение», аналитический журнал «Р. М.» под
редакцией А. М. Некрича.

Просим писать прямо на адрес редакции и приложить банковский или почтовый чек, либо сделать почтовый перевод.

Наша почта

Дорогой Владимир Емельянович!

Прошу Вас опубликовать в Вашем журнале прилагаемый к этому письму рапорт Русскому Зарубежью.

С лучшими пожеланиями

Л. Магеровский

РАПОРТ РУССКОМУ ЗАРУБЕЖЬЮ

Ноябрь 1983

Со всех концов свободного мира ко мне, куратору-основателю Бахметевского Белого Архива, созданного русской эмиграцией в Нью-Йорке в 1951-77 гг. при Колумбийском университете, поступают письма обеспокоенных русских людей с запросами о судьбе Архива. Отвечаю всем – опубликованием этого моего Рапорта Русскому Зарубежью.

1. Борьба за возвращение Белого Архива в компетентные русские руки продолжается при поддержке американских друзей. И продолжается уже 6 лет! Надо отметить, что без американских друзей она была бы просто невозможной.

2. Эта напряженная борьба прошла несколько этапов, так как непоколебимым историческим фактам неизменно противопоставлялись всё новые и новые построения формалистического, бюрократического и канцелярского порядка, сводящие Белый Архив (учреждение *sui generis!*) к простой части библиотеки.

3. Надо крепко помнить, что Архив возник в 1951 г. на основе джентльменского (неписанного) соглашения между представителями эмиграции и университета, президентом которого в это время был ген. Эйзенхауэр. Большой друг русской культуры проф. Филипп Артуро-

вич Мозли называл это предварительное соглашение *братским*. Действительно, оно обеспечило Архиву доверие всего Русского Зарубежья. Материалы поступали бурным потоком и за 26 лет (1951-77) Архив стал великим памятником Белой Борьбы во всем ее многообразии. Так Нью-Йоркский Архив продолжил собирательскую деятельность Пражского Архива, потерянного Русским Зарубежьем в 1945 г. (Ваш покорный слуга был одним из основателей Пражского Архива).

4. Историки определили, что после Второй мировой войны в жизни Русского Зарубежья было три трагических события:

1) *насильственные выдачи* (в Лондоне был сооружен памятник на вечные времена об этом великом грехе западной цивилизации);

2) *захват первого Архива*, созданного Русским Зарубежьем в Праге на основе джентльменского соглашения с правительством Чехословацкой Республики (с чехов «спросу нет»: они сами были обращены в рабство);

3) *изъятие из компетентных русских рук второго Архива*, созданного Русским Зарубежьем опять на основе джентльменского (неписанного) соглашения. В мае 1977 г. Архив был буквально вырван из компетентных русских рук и переброшен в другое здание; эмиграция, создавшая Архив, была из него изгнана; прежнее плодотворное сотрудничество с нею прекращено, а многократно выраженные пожелания вкладчиков и общественных организаций отвергнуты. Произошло все это не в 1950-х годах и не в 1960-х, а именно в столь знаменательных 1970-х... И произошло совсем по учебнику немецкого языка для средних школ: *Du bist mein, weil ich bin gross und du bist klein*.

5. Совершавшие эти деяния рассчитывали, что эмиграция молча «съест» все то, что произошло. Расчеты не оправдались, и так как отрицать, что Белый Архив создан Русским Зарубежьем, было невозможно,

то в ответ на посыпавшиеся протесты (со всех концов свободного мира) пишутся невразумительные бюрократические отписки (то по одному, то по другому рецепту) и главное – делаются попытки поколебать историческое значение джентльменского соглашения 1951 г. Попытки эти совершенно несостоятельны. Каждому ясно, что только джентльменское соглашение обеспечивало Архиву *доверие* всего Русского Зарубежья, а доверие привело к огромному притоку материалов (в большинстве – ценнейших и секретных). Надо было бы считать вкладчиков из Старого и Нового Света сумасшедшими, если бы они беззаботно передавали свои секретнейшие материалы БЕЗ наличия джентльменского соглашения и уверенности в полной (нерушимой) его крепости. Ведь, следуя джентльменскому соглашению, я 26 лет представлял интересы эмиграции в Архиве, лично принимал материалы секретного характера, давал соответствующие заверения – устно и письменно. Наконец, Ваш покорный слуга никогда не согласился бы после Праги взять на себя великую ответственность и стать куратором-основателем Нью-Йоркского Архива, если бы его возникновению не предшествовало джентльменское соглашение, исключавшее самую мысль о возможности изъятия Архива из компетентных русских рук, изгнания из него эмиграции и превращения его в простую часть библиотеки.

6. Отвечаю на вопросы, почему сразу же не обратились в суд. Вспоминается замечательная повесть А. С. Пушкина «Дубровский». Троекуров представил все нужные статуты, положения и всякие иные документы. Показания крестьян об их вековой и бесспорной принадлежности к Дубровским не были приняты во внимание... Но самое главное – откуда было взять деньги на оплату адвокатов? Троекуров-то оплатил всех, кого было нужно.

7. Что же происходит в Архиве сейчас?

По моему суждению, положение плачевное и тре-

бует немедленных изменений. Судите сами – укажу немного, но характерное. Когда соблюдалось джентльменское соглашение, действовал Попечительский комитет и т. д., Ваш покорный слуга 26 лет был непрекаемым представителем эмиграции в ею же созданном Архиве. В мае 1977 г. эмиграция была выброшена из Архива вместе со мной и джентльменским соглашением. Совершавшие это действовали поспешно и неосмотрительно: они создали тупик, в котором сидят 6 лет. *Без меня* до сих пор не могут отделить секретные материалы от несекретных, так как в особых случаях мои соглашения с вкладчиками, по их желанию, НЕ писались, материалы сдавались мне на основе *личного доверия*, и я, естественно, применял к ним – камуфляж (до сего дня не раскрытый). Об этом я предупредил в мае 1977 г. и указал, что прикосновение к этим материалам будет вопиющим нарушением доверительности (и секретности). Далее, до сих пор, несмотря на все требования, не решаются опубликовать имена тех, кто ворошил и ворошит сейчас несчастные материалы. Уже 6 лет Русское Зарубежье ждет этой публикации! Мне сообщают, что едущие в СССР, но не обладающие способностью читать разные русские почерки, упражняются теперь в Архиве в чтении рукописных текстов... Может ли Русское Зарубежье, зная о такой «практике», отнестись к ней равнодушно? Многие вкладчики секретнейших материалов умерли, но у них остались за железным занавесом – друзья, родственники, потомки. Об этих материалах должно иметь соответствующее попечение Русское Зарубежье. Это уже наша моральная обязанность, от которой, по совести, нельзя уклониться ни мне, ни всем живым белым.

8. Что же делать в создавшейся ситуации?

Перед нами пример успешного завершения борьбы лондонского комитета о насильственных выдачах, при которых также имели место несдержанные обещания и насилие. Комитет не стал заниматься исследованиями в

женевских и иных комиссиях, а избрал гласное (возможно более гласное!) обращение к человеческой совести, к правде на земле (в человеческом общежитии), к моральному большинству западной цивилизации. По этому же пути идет сейчас и комитет о швейцарских узниках в своей весьма энергичной деятельности. Этот неизбежный выбор подкрепляется также и тем, что уже 6 лет (1977-83) идет борьба за Архив, который Русское Зарубежье по праву считает своим историческим национальным достоянием. Дело Архива стало известно во всем мире, и повсюду люди доброй воли осуждают содеянное в мае 1977 г. Будем также помнить, что за публичное осуждение насильственных выдач пришлось бороться 37 лет – более трети века. Поэтому надо требовать неперменного возвращения к джентльменскому соглашению 1951 г., требовать во всех видах и формах и чем более гласно, тем лучше: мы боремся за правое и всем ясное дело и мораль (законы морали, а не бумажка!) – на нашей стороне.

9. Сохраняя полную беспристрастность, я должен сказать, что нынешний президент университета д-р М. И. Соверн не несет личной ответственности за изгнание Русского Зарубежья из им же созданного Архива и изъятие Архива из компетентных русских рук. Будучи самым молодым президентом во всей истории университета, он получил полный горечи конфликт с Русским Зарубежьем, так сказать, по наследству и, естественно, должен был держаться чужой линии поведения. Теперь пришло время для президента Соверна *лично* разобраться в этом деле и ликвидировать никому не нужный конфликт; теперь полная ответственность за всё дальнейшее уже ляжет на него лично, станет частью его биографии. Огромное собрание копий обращений русских людей и полученных отписок будет бережно сохраняться для историков – исследователей нашего времени. Печальное дело Архива уже крепко вписано в историю, но президент Соверн может в наши дни стать его муд-

рым и благородным завершителем. Об этом сейчас надо ему писать по адресу: Dr. M. I. Sovern, President, Columbia University, New York, N. Y. 10025 – и просить его безотлагательно сделать свой личный доклад попечителям университета. Конечно, этот доклад и их решение должны быть опубликованы. Публикация лишней раз подчеркнет, что США – свободная, демократическая страна и в ней по требованию общественных организаций дела решаются открытой дискуссией и именно так нормальные люди приходят к благополучному завершению всех недоразумений и несогласий.

10. Пишущий эти строки – единственный участник джентльменского (братского – по словам незабвенного Ф. А. Мозли) соглашения, оставшийся по воле Божией еще в живых, – готов немедленно прийти президенту Соверну на помощь и оказать всякое содействие ликвидации конфликта, напрасно тянущегося уже 6 лет. Ликвидацию можно осуществить в один день, если президент Соверн пожелает. Соответствующий проект у меня имеется. Нужна лишь добрая воля. Будем надеяться, что она будет проявлена.

*Лев Магеровский, куратор-основатель
Бахметьевского Архива (1951–1977).*

Приложение

Письмо в редакцию «Нового русского слова»

СУДЬБА БАХМЕТЬЕВСКОГО АРХИВА

Многоуважаемый господин Седых!

В ответ на редакционную статью от 2 июня 1981 г. мы просим Вас поместить следующее заявление, выпущенное Колумбийским университетом:

Статья, напечатанная в НРС от 2 июня 1981 года, подписанная Андреем Седых, содержит много фактических ошибок. Бахметьев-

ский Архив Колумбийского университета открыт и продолжает существовать. Архив по-прежнему тщательно соблюдает условия, поставленные жертвователями архивных материалов.

С уважением –

Фред Кнобел,
директор Отдела информации
Колумбийского университета

От редакции:

Директор Отдела информации Колумбийского университета обвиняет автора статьи о Бахметьевском Архиве в том, что он допустил «много фактических ошибок». Было бы правильно указать, о каких именно ошибках идет речь. Так как в письме не содержится никаких указаний на то, в чем именно заключались эти ошибки, мы считаем обвинение голословным.

Ошибок можно было избежать, дав редактору Нового Русского Слова возможность лично побеседовать либо с президентом университета г. Соверном, либо с главой Отдела общественных сношений г. Ньюболдом, либо с директором Отдела информации. Представители Колумбийского университета от личной беседы по поводу Архива уклонились – в соответствии с тактикой, ранее принятой Университетом в этом вопросе.

Пятница, 12 июня 1981 г.

Новое Русское Слово

ОТ РЕДАКЦИИ: Удивляет даже не вызывающая лапидарность этого сообщения некоего митрофанушки из Колумбийского университета (тешим себя надеждой, что теперь он уже исчез оттуда, как сон, как утренний туман), но, прежде всего, его тон: эдакая нагловатая снисходительность, свойственная, кстати сказать, всем образованцам, во всех частях света. Неправда ли, дорогой читатель, весьма пикантно: обобрав жертву, официально известить ее, что ее имущество прекрасно служит новым хозяевам... Ну да Бог с ним: митрофан он и есть митрофан!

Дело, к сожалению, даже не в нем, в конце концов, а в первую очередь, в том, что, вопреки предварительной договоренности, у русской политической эмиграции отнято право *контроля* над вышеозначенным архивом.

И, видимо, на место, по праву принадлежащее этой эмиграции, поставлен очередной местный недоумок с дипломом.

И если у нас нет еще сколько-нибудь реальных возможностей пробить носорожье упрямыство митрофанушек из Колумбийского университета, то у нас есть средства и место начать обучение этих ослепленных своим, почти клиническим самомнением носорогов от науки уважительному тону в разговоре с русской политической (и не только политической!) эмиграцией.

Вот уже десять лет «Континент» и его редактор этим и занимаются. И, будьте уверены, они готовы продолжить это увлекательное занятие до конца.

Уважаемый Владимир Емельянович!

Ваш ответ на мое письмо и удивил, и взволновал меня. Вы пишете, что разделяете мою и Нины Строкатой точку зрения на процесс Демьянюка, как и на большинство процессов такого рода в США, считая их «результатом эффективного проникновения советской дезинформации в свободный мир». Но, тем не менее, Вы не согласны напечатать наше письмо премьер-министру Израиля, поскольку таковое может быть превратно истолковано.

Прежде всего, я должен заметить, что не только советская дезинформация проникает в свободный мир, но вместе с ней и советский террор. Ведь, заполучив в американской юридической системе такого союзника, как Бюро специальных расследований при Министерстве юстиции США, советские органы терроризируют и запугивают всю послевоенную эмиграцию. Шутка ли сказать: КГБ может состряпать «дело» на любого эмигранта, и такая жертва не сможет найти защиты ни в суде, ни в обществе! Ведь всякая защита будет расценена как антисемитизм! Действительно, изобретатель-

ности и коварству КГБ нет границ! Профессор Ярослав Падох – президент Научного общества имени Шевченко (США) – рассказывает такой случай. В 1976 году он написал письмо президенту Картеру с просьбой включить в Мемориальную комиссию Голокоста (США) представителя от украинской делегации. Не получив никакого ответа из Вашингтона, господин Падох, однако, спустя несколько месяцев прочел в советской клеветнической газете «Вісті з України» статью, обвиняющую его в преследовании евреев во время войны. Из статьи следовало, что советский автор был осведомлен о содержании оставленного без ответа письма президенту.

Не говорит ли это о проникновении самой советской власти с ее системой шантажа и запугивания в Свободный мир?

Выходит, что КГБ изобрело такой путь к достижению своих целей, перед которым пасуют даже те, кто добровольно и бескорыстно взял на себя миссию предупредить мир о коварных планах врагов человечества. Такими добровольцами чувствуют себя большинство бывших узников ГУЛага.

Бывшие узники ГУЛага олицетворяют сегодня совесть не только России, Украины или Литвы – они олицетворяют сегодня совесть всего человечества. Популярность одного только «Континента» подтверждает эти слова. Поэтому к лицу ли нам бояться говорить и печатать правду, когда в свободный мир активно проникает советская дезинформация и советский террор?

Если мы не скажем правды, то кто ее скажет и когда? Если, наблюдая неправду и осознавая ее коварство, мы молчим о правде, то кто ее скажет? Восстановит ли когда-нибудь история ИСТИНУ, во имя которой отдавали годы жизни узники совести, многие из которых сошли в могилу в неравном бою с мировым злом? Простит ли нам история наше пренебрежение истиной?

А истина эта такая. Советские органы, вместе с органами своих сателлитов, исходя из «государственных интересов СССР», в течение десятков лет натравливали еврейские организации свободного мира на эмигрантов из Восточной Европы. Это делалось не без помощи западных коммунистов. Используя чувства евреев, коммунистам Запада удавалось вовлечь ряд еврейских организаций и, в первую очередь, прессу в кампанию против беженцев из СССР. В 1975 году, например, в Америке при финансовой помощи прокоммунистической Украинской американской лиги, Еврейских культурных клубов и обществ, Американской ассоциации против фашизма, расизма и антисемитизма была опубликована книга «Lest We Forget» (Чтобы мы не забыли). Автор – Михаил Ганусяк, редактор просоветской коммунистической газеты «Українські щоденні вісті». Книга содержит «материалы» из госархивов Львова. Иными словами, это советская публикация. В числе «военных преступников» в книге фигурировал узник нацистских лагерей Ярослав Стецько. Упоминались в книге и братья Сергей и Микола Ковальчуки. Один из двух, Микола, был сразу признан невиновным и не привлекался к суду, а другой – Сергей – американским судом признан невиновным в военных преступлениях. Западногерманский суд признал клеветой и обвинения против Ярослава Стецько. Такова истинная «ценность» этой книги.

Но ряд эмигрантов из Восточной Европы, будучи обвинены на основании советских «материалов», лишены сейчас гражданства США. И это благодаря упрямству и предубежденности работников Бюро специальных расследований, которые не хотят признать несостоятельности советских «документов» и «свидетельств» и фактически не проверяют их. Так, на процессе Демьянюка советский документ не подвергался необходимой в таком случае экспертизе. Несостоятельность обвинений против Демьянюка вызвала негодова-

ние даже американских журналистов. Я прилагаю статью Патрика Бьюканана об этом процессе.

Истина заключается также и в том, что, безусловно, в среде эмиграции есть лица, сотрудничавшие с оккупантами в войну, но, как ни странно, на этих лиц советские органы не предъявляют материалов. Видимо, такого рода публика нашла общий язык с КГБ и чувствует себя вполне защищенной от советских обвинений, регулярно посещая СССР и участвуя в ряде «прогрессивных» движений. Не замечая этих лиц, КГБ стряпает обвинения против невинных. Достаточно сказать, что американский суд оправдал «военных преступников» Валюса, Кунгиса, Ковальчука, подвергшихся нападкам прессы в процессе судопроизводства. Там же, где обвиняемые были осуждены, допускались нарушения демократического судопроизводства и, прежде всего, безоговорочно принимались на веру советские свидетельства.

Истина еще и в том, что заинтересованность КГБ в таких делах проистекает отнюдь не из сочувствия КГБ к евреям. Ведь КГБ само повинно в убийстве в 1952 году евреев в СССР. КГБ преследует свою цель: разъединить, раздробить, разобщить своих потенциальных противников, в том числе и в движении Сопротивления коммунизму. Разве не гениально с точки зрения «редкого интеллигента» Андропова: разжечь национальную вражду, национальные страсти в среде самих диссидентов? Поэтому вся «зубатовская» диссидентщина была пущена им в ход. Не потому ли появляются статьи в «модерных» демократических изданиях о первых еврейских погромах на Руси? Какая нужда в таких исторических справках в современной журналистике? Не для того ли, чтобы отвлечь внимание от современных погромов? Разве А. Щаранский, Е. Боннэр, А. Сахаров, А. и К. Подрабинеки, С. Глузман, Ю. Орлов, В. Стус, И. Гривнина, М. Ланда и сотни других евреев и неевреев не являются жертвами современного погрома на нынешней Руси? И советские погромщики не боятся, что их обви-

нят в фашизме, расизме, антисемитизме! Виновники этого погрома, как и виновники погрома 1952 года, живут и здравствуют в СССР. Не более ли актуально обратить взоры на современных погромщиков?

Таким образом, мы имеем дело с проникновением советской власти в свободный мир. Можем ли мы молчать, когда эта власть разжигает вражду среди своих потенциальных противников?

Мы не имеем права молчать. И тем более оправдывать свое молчание тем, что нас будут обвинять демагоги. Мы всегда в состоянии ответить: «Нет, в нашей позиции антисемитизма. Это КГБ хочет разжечь антисемитизм в среде эмигрантов из Восточной Европы. Это КГБ хочет натравить одну свою жертву на другую. Мы же хотим предостеречь еврейские организации и еврейскую общественность, чтобы они не стали слепым орудием в руках КГБ, каким стало Бюро специальных расследований в США».

Такая позиция будет отвечать истине, служить которой мы призваны самим Провидением.

Многое из того, что я пишу здесь, я и Нина Строката изложили в письме премьер-министру Израиля. Вы не сочли возможным опубликовать наше письмо. Как редактор «Континента», Вы вправе решать, что печатать, а что – нет. Я не хочу переубеждать Вас, но Ваше решение побудило меня написать это письмо, которое я просил бы Вас напечатать, ибо оно написано с целью выяснить истину и запятнать зло, от которого по плану Андропова должно пострадать также и Сопротивление коммунизму.

С уважением,

Святослав Караванский

8. 3. 84

Глубокоуважаемый г-н Максимов!

Я просидел 7 лет в послевоенных сталинских тюрьмах. Реабилитирован. В тяжелые годы был подпольным партработником, а сейчас беспартийный – выдавший виды.

В 38-м номере «Континента», в рубрике «Истоки» прочел интересную корреспонденцию Иосифа Ицкова «Одна из первых жертв Сталина».

Я привык считать, что написанное в «Континенте» всё правда, и очень был доволен, что узнал подробности о жизни Аллилуевой. В день похорон Н. Аллилуевой я был (жил) в Москве, в общежитии напротив храма Христа Спасителя, который разрушали. Вышел на улицу перед домом, посмотрел на похороны, оцепленные милицейским кордоном. То, что я никогда не забуду, было, что увидел лично Сталина, который шел за гробом. Это было первое «знакомство» со Сталиным...

Автор заметки И. Ицков на стр. 277 пишет: «Я был на похоронах Аллилуевой... и на Новодевичье кладбище Сталин не пошел». Но я его сам видел, как он шел за гробом через площадь у храма Христа Спасителя. Не могу объяснить никчемного отрицания присутствия Сталина в похоронном шествии. Этот факт бросает для меня тень на достоверность всей заметки И. Ицкова.

(От редакции: Автор письма живет в одной из стран Восточной Европы. Он сообщил нам свою фамилию и адрес, но просил не называть его.)

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

Редакция: Р. Б. ГУЛЬ (гл. ред.), Ю. Д. КАШКАРОВ,
Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ

154-я книга. СОДЕРЖАНИЕ: *Р. Гуть.* 65-летие А. И. Солженицына. *С. Яворский.* Ограбленные боги. *Ю. Кашкаров.* Муром. СТИХИ: *О. Анстей, В. Перелешина, О. Ильинского, И. Чиннова. М. Дубинин.* «Жестокий век» Пушкина. *Н. Ульянов.* Рим (венок сонетов). *Ю. Иваск.* Похвала российской поэзии. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ. *Переписка И. А. Бунина с М. А. Алдановым* (публ. А. Зверса). *Анат. Штейгер.* Детство. *М. Гольдштейн.* Вундеркинды 30-х годов. *В. Стерлигов.* Из воспоминаний о художниках. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА. *М. Гардер.* Тоталитарная анархия. *Р. Дэвис.* Прѣтечи августа. *Д. Левицкий.* Б. Н. Чичерин. *Н. Моравский.* Осень 1905 г. сквозь призму двух газет. *Н. Первушин.* Новое о Древней Руси. СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ. *Е. Кускова.* К убийству проф. А. Л. Бема. *Г. Кочевницкий.* Судьба пианиста Топилина. ПАМЯТИ УШЕДШИХ. *С. Г. Пушкарев, прот. К. Фотиев.* Прот. А. Шмеман. БИБЛИОГРАФИЯ. *Прот. К. Фотиев.* С. Голлербах. «Заметки художника». *Т. Емельянова.* М. Геллер. «Андрей Платонов в поисках счастья». *Ю. Тролля.* Пьесы и киносценарии А. Солженицына. *С. Крыжицкий.* И. Мацкевич. «Дорога в никуда». *Б. Прянишников.* В. Русаков. «Рассказы о потомках Пушкина». *Е. Ремилева.* Б. Балыков. «Девичья честь».

Цена 1 книги — 9 долл., 4-х книг — 30 долл.

Адрес редакции:
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025

Критика и библиография

«И НЕ УЙДЕШЬ ТЫ ОТ СУДА МИРСКОГО»

Всякий человек, интересующийся русской историей XX века, так много уже прочел о вождях большевиков, что поневоле в сознании вырастает стена отталкивания. «Ленин, Бухарин, Троцкий? Но я все уже знаю про них, мое отношение к ним определено, никакие новые сведения не смогут существенно изменить его». Только доверие к имени автора, чьи статьи всегда читал с глубоким интересом, заставило меня открыть книгу и прочесть первые несколько страниц. Спустя примерно час я поймал себя на том, что читаю запоем, не отвываясь, как детектив.

Мережковский однажды написал («Толстой и Достоевский»): «Существует логика страстей; но существуют и *страсти логики*».

Это замечание в большой мере объясняет секрет увлекательности книг и статей Доры Штурман. У нее есть редкий дар: умение сплавлять психологические черты и политические идеи исторического персонажа в цельный и убедительный образ. И когда она начинает сквозь призму этого образа рассматривать весь ход исторических событий, в которые он – персонаж – был вовлечен, все его дела, речи и писания, картина начинает проступать перед читателем с неподражаемой ясностью и убедительностью.

«Ленин, этот гигантский исторический Раскольников, заранее и раз навсегда разрешил себе переступать через кровь, которой потребует его цель... Но, в отличие от Раскольникова романического, он не терзал себя самоанализом, не изводил себя сомнениями в том, имеет ли он право переступить».

Меткое историко-литературное сравнение приобретает новые оттенки, когда мы рядом прочитываем две сценки о Ленине-человеке, выловленные зорким автором из томов воспоминаний о «великом вожде». Двоюродный брат рассказывает, как Володечка в детских играх догадался незаметно при-

Дора Штурман. Мертвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина, Троцкого. Лондон, Overseas Publ., 1982.

клеивать своих бумажных солдатиков к доске так, чтобы их нельзя было сбить игральной шашкой, и хохотал над проигравшими соперниками. А Крупская не без гордости описывает Ленина-охотника: однажды поднимавшаяся вода реки согнала на маленьком островке кучу зайцев, и Ленин, не потратив ни одного патрона, прикладом набил полный мешок. Какие уж там правила охоты, правила игры, правила честного противоборства! Выигрыш, победа – любой ценой. И это действительно на всю жизнь остается главным тактическим принципом вождя большевиков.

Миф о Ленине Справедливом, все еще имеющий довольно широкое хождение в мире, рассыпается в труху, когда Штурман приводит ленинские записки с инструкциями к составлению Уголовного кодекса. «Суд должен не устранить террор..., а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и прикрас». Знаменитая «всеподметающая» 58-я статья тоже была сформулирована им: «Вариант 26: Пропаганда или агитация, *объективно содействующие или способные содействовать...* международной буржуазии, карается высшей мерой наказания».

В своих мемуарах нынешний премьер-министр Израиля Менахем Бегин рассказывает, что, будучи арестованным НКВД в 1940 году, он спросил, каким образом к нему может применяться 58-я статья, если он был польским гражданином и находился до 1939 г. на территории Польши. «– Ну и чудак же вы, Менахем Вольфович! 58-я статья распространяется на всех людей во всем мире, слышите – *во всем мире!* Весь вопрос в том, когда человек попадет к нам или когда мы доберемся до него».

Об этом расширительном толковании хорошо бы помнить всем, кто нынче на Западе ратует за дружбу с Москвой – любой ценой. Если бы они не поленились прочесть Ленина с таким же вниманием, как Д. Штурман, они бы увидели, что альтернатива «better be red than dead» («лучше быть красным, чем мертвым») для них не существует; что именно они, как политически активные элементы общества, будут уничтожены в первую очередь после прихода коммунистов к власти. Для них путь будет однозначным: «Today red, tomorrow dead» («сегодня красным, завтра мертвым»).

Еще более устойчивы в кругах западной левой интеллигенции мифы о Троцком: Троцком-интеллектуале, Троцком-демократе, Троцком-гуманисте.

Этот интеллеktуал рассказывает в своей автобиографии «Моя жизнь», как, «стремясь оборонить доктринерскую определенность своего мышления и мироощущения, он защищался от новых воздействий и жизненных впечатлений, в том числе и от воздействия искусства... По его же словам, «дальше дилетантизма... не дошел»... Особенность эстетического дилетантизма Троцкого заключается, однако, в том, что после 7 ноября 1917 года он счел себя вправе... выносить приговоры, решая, чему в искусстве следует быть, а чему – не быть».

Будучи высланным из СССР, Троцкий честит Сталина за все его злодейства и пороки, в том числе и за антидемократизм. Но в период нахождения у власти сам он отстаивал абсолютный и полный диктат партии во всех речах и статьях. «Тов. Преображенский говорил, что нужны какие-то гибкие органы и, как он сказал, партийный децентрализованный аппарат. Это в корне ошибочно и неверно. Децентрализовать партийную власть это значит растащить ее, сделать достоянием областной стихии, это значит уничтожить всякое руководство...»

Наконец, так называемый гуманизм Троцкого очень хорошо проявился не только в годы гражданской войны, когда он вводил внутриармейский террор, расстрельные заградотряды, захват в качестве заложников семей офицеров, но и в период послевоенного строительства, когда он сформулировал главные постулаты рабского труда при социализме. «...Мы стоим перед необходимостью применения сложнейшей системы средств и методов, и духовного и организационного порядка, и характера премиального, и характера карательного для того, чтобы повышать производительность труда на тех *принудительных основах, на которых строится все наше хозяйство*».

Нельзя не согласиться с Дорой Штурман, когда она пишет: «Все жестокости, которые совершил Сталин, суть не что иное, как историческая реальность лозунгов Троцкого!»

В чем же тогда причина падения Троцкого, если его лозунги оказались фактически принятыми партией большевиков к реальному исполнению? В том, что он провозглашал эти лозунги, не камуфлируя их, с компрометирующей откровенностью. Тяга к эффектной позе была так сильна в нем, что он не затруднял себя пропагандными ухищрениями. Мировую перманентную революцию он так и описывал как постоянную агрессию коммунизма, имеющую целью завоевать мир; большевики же осуществляют ее исподволь, вопя о невмешатель-

стве во внутренние дела других стран. Ограбление народа и введение рабского труда, декларировавшееся Троцким, коммунистическая диктатура осуществляет под лозунгом «неустанной заботы партии о повышении уровня благосостояния». Тотальный диктат партии во всех сферах жизни держится прочнее, когда он мотивируется «единством партии и народа», а не восхваляется как самоцель или как путь к неведомой мировой коммуне.

«Роль Бухарина в партийной политике 1917–1926 гг. не позволяет приписать ему простодушие современных его исследователей... Не имея другой легальной почвы для полемики, Бухарин решает (то же делали и Зиновьев, и Троцкий) опереться на словесные партийные декларации в борьбе против истинной партийной политики. Он как бы не видит (неужели действительно не видит?) того, что отказ от возобновления *ленинской* политики военного коммунизма по отношению к вставшему на ноги крепнущему крестьянству конца 1920-х годов ведет к «столыпинскому эффекту». Вырастает огромный класс фермеров, способный оказывать на правительство экономическое давление... Именно в стране с преобладающим и массивным, могучим крестьянством такой путь для монопартократии невозможен, губителен».

Этого важнейшего момента стараются не замечать многие западные левые историки, занимающиеся Бухариным. (См. Стивен Коэн, «Бухарин и большевистская революция», 1980, Страткона, США.) Им дорога любая, пусть даже иллюзорная, альтернатива сталинской политике, ибо она питает их сокровенные надежды на «правильный, хороший коммунизм, на коммунизм с человеческим лицом». Но судьба Бухарина как раз и подчеркивает принципиальную невозможность альтернативы: этот деятель в течение десяти лет в союзе со Сталиным строил монопартократию и моментально утратил всякую власть и влияние, как только заговорил о предоставлении частичной экономической независимости крестьянству.

Основной тезис Штурман: единственным настоящим продолжателем дела Ленина был Сталин, а не Бухарин и не Троцкий – не вызывает сомнений. Но, чтобы подчеркнуть последовательность и целеустремленность Сталина в деле обеспечения тотальной власти для партии и для себя, она порой преувеличивает его дальновидность и рациональность его поведения. Верно, что рабочая оппозиция в партии была реальностью и

представляла угрозу. Верно, что еще большую угрозу представляло крепнущее крестьянство. Но, в конечном итоге, любая группа подданных представляет известную угрозу тотальной власти, однако полное уничтожение подданных чревато не просто опасностью, а гибелью: некому будет кормить партократию, некому будет защищать от внешнего врага. Именно это случилось недавно с группой Пол Пота в Камбодже: она реализовала свои людоедские инстинкты с такой стремительностью, что довела себя до гибели.

В этом смысле избиение профессиональных кадров в армии и промышленности, устроенное Сталиным в 1937-40 гг., никак нельзя назвать рациональным даже с его шкурной точки зрения. Ибо, уничтожив всякую, даже потенциальную, угрозу своей власти изнутри, он сделал себя крайне уязвимым для нападения извне. Прострация, в которую он впал в первые недели после немецкого вторжения в июне 1941 г., ясно показывает, что он прощался с жизнью, что он просто не верил, что кто-то станет защищать его. Только политическая бездарность Гитлера, вообразившего, что Россию можно покорить военной силой, не предлагая ей никаких политических альтернатив, спасла его тогда. Нынешнее большевистское руководство извлекло урок из войны. Оно поняло, что тотальный террор и тотальное рабство сталинского образца, несмотря на всю их соблазнительность, могут оказаться губительны для них в индустриальную эпоху. Таким образом, можно сказать, что в послесталинскую эру взяли верх не бухаринские идеи и лозунги (несовместимые – здесь Штурман абсолютно права – с принципами партократии), но бухаринские страхи перед доведением страны до разорения, чреватого военным поражением и – как следствием – потерей власти, а может, и гибелью.

Книга Штурман радует не только ясностью мысли, глубиной анализа, яркостью и точностью стиля. В конце читатель испытывает еще и моральное удовлетворение – когда видит, что все три персонажа успели получить возмездие, дожили до жизненного краха. Троцкий и Бухарин были унижены и убиты презируемым когда-то соперником, объявлены несуществовавшими, так что даже упоминание их имен в печати до сих пор запрещается цензурой. Но, оказывается, и Ленин в последние полтора года жизни успел попасть в железные тиски изобретенной им системы подавления неугодных. Ибо он стал неугодным для партократии на новом этапе – и она практиче-

ски поместила его под домашний арест, погрузила в вакуум «лечения», оставила умирать в унижительной беспомощности и одиночестве, рассылающим «секретные» инструкции, которым никто больше не следовал, пишушим статьи, которые никто больше не печатал. (Из воспоминаний Е. Драбкиной: «Ленин часами сидел в одиночестве и часто плакал».) Если бы его разваливающийся организм протянул дольше, как знать, не оказался бы он первым пациентом «спецпсихбольницы»?

Хотелось бы, чтобы современный читатель обратил внимание еще на одно важное замечание в «Заключении»: «Эти деятели (Ленин, Бухарин, Троцкий) *политически ошеломительно активны...* А серьезная и честная мысль их оппонентов издавна и по сей день больна острейшей гипертрофией личной и социальной ответственности, перерастающей в парализующую рефлексию. Легко представить себе, чем чревато такое распределение качеств: активность в сочетании с безответственностью и пассивность в сочетании с правотой».

Игорь Ефимов

ИСХОД РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Вышла и встречена одобрением критиков и публики книга шведской журналистки Дисы Хостада о новейшей русской эмиграции на Западе – главным образом, о писателях, но также и вообще об интеллигенции. У этой книги есть своя предыстория.

Молодая журналистка, типичная для начала 70-х годов западная «интеллектуалка» левого толка, славистка, довольно сносно владеющая русским языком, но поначалу не шибко разбиравшаяся в советских делах, свыше четырех лет (октябрь 1974 – январь 1979) провела в Москве в качестве корреспондента шведской газеты «Дагенс нюхетер». Энергичная, предприимчивая, наблюдательная, она преодолела препоны, которые ставятся иностранцам в их общении с советскими гражданами, и встречалась с широким кругом подлинной русской интеллигенции, постепенно и частично освобождаясь от иллюзий (в предисловии она сама признается, что еще не от всех).

Disa Håstad. En elit far Västerut. Norstedts, Stockholm, 1984.

Но, порастеряв кой-какие иллюзии, она обрела большее, столкнулась с людьми внутренне свободными, мыслящими, с новыми для нее, непривычными нравственными критериями. Среди этих людей больше всего ценились духовность, честность, правдивость, великодушие, милосердие, доброта.

Дису Хостада особенно интересовали писатели. Встречи и беседы с официальными, т. е. публикуемыми тогда в СССР писателями, а затем, по возвращении на Запад, с несколькими виднейшими писателями-эмигрантами, дали ей материал для первой книги, вышедшей в 1979 году, – «Беседы с советскими писателями».

Новая книга, «Элита едет на Запад», – плод нескольких лет работы, многочисленных встреч и поездок. Д. Хостада побывала в США, Канаде, Израиле, Франции и других странах. Не раз бывало, что среди эмигрантов она встречала тех, кто в первой книге еще выступал как «официальный» писатель.

Трудно перечислить всех, с кем встречалась и беседовала Диска Хостада в пору подготовки своей книги (легче было бы составить список пропущенных ею имен). В книге даны не только многочисленные портреты отдельных людей, но и описание русской прессы за рубежом.

Первые главы новой книги посвящены истории русской эмиграции: дореволюционный период, три пореволюционных эмиграции, история еврейской эмиграции за последний век. Здесь ощущается успешное стремление автора преодолеть исторические клише, привитые Западу официальной советской историографией, – по-видимому, результат общения Дисы Хостада с теми русскими, которые и в России, и в эмиграции пытаются переосмыслить исторические процессы в России, особенно накануне революции и после нее.

Описано в книге и пробуждение самосознания у интеллигенции в послесталинские годы: суды над инакомыслящими, эпоха «подписантов» – и как все это отразилось на литературе и литераторах. В частности, рассказано о создании альманаха «МетрОполь» и судьбах его авторов.

Разумеется, не обойден вниманием и классический западный вопрос «Отчего русские ссорятся». Д. Хостада описывает разногласия, дискуссии, споры по важным, принципиальным проблемам – дело новое для русских эмигрантов, поэтому не всегда, быть может, ведущееся в белых перчатках, а главное,

в силу типично русской эмоциональности, со стороны выглядящее чересчур бурным. В центре разбора Д. Хостада ставит кардинальный вопрос, поднятый Солженицыным: о нравственной ответственности русской интеллигенции, собственно классический сплав вопросов «что делать» и «кто виноват». Автор называет спор этот «великой распрей» и, как пример рассмотрения истории сотрудничества новой советской интеллигенции с советской властью, анализирует брошюру Валерия Чалидзе «Ответственность поколений» – сборник интервью с различными деятелями русской культуры.

На страницах книги отражены трения и взаимное непонимание, порой возникающие между первой и третьей эмиграцией, поднимается еще ряд частных вопросов – например, о допустимости употребления мата в литературе. На все поставленные вопросы Диса Хостада даже и не берется давать ответы – она описывает всё, как видит, как сторонний наблюдатель. В этом одновременно ее сила и слабость.

Ей, например, часто режет ухо слишком острый тон полемики. Возможно, есть что-то, отпугивающее западного человека, в самой структуре русского языка: по сравнению с европейскими языками, он, бесспорно, более категоричен. Не говоря уже о том, что по шведским правилам полемики (в большей степени, по-моему, чем во всей Европе к югу от Швеции) авторы обзоров и аналитических статей вообще не должны показывать, на чьей они стороне. Конечно, ни один русский, отстаивая свои убеждения, об этом не умолчит. Вот, видимо, из-за этой русской горячности, да еще из-за своей восприимчивости (попав сначала в одни круги, автор смотрит их глазами на их оппонентов) автору бывает трудно разобраться по существу дела. Ей больше по душе спокойные, научные или наукообразные тексты, чем эмоционально накаленные. Эта позиция Дисы Хостада, к сожалению, нередко уводит от сути спора не только автора, но и читателей.

В книге довольно мало говорится непосредственно о Солженицыне – возможно, потому, что с ним Дисе Хостада не довелось встретиться. Максимовский образ «носорогов» в действии ей, по-видимому, чужд. Что же, не всем западным интеллектуалам, не имеющим русского опыта, дается это – но не дай им Бог такого опыта!

Сравнивая первую и вторую книги, видишь, что за эти годы сам автор неизмеримо вырос. Возможно, частично под

влиянием общения с русской интеллигенцией, да и само положение в мире за эти годы отрезвило многих.

Большим достоинством книги является то, что автор рассматривает русскую эмиграцию не как конгломерат отдельных судеб, но как большое культурное явление, продолжающее играть огромную роль для читателей на родине. Диса Хостад ясно видит неделимость русской культуры и, в частности, русской литературы по обе стороны границы и с большим оптимизмом предсказывает, что основные и естественные наследники этого духовного богатства – в первую очередь, те, кто живет в СССР.

Ирина Эльконин-Юханссон

ОТ РЕДАКЦИИ: В своем интервью в «Русской мысли», посвященном выходу в свет рецензируемой книги, Д. Хостад так определяет личную позицию в этой полемике: «Померанц не толкует добро и зло однозначно и не усматривает в явлении Советской власти одно лишь зло, с которым надо бороться. Он вообще не считает, что в мире существует абсолютное зло или абсолютное добро. Эта точка зрения мне близка».

Что ж, позиция заслуживающая всяческого одобрения. Позволительно, правда, спросить уважаемого автора: почему же тогда тот же Померанц последователен в этой позиции только по отношению к Советской власти, а вот по отношению к любому своему оппоненту он выступает с яростью типичного марксистского начетчика? И почему сама Д. Хостад и ее «либеральные» единомышленники на Западе ратуют за «сбалансированность» подхода к политическим явлениям лишь тогда, когда речь заходит о коммунистических странах, но как только начинается разговор о Чили или Южной Африке, они моментально превращаются в отчаянных манихеев?

К сожалению, как свидетельствует наш западный опыт, для современного левого либерализма либеральные идеи лишь удобное прикрытие для разрушения демократии.

И в заключение несколько соображений, так сказать, общего порядка. А что если бы рецензент этой книги, русская публицистка, достаточно сносно изучив шведский язык, отправилась представительницей какой-либо отечественной газеты в Швецию, побыла там несколько лет, возвратилась, побеседовала с несколькими шведскими эмигрантами и затем

написала книгу, в которой снисходительно поучает Бергмана и других выдающихся личностей этой страны, что, как и с кем они должны говорить о Швеции. Смешно, не правда ли? Но вот Диса Хостад делает это вполне серьезно.

Вполне серьезно *рядовая шведская журналистка* учит крупнейших представителей русской культуры, лауреатов Нобелевских премий, общепризнанных в современном мире специалистов в самых разных областях научной и гуманитарной деятельности, людей зачастую не только с европейскими, но и с мировыми именами, больших личностей с огромным человеческим и профессиональным опытом, как они себя должны вести, что говорить и у кого учиться по проблемам России. Ну, как тут не вспомнить крыловскую басню об осле и соловье: «Но жаль, что не знаком ты с нашим петухом, еще бы ты боле навострился, коль у него немного поучился».

Совсем недавно выдающийся французский философ и публицист, человек по масштабу куда более авторитетный, чем автор рецензируемой книги, заявил в «Экспрессе»: «Мы должны признать, что сегодня все сколько-нибудь значительные идеи приходят к нам с Востока» (имея в виду при этом прежде всего Россию и Восточную Европу).

Дисе Хостад стоило бы прислушаться к этому утверждению своего знаменитого коллеги и, начиная разговор о России, не учить, а учиться. Весьма локальное место в своей собственной и тоже, в общечеловеческом смысле, весьма локальной, шведской культуре обязывает автора быть гораздо скромнее в ее претензиях определять за нас, кто есть кто в великой культуре русской, сопоставлять несопоставимое и сравнивать несравнимое. В противном случае эти ее претензии не вызовут у читателя в России ничего, кроме снисходительной жалости или брезгливого недоумения.

Надо отдать автору должное: она многое уже поняла в наших проблемах, но ей надо еще многому и многому учиться, чтобы по-настоящему разобраться, что же представляет из себя современная Россия вообще и ее нынешняя эмиграция в частности.

Эта книга – не только библиография сочинений замечательного русского писателя, она дает, в особенности благодаря обширной и великолепной статье профессора Рене Герра, глубокое представление о творчестве и жизни патриарха русской литературы в изгнании. Книга издана Парижским институтом славяноведения и принадлежит к серии «Русские писатели во Франции». Институтом уже изданы соответствующие книги по Ремизову, Гиппиус, Шмелеву и Алданову.

Профессор Рене Герра, составитель этой книги (который, кстати, хорошо знал лично Бориса Зайцева), проделал огромную работу. Его книга состоит из четырех частей: небольшого предисловия ныне покойного Владимира Вейдле, статьи самого Рене Герра о Зайцеве, хронологии жизни и творчества писателя и полной библиографии всего напечатанного Зайцевым за его долгую жизнь в России и на Западе. Кроме того, в книге помещены портреты и фотографии Б. К. Зайцева из коллекции профессора Герра.

Владимир Вейдле в своем очерке («Памяти Бориса Зайцева, 1881–1972») отмечает, что Борис Зайцев достиг вершин своего творчества уже в эмиграции, во второй половине жизни. В этом его писательская судьба похожа на бунинскую.

Статья Рене Герра «Борис Зайцев, или скитания русской души» сразу вводит нас в мир писателя и в пути его странничества. Эта статья касается как литературоведческих проблем, связанных с творчеством Зайцева, так и духовно-философских. Автор статьи пишет, что Б. Зайцев довольно быстро, еще до революции, в первый период своего творчества, нашел свой стиль и обнаружил свое писательское лицо. Его стиль Рене Герра определяет как импрессионистический, помещая Зайцева (в литературном отношении) между горьковской группой «Знание» и символистскими журналами.

Следовательно, в творчестве Б. Зайцева редчайшим образом сочетался реализм и символизм (Рене Герра подчеркивает влияние В. Соловьева на Зайцева, склонность писателя к мистическим темам). Уже в раннем периоде тема России увле-

Bibliographie des oeuvres de Boris Zaitsev. Etablie par René Guerra. Paris, Institut D'Etudes Slaves, 1982.

кает Зайцева, хотя в то же время тема Италии, красота и культура этой страны заняли важное место в творчестве писателя (в этом отношении прослеживается некоторая параллель между Зайцевым и Блоком). Зайцев осуществил даже блестящий прозаический перевод Дантова «Ада».

Революция изменила судьбу Бориса Зайцева. Неожиданные и чудовищные события Первой мировой войны, революции, гражданской войны, изранившие душу и плоть России, унесшие миллионы ее драгоценных жизней, потрясли сознание писателя. Б. Зайцев обращается к религии, но даже это не спасает его полностью: тирания над мыслью и литературным творчеством становится невыносимой, и он в 1922 году покидает родину. Надругательство над элементарными нормами и законами творческой деятельности (благодаря существованию которых и было возможно в прошлом создание великой русской литературы) отняло у Зайцева последние надежды.

Рене Герра описывает далее жизнь и творчество писателя за рубежом. Разбирая подробно моменты и пути его исканий и странничества, Рене Герра отмечает, что в эмиграции, во второй половине жизни, Зайцев достигает расцвета своего таланта. Один из его шедевров, рассказ «Река времен», создан, когда писателю уже шел девятый десяток. При этом во всю свою долгую жизнь Зайцев сохранил бодрость, оптимизм христианской веры и верность самому себе.

Вместе с тем Рене Герра не скрывает всего драматизма его духовной ситуации и тяжести выбора: Зайцев глубочайшим образом, до последних клеток своего сознания любил свою родину, но вместе с тем творческая жизнь там была для него невозможна. Он сделал выбор, пишет Герра, и доказал (тем, что сохранил себя как писателя) его правильность, но этот выбор был: эмиграция – при сохранении духовной верности России и ее культуре.

Если бы не было последнего (а была бы только эмиграция), жизнь для Зайцева потеряла бы смысл. Но ему нужна была свобода, ибо без свободы, хотя бы без минимума свободы, которой русские писатели обладали даже во времена Николая Первого, – литературное творчество, как и всякое другое, невозможно. Ему нужна была свобода также и для того, чтобы среди этого планетарного хаоса разрушения и смерти найти любимую Россию. Это звучит парадоксально, но он уехал, чтобы найти ее, ведь для любого поиска нужен хоть

глоток вольности. Уехав, Зайцев, как и Ремизов, стал искать потерянную Россию, и он ее обрел: свою, внутреннюю Россию, которая была в его душе, подобно Царствию Божию, и которую уже никто, никакая ложь, никакие пули и никакие страдания не могли отнять.

Эта его внутренняя Россия была аспектом Вечной России, его личным пониманием Вечной России, той России, духовное существо которой вне пространства и времени и к которой стремились многие русские сердца и умы как вне, так и внутри «физической» России. Для Зайцева Россия была, подчеркивает в своей работе Рене Герра, бездонным духовным сокровищем, сияющим прообразом метафизического Града Китежа. И свой крест изгнанничества и странничества писатель достойно нес до конца.

Далее в книге следует «Хронология жизни и творчества Бориса Зайцева», по которой, кстати, можно вполне проследить жизнь литературного Парижа, этого центра русского Зарубежья.

Последнюю часть составляет библиография всех сочинений Бориса Зайцева.

Весь этот тщательно подобранный и изученный материал с любовью собран в одно целое профессором Герра. Фактически, это настоящая летопись культурной и литературной жизни эмиграции. Зайцев печатался, например, в лучших русских литературных журналах – и, следовательно, мы найдем в этой книге панораму журнальной жизни зарубежной России. Таким образом, последние две части, воссоздающие картину литературного Зарубежья, представляют большой интерес как для специалистов, так и просто для людей, любящих русскую культуру.

Вклад, который внес этой книгой профессор Рене Герра в изучение истории русской культуры, ее живого духа, весьма и весьма значителен. Мы должны быть благодарны за такой труд, выполненный не только на высочайшем профессиональном уровне, но и с сердечным теплом.

Нельзя также не отметить, что традиция, начатая Парижским институтом славяноведения, будет продолжаться. Следующие выпуски, например, будут посвящены таким писателям и философам, как Бунин, Бердяев, о. С. Булгаков, Шестов, Лосский. Аспект этой традиции, на мой взгляд, заключается в том, что представители великой французской культуры с

большой любовью и вниманием относятся к людям другой культуры – изгнанникам, нашедшим свое место во Франции. Этот в высшей степени благородный и гуманный аспект может существовать только в стране высокой и древней культуры (столь редкой в наши дни), а любое доброе действие неизбежно получает – рано или поздно – свое воздаяние.

Юрий Мамлеев

Читайте в следующем номере «Континента»

Стихи:

**И. Бурихин, Г. Глозман,
Л. Чертков**

Проза:

**Ю. Вознесенская, С. Соколов,
И. Шёнфельд**

Публицистика:

**В. Головской, А. Дравич,
П. Егидес, Л. Лосев**

Содержание №№31 - 40 «Континента»

По страницам журналов

«ЭХО» № 13

Вышел в свет долгожданный 13-й номер литературного журнала «Эхо». Он открывается рассказами Юрия Мамлеева. Особенно интересен «Жених». Причудливы, гротескны персонажи мамлеевской прозы – в каждом персонаже размыта граница между человеческим и космическим, трансцендентным и имманентным. Рассказы Мамлеева вызывают смех, но в еще большей степени изумление и ужас. Они «антитаинственны», в них нет загадочной романтичности, но сквозь их словесную ткань говорит с нами другая реальность, более реальная, чем близкий нам физический мир.

О своем творческом методе писатель рассказывает в интересном и насыщенном мыслью интервью. Из интервью мы узнаем, что Мамлеев не только писатель, но и философ. Он мыслит неспутанно и ясно, и эта ясность поразительна тем более, что предмет его мысли – глубинная логика чудесного.

«Короткие рассказы» ленинградского прозаика Александра Кондратова, напротив, оставляют читателя в пределах «человеческого, слишком человеческого», хотя неистовая злоба его героев-«самцов» трансформирует их в жутких, холодных вампиров. В этой фантастике всё же не четыре, не три, а одно измерение, одно сумасшествие – бешенство разрушающего себя и других инстинкта. Здесь нет выхода к примирению (как у Мамлеева), нет другой жизни, других миров и чувств.

В повести Валерия Левятова «Жители» изображен все тот же мир насилия, но уже с точки зрения жертвы. Вся жизнь «уродика» Митьки – накопление несправедливых обид. Еще в детстве его запихали в корзину: «И стало совсем жутко в узкой тесноте». «В нем что-то сломали. Давно, наверное, когда в первый раз Самурай ударил его бляхой по голове». Прожив так всю жизнь, он и умирает под злое улюлюканье пьяных подростков. В затравленной душе не может родиться даже бунт. Слишком слаб, слишком забит для этого Митька. Левятов развивает традицию «маленького человека», столь любимую русской литературой. Его Митька – новый Акакий Акакиевич, сказавший лишь однажды в жизни: «Не обижайте меня». Умиравший Митька скажет: «За что вы меня так все? Что я вам сделал?»

И совсем другой по стилю рассказ Генриха Шефа находим мы в этом номере «Эхо». Талантливому ленинградскому прозаику блестяще удается прием, который может напомнить Кафку, – со спокойной, почти величественной интонацией, с параноидальной дотошностью писать о пустом и эфемерном; изобразить при этом, как эфемерное

вырастает в гигантский, страшный миф, в табу, околдовывающее и парализующее людей.

Большая заслуга журнала в том, что в нем из номера в номер печатаются произведения еще неизвестных авторов. Так, в этом номере мы найдем два рассказа Алексея Любегина, ленинградского прозаика и поэта, известного в Ленинграде широкому кругу читателей и почитателей, но еще ни разу (насколько мне известно) не публиковавшегося на Западе.

Рассказ «Тёмная крестьяночка» – портрет-зарисовка пьяной бабы с лицом «жар-птицы». Несмотря на подчеркнутую антиэстетичность, в этом образе много веселости, почти сказочности. В другом рассказе, «Ничейная невеста», изображен не менее яркий тип: мрачный деревенский философ-циник, местный Чаадаев, «ненавистник России».

Очень хороша проза «Альбиносы» другого молодого автора – Беллы Улановской. Она тоже пишет давно, но публикуется, наверное, впервые.

Тихий, скрытый от грубого и спешащего взгляда мир природы – тонкая работа паучка, бормотание тетеревов в сжатых полях, чистейший голос из прозрачных ручьев и старые деревья в парке на зеленом еще небе. Но не только это – человек не готов ко встрече с торжественной литургией природы. На ее спокойствие и неподвижность он не способен ответить тем же. Даже если он любит, он слишком жаден, нетерпелив в своей любви, боится что-то упустить. Драматична проза Улановской как раз благодаря этому контрасту между самодовлеющей и вечной жизнью природы и миром искусственным, миром «дьявольского поспешения». Мир природы поражает своей легкостью, прозрачностью и преображенностью. Мир улицы – убогой многозначительностью, болтливостью и случайностью. Мир природы живет даже в своем умирании: «Заброшенное негородское жилье нам не страшно. Бывшие фундаменты мы быстро определим по густым березнякам, мать-и-мачехе, которые скрывают от глаза груды щебня; бывшие картины нет-нет да и проглянут одичавшей хилой маргариткой...» Но отвратительна картина умирания искусственного мира: «Нет ничего страшнее нежилых помещений: эти покинутые к ремонту дома, вытащенная мебель – мне противно подойти к задней стенке телевизора или будильника (непонятная изнанка), а здесь километры хаоса».

Проза Улановской талантлива не только своей «герменевтикой» – умением разглядеть и услышать, но и своими обобщениями, глубокими, продуманными философемами. Так, мы находим у нее «паскалевский» образ двух бесконечностей: вселенная с ее холодными звездами и человек – маленький животный комок тепла. Улановская умеет поймать те моменты, где бесконечности пересекаются, это дает ее прозе высокое дыхание и спокойную смелость.

Самой оригинальной показалась мне проза Владимира Губина. Ее новизна, формальная и содержательно-смысловая, не переходит (что

тоже бывает) пределы восприимчивости и не вызывает скуки. Скорее увлекаешься вечными перевёртышами, неуловимостями, подстановками. Входишь во вкус того, как тебя же дурачат и восхищаешься тому, какая война объявлена здесь всякому здравому смыслу и очевидностям. Хотя в повести есть и занимательный сюжет и множество образов, сохранивших печать «фантастического реализма».

13-й номер «Эха» необычайно и на радость читателям насыщен материалом. Трудно в короткой рецензии написать обо всем. Только упомянем, что есть в номере вполне недавний рассказ Виктории Андреевой, злая и наблюдательная антиутопия И. Евича, стихи Кенжеева, Волохонского, Патласа, публикация Андрея Платонова.

Благодарный читатель там и здесь ждет новых номеров журнала.

Татьяна Горичева

«ДУШЕВНЫЕ ГУСЛИ» СИНЯВСКОГО

(А. Д. Синявский. Река и песня. – «Синтаксис», №12)

О русских народных песнях существует огромная литература. О них писали не только ученые, но и все великие русские поэты.

«Покажите мне народ, у которого бы больше было песен!» – требовал Гоголь, Белинский видел в нашей народной песне «элементы русского духа, в особенности страшную силу в страдании и в наслаждении» и свидетельство того, что «все, что могло бы обессилить и уничтожить всякий другой народ, все это только закалило русский народ».

Писать о песнях сегодня значит меряться силами с такими богатырями, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Аполлон Григорьев, Блок, Бунин, или же делать вид, будто «Капитанской дочки», «Тамани», «Косцов» Бунина не существует на свете.

Правда, в наши дни русский народ, который прежде «пеленался, женился и хоронился» (Гоголь) под песни баб, почти перестал складывать собственные песни и повторяет те, которые слышит по радио. Раскрывая журнал «Синтаксис», я думала, что найду в статье Синявского о песне размышления о том, почему иссякли ключи народного песенного творчества. Но с первых же строк заметила, что автор испытывает к народным песням брезгливое отвращение. Синявский, вероятно, видел бурлаков только на картине Репина, а «Дубинушку» слышал лишь на пластинке в исполнении Шаляпина. Но даже этой шаляпинской пластинки достаточно, чтобы почувствовать мощь и грозную удаль бурлацкой песни.

Однако Синявский уверяет, что «...ничего особенного не содержалось в этом вытье... Идут они по Волге... и поют сиплыми голосами».

Издеваясь над поющими русскими людьми, он покрывает от удовольствия, вызванного сознанием своего превосходства и остроумия, и приговаривает: «Чем тебе не Орфей!», «Знай наших... Пушай поет!» (как будто народ, не знавший о его существовании, нуждался в его разрешении).

Заметно, что народ знаком Синявскому, как и многим столичным литературным гомункулусам, лишь по литературным источникам. Более всего понравилось ему пристрастное сообщение Горького, пытавшегося в угоду Ленину оправдать разгон Крестьянского Исполкома и крестьянских съездов советов, и написавшего, будто во время Первого съезда крестьяне загадили вазы в Зимнем дворце.

Хотя Синявский пишет, что поехал на Север ради архитектурных памятников, которые тут же называет «архитектурной херней», на деле он занимается поисками экскрементов, подтверждающих горьковскую цитату. Даже тон его статьи меняется и становится торжествующим, когда ему чудится, что он их нашел.

«В соборе 13-го столетия посчастливилось мне обнаружить кокетливый след одного правдоискателя, оставившего аккуратную кучку под самым куполом», – ликует Синявский. Еще бы не ликовать! Ведь это «открытие» позволяет ему произнести тираду: «Где только не испражняется русский человек! На улице, в подворотне, в телефонной будке, в подъезде. Есть какая-то запятая в причудливой нашей натуре... Однако ничто у нас на Руси так не загажено, как «памятники русского народного здчества». Пустынное место что ли располагает к интимности? Что еще делать одинокому человеку?» И так далее.

Синявскому кажется, что это «новое слово в русской литературе». Действительно, подобные монологи в ней еще никогда не звучали. Правда, Розанов еще в начале века заявил, что «литература – мои штаны, что хочу, то в них и делаю», и еще в те далекие годы сделал открытие, что существует безотказный способ привлечь внимание читателей: «написать какую-нибудь гадость». Но писал он гадости осторожно. Развернуться во всю ширь ему не удалось, так как такие его современники, как Чехов, сразу же разглядели в его потугах «громадное, расплывшееся донельзя самолюбие» и «ненавистничество, болезненно скрываемое глубоко под спудом души».

Синявский, напротив, не считает нужным скрывать «запятую в причудливой своей натуре». Он знает, что читатель все простит автору, поскольку из-за него однажды шумело «все прогрессивное человечество».

Четверть века назад (вероятно, тогда же, когда чета Синявских) я прошла в поисках песен и сказок многие сотни километров по Беломорью, Поморью, по бывшей Новгородской Руси; плавала по Белому морю, по северным рекам и озерам. Часто я ходила с деревенскими детьми в заброшенные колокольни, стоявшие среди лесов. Обычно за нами увязывался какой-нибудь голодный деревенский пес (хлеба в те дни в деревнях не хватало не только собакам, но и людям). По дороге

пес охотился на кротов. А в церкви, опередив нас, как ветер, взлетал по ветхим ступенькам, усыпанным сухим птичьим пометом, под купол, на самый верх, где вили гнезда дикие голуби, прыгал по балкам и, если его не сгоняли, пожирал птенцов.

Не русскому человеку, а голодной деревенской собаке, вынужденной добывать себе пропитание, разоряя гнезда, должен адресовать Сиявский тираду, которая является «гвоздем» его статьи. Но даже если бы пресловутой «кучки под куполом» и никогда не существовало, он бы ее придумал. Зудящее, непреодолимое желанье осквернить и опохабить все, к чему он прикасается, заменяет ему вдохновение.

Пишет ли Сиявский о чистоплотной, двухэтажной северной избе, она у него «шуршит тараканами». Я никогда не слышала, как «шуршат тараканами». Знаю лишь, что в московских домах, благодаря мусоропроводам, тараканы встречаются чаще, чем в северных избах. Северный городок кажется Сиявскому «обездоленным, пустым», а жители его – придурками, способными только разрушать и гадить. Можно подумать, что не этот народ создал церкви и иконы, ради которых Сиявский к ним приехал. Он молчит о разорении и запустении русского Севера; о том, как Сталин, который, по его уверению, «умел внушать... любовь к себе... и веру в свои магические силы», с помощью голода и свирепых налогов заставил местных крестьян заколотить свои двухэтажные шестистенки и уйти в тесные городские заводские бараки. Даже о Волге Сиявский пишет лишь для того, чтобы оклеветать ее и сообщить читателю, будто «ее подняли в глазах народа разбойники, воры и бунтовщики». Пишет он, что теперешняя Волга ему не понравилась, но не ставит вопроса о том, кто ее изуродовал и превратил в стоячие болота (ведь все тот же «злой, всемогущий дух», возвышавшийся над всеми!).

О «великорусской народности» Сиявский упоминает лишь для того, чтобы взглянуть на нее якобы «со стороны анархичности русской природы», перечеркнув всю русскую историю.

Читая статью его, невольно вспоминаешь страницы из «Бесов» Достоевского. Сиявский не впервые делает оттуда обширные заимствования. Они звучали уже в его интервью «Русской мысли», где без ссылки на источник он повторял то сравнение деревянной России с каменной Европой, которое мы слышали у Достоевского из уст Степана Верховенского.

Теперь содержание и дух его статьи полностью совпадают с речью маньяка на празднике, где под восторженный рев публики «всемирно, публично... бесчестилась Россия» и изобличались «самые карикатурные минуты ее бестолковщины».

Конкретных деталей в статье Сиявского так мало, что почти невозможно определить, по какой именно части огромного русского севера путешествовали супруги. Автор пишет, что куда-то плыл в уютной двухвесельной лодочке вместе с женой. Этого не могло быть ни

на Северной Двине, ни на Онеге, ни на Свида, где даже опытные рыбаки не пускаются в путь в карбасах без сильного мотора (Синявский, к тому же, сообщает, что ни он, ни жена его не умеют плавать).

На любой из больших северных рек ветер сразу опрокинул бы их лодочку, и некому было бы теперь издавать «Синтаксис».

Не каждой северной деревне посчастливилось воспитать своего писателя. Однако и приезжим писателям есть о чем побеседовать с рыбаками, охотниками, с костерезами, живущими на родине Ломоносова, или просто с деревенскими стариками и старухами, говорящими образным и чистым русским языком. Не их вина, если гости, которых они пригласили в дом на ночлег и которым поставили самовар, из всех встреченных ими людей запомнили только какого-то «молодого тракториста», «скаля чудесные зубы», хвастающегося, что он «развалил прошлым летом часовенку», и спрашивающего: «А чо она стоит?», и старуху, просящую дать ей разрешение самой крестить деревенских детей.

Впрочем, просьба старухи совсем не кажется мне смешной. Ни разу за время моих долгих хождений по северным деревням не встретила я церкви, где был бы священник. Несчастливым старухам ничего другого и не остается, как самим крестить и самим отпевать. Помню полуразрушенную хижгородскую колокольню, с которой видно тридцать озер да дремучие леса. Как ни стара была она, как ни заброшена, на незапертом алтаре возле икон теплились там огоньки лампадок, лежали рубли, вышиванья, кусочки парчи, свидетельствовавшие, что верующие все еще ходят туда молиться и приносят все, чем богаты. К стыду столичных коллекционеров, надо сказать, что многие из них навевывались в такие заброшенные церкви далеко не бескорыстно и уносили оттуда все, что только удавалось унести, обворовывая голодных старух и стариков, у которых рука не поднялась бы продать святыне для них образа. В городах к услугам этих «любителей искусств» были алкаши, соглашавшиеся «за поллитру» выкрасть для них из храмов любую икону. В Каргополе старая, полуслепая хранительница архива Клавдия Коренева, певшая мне старинные песни, с горечью рассказывала о нашествии этой московской саранчи, повалившей на Север с тех пор, как выяснилось, что на Западе существует спрос на иконы и их можно сбыть иностранцам за валюту. Был однажды даже случай, когда предприимчивые артисты, гастролировавшие в районе, обходили дома, выдавая себя за сотрудников органов, которым поручено в целях борьбы с религией отбирать иконы у населения, и старики и старухи безропотно покорялись привычному произволу, пока мошенников не разоблачили и не отдали под суд.

Возможно, что насмешливый вопрос «начальственного вида мужика»: «Не американец ли вы?» – объяснялся тем, что он принял Синявского за одного из этих нахальных вымогателей. Напрасно Синявский видит причину его недружелюбия в своих кедах. В наши дни северянина так же трудно удивить спортивной обувью, как прежде

– лаптями. Наверно, мужик был совсем не глуп и сразу заметил, что гость не интересуется ни песнями, ни сказками, да к тому же держит себя с людьми так надменно, что деревенская старуха даже приняла его за «архиерея». С этим человеком, глядящим на всех свысока, простые деревенские бабы и старики (только они и остались в заброшенных деревнях) и поговорить по душе не посмели, и песен петь ему не стали. Ведь спеть песню – раскрыть душу...

Все же Синявский считает нужным произнести под занавес «серьезную фразу», написанную в ином ключе, чем вся статья: «Меня душила обида за поруганную мечту о северной первобытной невинности, о девственных реках, о русском захолустье, о народе, который, действительно, здесь, как нигде в России, открыт, доверчив, гостеприимен, приветлив». Однако и в этой фразе нет сочувствия жертвам катастрофы, последствия которой он увидел. Есть лишь «обида» за собственную «мечту». Не знаю, какая «невинность» потребовалась Синявскому от голодных колхозников, которым запрещено даже ловить рыбу в реках, бегущих возле их деревень; не знаю, какой «девственности» не обнаружил он в этих реках, но фраза эта явно играет в его статье роль «фигового листка», которым он, на всякий случай, дипломатично прикрывает «аккуратные кучки» и «кокотливые следы».

Вообще на всем протяжении статьи только один человек упомянут с симпатией, но и он удостоился похвалы лишь потому, что это позволило Синявскому лишний раз продемонстрировать свои «оригинальные» вкусы.

«Мой лучший лагерный друг, бывший урка, чистойшей души человек», – сообщает он, противореча самому себе. Ведь если сам он такого высокого мнения об урке, то почему, собственно, срамит народ за его песни о волжских «разбойниках, ворах и бунтовщиках»? И так ли уж оригинальны его вкусы? Уж не подражает ли он и здесь «отцу народов», который в молодости, в дни, когда нравственный кодекс политических узников запрещал им общение с уголовными, предпочитал в тюрьме их общество, восхищался их активной аморальностью и их «способностью стоять над всеми»...

До песен Синявский так и не добрался и поэтому вынужден в своей статье довольствоваться туманными умозаключениями, что «песня тяготеет к воде, к реке», что «родину русских рек лучше искать на севере» и что «само понятие великорусской народности во многом привязано к Волге». Если бы не расчет на невежество читателя, Синявский постеснялся бы обнародовать эти пустые, скудные выводы, ничего не говорящие о природе русских песен.

Гоголь в своей замечательной статье бросил крылатую фразу, что «все дорожное дворянство и недворянство летит под песни ямщиков». Дорога могла быть и степной, и лесной, и морской. Предположение Синявского, будто «песня тяготеет к воде», не охватывает во всем объеме даже дорожных русских песен. А ведь, кроме них, были еще и

любовные, и семейные, и разбойничьи, и крестьянские, и плясовые, и скоморошьи и др. Ничем не подтверждается и аналогия, которую Синявский с помощью натяжек пытается провести между словами «река» и «песня» на том основании, что и та, и другая течет. Цитата из былины о Добрыне Никитиче о том, что «неделя за неделей, как река, бежит», говорит не о песне, а о ходе времени и приведена совсем некстати.

Читая у Синявского, что «родину русских рек лучше искать на севере», легко убедиться, что он забыл географию и не читал С. М. Соловьева, который в первом томе «Истории России» писал, что «русская государственная область распространялась... из ядра своего, вниз по рекам до естественных пределов своих, то есть до устьев этих рек, берущих начало в ее сердце, а это сердце – Великая Россия, Московское государство, справедливо называемое страной источников: отсюда берут начало все те большие реки, по которым распространялась государственная область».

Можно с уверенностью сказать, что статью, написанную на таком «научном уровне», забракеровал бы любой уважающий себя журнал. Если «открытия» Синявского не поколебали его репутации, то лишь благодаря тому, что «литературный процесс» находится в наши дни на Западе в не менее плачевном состоянии, чем в Советском Союзе, и репутации писателей зависят здесь чаще от рекламы, чем от качества предлагаемого товара.

Синявского нельзя обвинить в непоследовательности. За десять лет его восторг перед «модерном», опирающимся на старое открытие Розанова, что читателя легче всего заинтересовать «гадостями», не остыл; его презрение к «отсталой русской литературе», плетущейся в хвосте у «литературного процесса» и все еще связанной с живой действительностью, не убавилось. У Синявского нашлись восторженные поклонники и последователи. Недавно один из них договорился в своей статейке до того, что всеми своими бедствиями советская литература и искусство обязаны «своему реакционному тяготению к реализму», несовместимому с «новым мифотворческим содержанием». Иначе говоря, писателям, художникам и артистам надлежало целиком подчинить себя государству, «наступить на горло собственной песне», отказаться от собственного лица, как это сделал после революции Маяковский («высшее достижение социалистического искусства», – цитирует этот последователь слова Синявского о поэте; «сама государственность в своих эмоциях», – говорит о Маяковском герой романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба»).

Нетрудно заметить, что вывод, извлеченный последователем Синявского из его писаний, очень выгоден тем, кто держал нашего «теоретика» в лагере. Тоталитарному государству плевать на все модерни. Жрецы его и сами с удовольствием прочтут упражнения Синявского в «языке непристойностей». Им мешают жить книги, связанные с действительностью, волнующие мысли и сердца, удовлетво-

ряющие ту жажду правды, над которой Синявский не перестает глумиться.

Статья «Река и песня» не только демонстрирует очередные достижения автора в области языка непристойностей, но и подводит итог его десятилетнему публицистическому творчеству. Собственным своим примером автор ее подтверждает, что вне связи с действительностью процесс писания теряет смысл.

Каким бы ни было сочинение: реалистическим, романтическим, сюрреалистическим; к какому бы жанру ни принадлежало – оно может стать литературным явлением лишь в том случае, если создано из добротной литературной ткани, а не из мертвой шелухи. Ткань эта – язык, отражающий мысли, чувства и вызывающий ответные ассоциации. Статья Синявского написана отнюдь не безыскусно. Язык ее соткан из готовых литературных штампов, вывернутых наизнанку. (Сколько претензий и кривлянья в одной лишь фразе: «Метрическое бряцание волн настраивает душевные гусли и подмывает запеть». Но нужен ли талант, чтобы заменить «бряцанье струн» ничего не говорящим «бряцанием волн»?) Пестрящий иностранными словцами, прикрывающими примитивную безвкусицу, язык Синявского часто напоминает тот язык, которым в произведениях Достоевского и Чехова говорят начитанные лакеи и мещане, кичащиеся своей ученостью. Сколько здесь понатыкано «сакральных плетенок». «олеографий неподъемного труда», «акций», «амбиций»... Разин в статье «вверг в волны драгоценную пленницу», и «эту революционную акцию русский народ главным образом и запомнил из его подвигов». Бурлаки поют не просто, а в «подкрепление богатырской амбиции». А что, если пели они, как поют косцы в рассказе Бунина: «Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной легкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось, – человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно только легонько вздохнуть, чтобы отзывался весь лес... И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса»... Строки эти одушевлены любовью к России, к русской природе, к русскому человеку, и художник говорит в них языком, в котором, по словам Пастернака, отражены его «дерзость глазомера», «скоропись духа», «озарения».

Синявский же написал статью о песне, напротив, чтобы продемонстрировать свое отвращение к русскому народу, русскому человеку, русской песне. Никто не заставлял его фальшивить, говорить метафорическим языком – языком чувства. Но он настолько презирает читателя, настолько уверен в его неспособности отличить подлинные образы от подделки, что сдобривает свои поверхностные умозаключения и дорогие его сердцу непристойные тирады искус-

ственными метафорами, способными, по его мнению, придать его писанию художественность. От настоящих метафор их отличает неточность и нарочитость. Например, он пишет о церквях: «с провалившимся теменем и обкусанной луковицей». Но где, собственно, находится их «темя»? Луковица церкви увенчивается крестом. В древних городах я часто видела храмы, у которых луковица вместе с крестом клонила на бок. Но как можно ее «обкусать» и проломить ей темя?

Такой, с позволения сказать, «художественный образ» не помогает, а мешает увидеть то, о чем идет речь. В другом месте статьи «храм поднимает округу копною взгромоздившегося бревна». Если бы автор хоть когда-нибудь косил или жал, он почувствовал бы всю несуразность словосочетания «копна бревна». Северное небо низко и пасмурно, но Синявскому оно кажется «таким большим, что ему захотелось упасть», и «непричесанным, как мамонт». От всех этих сравнений веет не «дерзостью глазомера», а самой заурядной литературщиной.

Никто не заставляет Синявского писать о том, чего он не знает и не помнит. Но он уже столько лет давал нашим классикам и современникам уроки, как надо и как не надо писать, что не устоял перед искушением попытаться лишний раз над ними «возвыситься». В статье «Река и песня» он достиг полного единства формы и содержания и показал, как далеко опередил он в зубоскальстве и паясничаньи «отсталую русскую словесность».

Нина Муравина

С глубоким прискорбием сообщаем о смерти кардинала Иосифа СЛИПОГО, последовавшей на 93-м году его жизни. Некролог см. в следующем номере «Континента».

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С ОЛИВЬЕ КЛЕМАНОМ

– Можете ли вы рассказать, как вы искали Бога, как пришли к Богу?

– Следует, очевидно, перевернуть формулу: не как я искал Бога, а как меня искал Бог. Бог ищет каждого человека, и каждый человек имеет с Ним связь, сознаёт он это или не сознаёт.



Я родился в среде полностью дехристианизированной. Эта среда до некоторой степени похожа на вашу, в Советском Союзе, но большая разница состояла в том, что у нас не было единой и воинствующей атеистической идеологии. Мои родители были учителями, они окончили специальные школы для учителей

в то время, когда там преподавали чисто атеистические идеи.

О реальности западных вероисповеданий я фактически ничего не узнал, пока был ребенком. Католичество было только силой угнетающей, связанной с инквизицией, с религиозными войнами. Что же касается протестантства, то оно меня совсем не привлекало. Я скорее был язычником, я любил красоту космоса. В протестанстве всё это совершенно отсутствует. Есть только личная связь с Богом. Ни красоты, ни космоса там не найти.

И всё-таки со мной случилось одно странное происшествие: моя сестра, с которой приключилось какое-то большое горе, сильно плакала. Я стал молиться, чтобы

она больше не плакала. Я не знал, кому я молюсь, но я молился. Я жил между двумя полюсами жизни: между изумлением и тоской. Я изумлялся красоте неба, сверкающего звездами, – только на побережье Средиземного моря бывает такое небо. С другой стороны, меня охватывала тоска. Чудесно было существовать, но, когда я спросил отца, что происходит после смерти, он ответил: ничего. У меня был чудовищный опыт познания небытия. Я думал, что всё существующее будет поглощено небытием. Всё, что я любил, все эти существа, живущие сейчас на земле. Я жил возле вокзала, и, когда проходили поезда, я думал, что все эти пассажиры умрут и обратятся в небытие. Для чего тогда жить? Всё абсурдно. Одновременно всё было таким красивым.

Была вещь, которая меня поражала более других, – это тайна лица. Что такое лицо? Это ведь только плоть, но почему иногда оно лучится? Почему от лица исходит свет еще более прекрасный, чем свет солнца и неба? Почему? В особенности меня поражали лица пожилых людей. Старых крестьян. Морщинистые, с печатью опыта прожитой жизни. Лицо, как куколка, которая скоро освободит свою бабочку. Для меня это было, действительно, великой загадкой.

Когда я стал подростком, я делал то, что делают многие подростки, т. е. мысленно структурировал свой опыт. Мне в наследство достался атеизм, и я начал изучать все формы современного атеизма. Одно время меня покорила Ницше. Я читал его со страстью. Может быть, я его прочел с религиозной точки зрения, как это делалось в России в начале века. Меня привлекала и мысль Маркса. Я чувствовал, что должен активно участвовать в политической жизни. Это было время Второй мировой войны. Я был знаком с коммунистами, но опыт партизанской войны меня оттолкнул от них. Почему? У меня было впечатление, что они не сознавали ценности жизни других людей, играя чужими судьбами. Я чувствовал в них дух Великого Инквизитора.

Помню, один раз я читал Маркса в библиотеке и вдруг почувствовал, что читаю эту книгу не из-за того, что в ней находится – это меня не интересует, – я читаю книгу, чтобы найти смысл жизни. И я открыл, что в этой книге я не найду ответа на этот вопрос. Вот что больше всего оттолкнуло меня от этой формы атеизма.

В то время со мной произошло первое обращение. Но не обращение к христианству. Это было обращение к неизвестному Богу. Я изучал историю и часто прогуливался в одиночестве в горах и по берегу моря. Там я видел много романских церквей, в которые я любил входить. Внутри церкви была особая тишина и мир, рождающие предчувствия. Как историк я понял, что атеистическая цивилизация, западная атеистическая современность – это исторически очень ограниченное явление. Ограниченное всего двумя-тремя веками. История полна примеров цивилизаций и культур, вдохновленных духовным горением. Я в этом, конечно, еще не очень разбирался: Древний Китай, Индия, ислам, иудаизм, древние религии...

Я начал читать книги по истории религии (Элиаде, «Тетради юга») и осознал, что это реальность, о которой мне никогда не говорили ни дома, ни в школе, ни в лицее. Есть духовное измерение реальности. Поэтому существует и мистика, существуют святые, поэтому есть великие творцы красоты. Я был ослеплен этим светом, и в то же время это соединяло меня с тайной романских церквей, в которых я бывал; может быть, и с тайной лиц, но это было уже сложнее. В течение десяти лет бродил я в этом мире религии и духовной традиции. Куда мне было идти?

Я долго думал и спрашивал себя: что самое лучшее во французской или во всей европейской традиции? И мне пришли в голову две вещи: традиция портрета. Во Франции даже художники среднего качества рисовали очень хорошие портреты. Портрет – это лицо, мы возвращаемся к теме лица. Это лицо, которое открывается

мне, которое соглашается на откровение. С другой стороны, оно не хочет отождествляться со мной. В то же время я прочёл книгу Мартина Бубера «Я и Ты». В ней мне приоткрылась библейская традиция, реальность личности в ее различии. С другой стороны, меня поражала красота французских пейзажей, они были единственными, которые я знал в то время (теперь я сказал бы то же самое про Тоскану). В этих пейзажах чувствовалась любовь человека. Если человек – это образ некоторой тайны, то эти пейзажи являются образом образа.

Я должен сказать, что это был трудный для меня момент, я никак не мог найти себя. Я занимался практикой некоторых индийских методов: концентрацией, связанной с йогой. Однажды я пришел к чувству собственного несуществования. Это чувство во мне присутствовало давно – может быть, психоанализ объяснит его мне, – чувство, что я не существую. Сейчас это чувство связано с верой в Бога – Бог хочет, чтобы я существовал. Поэтому я соглашаюсь на это. Если бы Он не хотел, я не совсем уверен, существовал бы я или нет.

В это время я покинул родной юг и приехал в Париж. Я был один, мое положение было трудным, даже трагичным. Главным образом, по моей собственной вине, я вел существование очень хаотичное, страстное. С одной стороны, я «не существовал», с другой – я считал себя, как говорил в то время Сартр – это была эпоха Сартра, – негодяем. Говорят, что у современного человека нет чувства греха, но когда читаешь Сартра, то находишь у него хороший подход к понятию греховности. В это время я не был особенно уверен, что я должен продолжать своё существование. Зачем жить? Это был старый вопрос моего детства. Иначе высказанный, конечно. Почему не раствориться в этом безличном божестве?

Случайно я купил икону, триптих (но мы-то прекрасно знаем, что всё, что мы называем случаем, – фактически встреча с вечностью). В этот же момент я встре-

тился с Евангелием. Я был поражен изречением Христа: «Я есмь путь, истина и жизнь». Что это значит? Можно подумать, что Он сумасшедший, или же можно релятивизировать это изречение. Можно сказать, что Христос – великий посвященный, как Будда, или великий пророк, как и другие. Тогда можно было бы принять концепцию трансцендентального единства религий. А можно решить, что Он прав и надо только доверять Ему. Итак, я колебался. И в это же время я не знал, должен ли я существовать или же мысль о смерти – это искушение. Я находился на границе метафизического самоубийства. И как раз тогда произошла эта встреча с Ним. У меня вдруг создалось впечатление, что я должен всё вынести за скобки, всё, что знал: о буддизме, о суффикзме, о древних религиях. Обо всем этом поговорим потом. Сейчас же нужно всё вынести за скобки. И я буду Ему доверять. Это всё.

С этого момента поиски мои приняли другой характер. В Евангелии я нашел слова: «Кто ест Мою плоть и пьёт Мою кровь, тот войдет в жизнь вечную». Где же можно приобщиться к Телу и Крови Христа? Так встала передо мной проблема Церкви. С самого моего детства Католическая Церковь была для меня чем-то чуждым и враждебным, протестантская – казалась мне непонятной, непривлекательной. В этот период я напал на Достоевского, на Бердяева. «Философия духа». Книга, в которой я ничего не понял, но которая меня перевернула. И тогда я сказал себе: можно быть христианином. Были удивительные вещи. Каждая травка растет в Церкви. Бердяев не мог думать о Царствии Божьем, если бы Ницше не был в него впущен. Я никогда не думал так о христианстве. Это было совсем другое христианское слово.

Также и «Преступление и наказание», когда Раскольников слушает Соню, читающую Евангелие о воскресении Лазаря. Так поразительно всё это: убийца и проститутка читают Евангелие. Для меня христианство

было, прежде всего, моралью и скукой. Когда я был маленьким, меня однажды повели на ночную мессу. Было три мессы подряд по-латински. Я ничего не понял, был в страшной ярости. И я ушел возмущенным. И потом все эти истории на темы сексуальной морали. Этот пиетизм и морализм. И вдруг приходят Достоевский и Бердяев.

В это время я познакомился также с книгой Владимира Лосского «Мистическое богословие Восточной Церкви». Для меня это было решением дилеммы единства и различия. Решение этой дилеммы может, конечно, многих удивить и даже вызвать улыбки. Этим решением был догмат о Троице. И человек, как подобие божественной Троицы. Поскольку троичность – это полное, абсолютно полное единство, как в индийской мысли. Но одновременно это и таинственное различие любви, различие «меня» и «тебя», которое я нашел в еврейской традиции и в лучшей части европейского и французского искусства.

Когда я был еще ребенком, когда мне было 9 лет, меня интересовал вопрос: зачем изучать историю? Учитель объяснял, что Карл Великий умер в 815 году, и у меня в тот момент появилось что-то вроде сартровской тошноты: они все умерли, какое мне дело до них? Но вот меня это так интересуется. Почему? И тут я получил ответ: во Христе нет мертвых. Во Христе человечество едино. Во Христе мы все друг от друга зависим. И, значит, Карл Великий и все остальные живы, это тайна общения святых.

История основана на тайне общения святых и общения грешников. Кстати, святые – это тоже грешники, которые сознают свой грех, и сознают, что они прощены. Книги, которые я прочел, открыли мне новое измерение христианства, открыли мне православие. И тогда я решил познакомиться с людьми. Я не был знаком с Бердяевым, который скончался в год моего приезда в Париж. Случайно Бердяев напечатал свою последнюю статью в маленьком журнальчике «Белая лошадь» (по-

явилось всего три номера), а я в этом журнале напечатал свою первую.

Я познакомился с Владимиром Лосским, который ввел меня в православную среду. Тогда еще она существовала. Это было православие, глубоко укорененное в русской жизни и очень открытое европейской современной реальности, в частности, католической мысли. Владимир Лосский спорил с будущим кардиналом Даниэлу, но они принадлежали к одному кругу. Я думаю, что эту вещь мы сегодня слегка забыли в нашем православном интегризме.

Эти русские приняли меня с такой добротой, непосредственностью. Был приход, где служили по-славянски, я мало что понимал, но я нашел переводы и погрузился в этот мир. В течение многих лет я молчал, ничего не писал, молился.

Вы меня спросили, как я стал христианином, но я еще совсем не уверен, что я им стал. Скажем, что я стараюсь. Я всем обязан Православной Церкви: она меня научила всему – понимать Евангелие, мысль Отцов, мысль удивительную.

– *Вы написали книгу о Солженицыне. Что вы можете рассказать о своем восприятии русской литературы?*

– Сначала о литературе XIX века, потом XX-го.

Русская литература XIX века была так же тронута атеизмом, как и западная. Но на Западе атеизм никогда не принимал библейских форм – он был связан с античностью. Вспомните об *amor fati* у Ницше и Эдиповом комплексе у Фрейда. Тогда как в русской литературе XIX века слышен крик Иова. Атеизм – это крик Иова. Достоевский рассказывает, что, когда он ходил в церковь в первые дни Страстной седмицы и читалась книга Иова, он плакал. И вот это меня и поражает: даже тоска может быть связана с Богом, через тайну Бога, спускающегося в ад, Бога распятого и воскресшего, даже бунт может быть общением с Богом.

Я очень глубоко нёс в себе западный бунт. Камю написал книгу «Восставший человек», в которой он хотел объяснить всю современность. Я думаю, что на Западе этот бунт разбился о бронзовую стену античного фатализма. Морис Бланшо где-то пишет, что все кончается крахом, что в остаток западной культуры всегда выпадает идея смерти. В России это тоже бунт, но это бунт против *кого-то*. Это крик не перед бронзовой стеной безличного рока, а перед личным Богом, крик Иова. Думаю, что одна из наших задач сегодня – перечитать книгу Иова и понять ее во всей ее глубине. Святые Отцы говорили часто о терпении Иова – я же думаю, что в этой книге есть и другие измерения, которые может понять только наша эпоха.

Теперь о литературе XX века.

Современная западная литература – эта литература нигилизма. Кроме, конечно, тех, кого можно назвать великими католическими писателями: Пеги, Блуа, Клодель, Бернанос, может быть, даже Мориак (в особенности поздний Мориак, Мориак внутренних мемуаров). Я думаю, что есть сейчас и молодые писатели, которые предчувствуют, что на дне нигилизма можно найти Христа. Но это опять-таки влияние Достоевского и Солженицына.

Если западная литература XX века в основном нигилистична, русская литература – это литература Воскресения. Это люди, которые прошли сквозь опыт нигилизма, были на грани смерти и, пройдя сквозь всё это, нашли жизнь, которая сильнее смерти. Поэтому я говорю, что это литература людей воскресших. Литература эта бывает очень скромной, смиренной. Я вспоминаю книгу Евгении Гинзбург. Она не разглагольствует. Но такая в этом аду способность к нежности, к благословению, как будто одно то, что ты живешь, – уже благословение.

Жизнь неуничтожима даже в этом ужасе. Помню, с каким восхищением я читал «Живаго» и стихи, помню,

как был поражен Солженицыным. Мой интерес к Солженицыну основан не на политической стороне его сочинений, как это часто бывает у французских интеллигентов, которые используют Солженицына как экзорциста, для изгнания духа тоталитаризма. Меня интересовал духовный путь этого человека: как он прошел через войну, через лагерь, через рак. И как через всё это он открыл духовное измерение жизни. И я скажу то же самое о романах Максимова, в частности, «Семь дней творения», или «Карантин», или «Прощание из ниоткуда», где он рассказывает о своей судьбе подростка, потерянного на дне советского общества. И через всё это он пронес некий кристалл, который не может быть сломлен и который находится в сердце каждого человека. Это образ Божий, не уничтожимый в человеке. Вот что я люблю в этой литературе. В русской поэзии мы тоже находим это.

Фактически, православное богословие – единственное, которое говорит, что в глубине всего существующего хранится благодать. Благодать находится в самом корне творения. Всё, что существует, – благодать, благословение. Это очень чувствуется у сибирских писателей – у Астафьева, Распутина. Они говорят о лесе с литургической точки зрения, о лесе как о храме. Это поразительно, это пересекается с моим личным опытом.

Я прожил незамысловатую жизнь, в которой не было ничего особенного. Была война, несколько несчастных случаев, допросы во время войны. Был опыт атеизма и эти два обращения. Все это не может сравниться с опытом этих русских писателей XX века. И все же у меня впечатление, что я встречаюсь с братьями. То, что я знаю об опыте сегодняшних неофитов в Москве и Ленинграде, о том, как приходят к Богу даже через йогу, – всё это меня тоже поразило: этот опыт искания правды так близок.

Я не знаток русской литературы, но я любитель в глубоком смысле слова, т. е. люблю.

– *Вы часто путешествуете, можете ли вы сравнить религиозное состояние Франции с Италией, Германией?*

– Мне кажется, что во Франции самое интересное сейчас – это встреча католицизма, протестантства и православия. Значительные русские философы приехали во Францию как эмигранты (как известно, после революции Ленин изгнал из России самых блестящих мыслителей), и во Франции благодаря им возникло течение православной мысли, которое существует и сегодня. Меня поражает в сегодняшней Франции большая тяга к углублению духовной жизни – во многих монастырях, в «группах молитвы» можно заметить её. И это углубление связано с растущим интересом к православию. Существует огромный интерес к иконе, к Иисусовой молитве, к византийской литургии, к мысли греческих Отцов.

Это всё есть во Франции – рост интереса к духовному, к молитве и мистике, но все это пока не имеет выхода к культуре, в то время как в Италии мы встречаемся уже с попытками создать новую христианскую культуру. В Италии, может быть, благодаря тому, что там существует христианско-демократическая партия, которая, несмотря на своё загнивание, предоставляет возможность политического и культурного существования христианства, растёт интерес и к русской религиозной философии. В Италии ищут христианскую альтернативу в основных вопросах культурной и даже социальной жизни. Может быть, они менее глубоки, чем французы, но у них гораздо больше творчества. Они создают школы, дома культуры, кооперативы и т. д. Когда я говорю об этом живом и творческом итальянском христианстве, я думаю о таких движениях, как «Коммунионе э Либерационе» или «Мовименто пополяре». В других странах я бываю не так часто.

– *А что вы думаете о немецком пацифизме?*

– Я думаю, что феномен сегодняшнего пацифизма в Германии очень знаменателен. Я бы определил этот

пацифизм как некую религию жизни. Меня поразило выступление одного немецкого философа в Ванкувере, который сказал, что цель его в том, чтобы его дети жили до 90 лет. Единственный интерес – это выжить. Жизнь, лишенная своей тайны, своего источника и духовного смысла. С одной стороны, они оправдывают аборты, с другой – эвтаназию. Но не будем слишком суровы – вспомним о словах Версилова из «Подростка»: «Люди остались сиротами». Всю свою нежность, всё то, что раньше они испытывали к Абсолюту, сегодня они дарят друг другу, они встречаются, ласкают друг друга, любят друг друга – это огромное стадо сирот. Желание выйти из одиночества, поиск тепла и очага. (Мы-то знаем, что нет другого очага, кроме Иисуса Христа.) Их мысль – это мысль без трансценденции, это тоска по земле. Это древняя германская ностальгия – был культ земли у нацистов, теперь это культ экологистов. В немецком пацифизме есть очень существенное экологическое измерение, есть протест против механической цивилизации, против машин, против общества потребления. И одновременно это религия жизни. Я думаю, что сегодняшний пацифизм – одна из форм миллениаризма. Германия создала много форм миллениаризма: Томас Мюнцер, или даже нацистский миллениаризм, или социализм. Думаю, что сегодняшний миллениаризм был подготовлен двумя течениями: с одной стороны, эволюцией марксизма, с другой – эволюцией христианства. Немецкий марксизм, рафинированный, эзотерический марксизм франкфуртской школы пытался показать, что и в марксизме существует «духовное» измерение личности, но в чисто имманентном значении слова (как и в философии Гароди во Франции): эта интенсивность – чисто витальная. Человек должен жить интенсивно и гениально. Так, в мысли Эрнста Блока гениальность приравнивается к Параклету (Святому Духу) и одновременно она люциферична.

И с другой стороны, все это развитие христианских идей. Демифологизация. Дошли до того, что считают задачей христиан осуществление счастья человека на этой земле. Цель христианства для них – революция и создание совершенного общества. И вот все это переплелось – марксизм, открывший духовное, но *имманентное* измерение личности, экологизм и, что очень существенно, – страх. Страх, который систематически раздувается со стороны Советского Союза. Ясно, что цель советских сломать Европу страхом: «всё лучше, чем умирать» – их лозунг.

Можно сказать также, что пацифизм – это один из элементов потребительского сознания. Я вспоминаю книгу французского социолога Жана Будриара. Он пишет, что признак общества потребления – это не унифицированное общество, а общество, состоящее из отдельных личностей-гедонистов. Это невероятно персонализированный гедонизм, где каждый должен уважать удовольствие другого. Это одно из измерений сегодняшнего пацифизма. Думаю, что оригинальность Парижа сегодня состоит в том, что это единственная европейская столица, где нет пацифизма.

Я как-то сказал, что война происходит уже и сейчас. Советские ракеты уже разрушают – они не истребляют тело, но разрушают душу, вносят в нее страх. И сегодняшняя война – это война сознаний.

– *А почему Париж свободен от пацифизма?*

– Французская интеллигенция испытала огромное влияние Солженицына. Они поняли, что такое тоталитаризм, и поняли, что СС-20 – орудие психологической войны, которая происходит сейчас.

– *Сейчас многие христиане на Западе считают, что на агрессию нужно отвечать непотворением в духе Ганди. Каково ваше мнение по этому вопросу?*

– Я думаю, что непотворение типа Ганди может функционировать только в обществе с правовыми основами. В случае с Ганди это была Британская Империя.

Так же подействовало непротivление в США во главе с Мартином Лютером Кингом, поскольку это было правовое общество. До некоторой степени это может действовать даже в Чили или в Бразилии – там диктатуры, но диктатуры не абсолютные.

Этого совсем не понимают на Западе. Здесь не понимают, что если общество может еще протестовать и выражать свой гнев, то, значит, диктатура слабая, а если общество молчит, то это совсем не значит, что всё в нем хорошо. Как раз наоборот.

В системе до конца тоталитарной, где нет законности, непротivление теряет всякий смысл. Вообразите, что произошло бы, если бы Индия была под руководством Гитлера или Сталина. Ганди долго не прожил бы. Его сторонников сейчас же бы расстреляли, послали бы в лагерь и о «непротivлении» или «сопротivлении» не было бы и речи. В России 20-х годов, когда большевики начали конфискацию церковных имуществ, патриарх Тихон призвал к «непротivлению», и эта форма сопротивления была уничтожена арестами и расстрелами. В Чехословакии в 68-м году был тот же призыв и тоже не дал результата. Значит, наши непротivленцы должны понять, что непротivление действует только в определенном социологическом, этическом и политическом контексте. И что в тоталитарном режиме непротivление не может существовать в такой форме. Могут быть отдельные люди, которые как христиане стараются делать добро там, где они находятся, но это не является политическим способом действовать против тоталитаризма. Непротivление – это не просто любовь к ближнему, оно имеет и политическое измерение. Сейчас над нами висит именно угроза тоталитаризма, и эта угроза несет антихристов характер. Проблема в том, отдадим ли мы своих детей под опеку КГБ или Гестапо, раз мы непротivленцы.

– *И традиционный вопрос. Чем вы занимаетесь сегодня? Какие темы вас волнуют?*

– У меня несколько проектов. Я не очень люблю о них говорить. Я вспоминаю изречение человека, который был моим духовным отцом: «Когда зерно начинает расти в земле, не надо его постоянно вынимать, чтобы посмотреть, растёт ли оно». Я сейчас готовлю очень простую вещь. Это книга благодарности людям, которые мне столько дали: Владимир Лосский, Павел Евдокимов и Бердяев.

Одновременно в течение нескольких лет я размышляю об аскетическом наследии в православии. У святых Отцов есть огромное знание о человеке – надо его сегодня выразить иначе, принимая во внимание всё, что открыли современные науки о человеке.

Мы должны сейчас разработать новый подход ко многим христианским истинам. Я думаю о том, что говорил, например, Афанасий Великий. На вопрос: почему христианство – это правда? – он ответил: потому что все христиане, даже император. Сегодня это не действует. Не действует и традиционное понимание Промысла Божия или Бога, Который наказывает или Который создает ад и посылает туда людей, которые Ему не милы. Мы всё это прожили уже в XX веке: Хиросима, ГУЛАГ, Освенцим, – надо говорить о Боге и о человеке иначе. Как найти эти новые понятия и слова, которые помогли бы современному человеку приблизиться к христианской тайне? Может быть, надо вспомнить Кьеркегора, который углубил представление о трагической экзистенции, или Солженицына с его Нобелевской речью, где он говорит о смысле красоты? Я думаю также о красоте космоса – обо всех этих молодых людях, которые уходят летом в леса, в горы, к берегам Средиземного моря, – тут, несомненно, есть путь к тайне. И тоже лицо. Не зря мысль Эммануэля Левинаса имеет такое значение сегодня во Франции. Он очень глубоко говорил о лице. Вот предпосылки к новому пониманию человека.

В истории всегда старались сократить, редуцировать человека. Весь XIX век сводит человека или к производственным отношениям, или к отношениям либидо. Но XX век явился веком испытания этих редуционистских концепций. XX век – это лаборатория понимания человека. Опыт называется тоталитаризм («тотальная война», «тоталитарный режим»). И было обнаружено, что есть люди, которые не поддаются. Которые не сводимы к идеологии. Почему? Тут и можем мы говорить об образе Божьем. И именно такую идею дает нам Бердяев. Он сказал, что если мы идем до конца гуманистической редукации человека, то человек или растворяется в ничто, или же открывает себя как микрокосм и микротеос (выражение Св. Григория Нисского), как образ Бога.

Другая вещь, которая меня очень интересует, это проблема встречи различных религий. Мне кажется, что нельзя больше избежать этой проблемы. Меня поражает широкое распространение во Франции буддизма и дзена, трансцендентальной медитации и иной восточной практики. Надо бы и нам, христианам, понять, что это значит и что мы можем сказать об этом. Жалко, что афонские монахи немного замкнуты на своем Афоне. Они смогли бы, наверное, расшифровать нам опыт буддистского монаха и показать, как идти дальше.

В современных духовных поисках надо многое уточнить. Мы часто будем встречаться с гностиками, которые будут искать власти, – это предчувствовал Владимир Соловьев в своей «Легенде об Антихристе». Антихрист – большой спиритуалист и, я бы сказал, великий гностик. Есть люди типа «метафизических полицейских», которые хотят пользоваться «метафизической властью». Может быть, Андропов хотел достичь именно этого, когда добился «покаяния» о. Дмитрия Дудко. Это больше не полицейский, который убивает физически, но полицейский, который «владеет». И вся

наша задача – противопоставить соборное христианское знание фальшивому и ложному гнозису.

– *Как вы думаете, что может дать сегодняшний русский опыт Западу и Запад – русским?*

– Это большой вопрос. Прежде всего, русские могут передать западным людям реальный опыт самого ледяного, «сибирского» нигилизма. А также опыт Воскресения. То, чего мы ждем здесь, это свидетельство Воскресения, свидетельство глубоко евангельского христианства. Опыт людей, которые прошли через смерть и ад и пережили катарсис. Опыт большой простоты: есть только смерть и любовь, и любовь сильнее смерти. И есть также очень простые вещи: уважение, дружба. Вот этого свидетельства мы ждем от России. А Запад, с другой стороны, ускоряет историю и толкает ее к «последним вопросам». Миссия Запада – в поиске (средневековая тема поиска чаши Грааля). Это первая цивилизация в истории, которая поставила самое себя под сомнение. Это первая открытая самокритике цивилизация, которая самосознается как гетерогенная и критикует себя вплоть до мазохизма. И это первая цивилизация, где люди стараются понять другие культуры, другие подходы. Запад пытается понять Китай, Индию, архаические религии, суфизм. Всё это понимается Западом, но исходя из чего? Задавая себе этот вопрос, Запад приближается к «последним» вопросам бытия и небытия. И одновременно увеличивается пустота и тоска. Россия, которая есть Восток на Западе – я не противопоставляю Россию Западу, – Россия уже имеет опыт того, что сейчас ищет Запад. Она прожила уже свое схождение во ад и имела своих многочисленных мучеников – она могла бы помочь Западу нести благую весть о Воскресении Христа. О том, что Христос спускается в ад, чтобы победить ад. Потому что в какой-то момент западной истории христианство потеряло способность об этом говорить. Оно вошло в тупик со своими спорами о свободе и благодати.

Я вспоминаю одну историю – не знаю, правдива ли она. Это тип истории, которые правдивее, чем правда. Говорят, что в России во времена нэпа была относительная свобода религиозной пропаганды. Однажды происходил атеистический диспут. Агитатор очень долго говорил против христианства. И в конце он сказал: «Теперь я даю пять минут тому, кто хочет возразить». Один из слушателей взошел на трибуну: «Вы знаете, мне не надо пяти минут – Христос воскрес!» И все встали и ответили: «Воистину воскрес!» Или во время Пасхи хулиганы кричали: «Бог умер!» – а народ отвечал: «Христос воскрес!»

Вот встреча между Россией и Западом. Повсюду сегодня мы переживаем «Бог умер» – и повсюду происходит Его Воскресение. Мне кажется, в конце концов, что разница между Россией и Западом намного меньше, чем принято считать.

Если б русское православие поддалось искушению русского национализма, это было бы драматично. Тогда оно поставило бы себя против западного христианства и возможность диалога перестала бы существовать. А на Западе есть тоже достоинства, которые нужны и России: критический подход, открытость, внимание к Другому.

*Интервью взяла
Татьяна Горичева*

Оливье КЛЕМАН (род. в 1921) – один из самых выдающихся православных богословов нашего времени. Сегодня он преподает в Православном богословском институте в Париже и в Высшем экуменическом Институте (при Католическом институте). Его основные труды: «Диалоги с патриархом Афинагором», «Вопросы о человеке», «Мятеж духа», «Внутреннее лицо», «Иное солнце», «Дух Солженицына», «Источники».

Э Р М И Т А Ж

В 1984 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ
В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. «Религия и литература». (143 с., статьи)	7.00
АКСЕНОВ, Василий. «Аристофаниана с лягушками». (Пьесы, 380 с.)	11.50
АКСЕНОВ, Василий. «Право на остров». (Рассказы, 180 с.)	7.00
АРАНОВИЧ, Феликс. «Надгробие Антокольского». (180 с., 80 илл.)	9.00
АРМАЛИНСКИЙ, Михаил. «После прошлого». (Стихи, 110 с.)	5.50
БРАКМАН, Рита. «Выбор в аду». (О творч. Солженицына, 144 с.)	7.50
ВАЙЛЬ, Петр. ГЕНИС, Александр. «Современная русская проза». (192 с.)	8.50
ВИНЬКОВЕЦКАЯ, Диана. «Илюшины разговоры». (145 с., 50 илл.)	7.50
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. «Стихотворения». (160 с.)	8.00
ГИРШИН, Марк. «Убийство эмигранта». (Роман, 145 с.)	7.00
ГУБЕРМАН, Игорь. «Бумеранг». (Стихи. 120 с. Рис. Д. Мирецкого)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. «Заповедник». (Повесть, 128 с.)	7.50
ДОВЛАТОВ, Сергей. «Зона». (Повесть, 128 с.)	7.50
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. «Мастера». (Сб. интервью. 15 илл.)	8.00
ЕЛАГИН, Иван. «В зале Вселенной». (Стихи, 212 с.)	7.50
ЕФИМОВ, Игорь. «Архивы Страшного суда». (Роман, 320 с.)	10.50
ЕФИМОВ, Игорь. «Как одна плоть». (Роман, 120 с.)	6.00
ЕФИМОВ, Игорь. «Метаполитика». (250 с.)	7.00
ЕФИМОВ, Игорь. «Практическая метафизика». (340 с.)	8.50
ЗЕРНОВА, Руфь. «Женские рассказы». (160 с.)	7.50
КЛЕЙМАН, Людмила. «Ранняя проза Федора Сологуба». (220 стр.)	14.00
КОРОТЮКОВ, Алексей. «Нелегко быть русским шпионом». (Роман, 140 с.)	8.00

ЛОСЕВ, Лев. «Закрытый распределитель». (Очерки, 190 с.)	8.00
ЛУНГИНА, Татьяна. «Вольф Мессинг – человек-загадка». (270 с., 15 илл.)	12.00
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Дмитрий. «Маленькая Тереза». (230 стр., илл.)	9.50
МИХЕЕВ, Дмитрий. «Идеалист». (Роман, 224 с.)	8.50
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. «О синтезе в искусстве». (Альбом, 60 илл.)	12.00
ОЗЕРНАЯ, Наталия. «Русско-английский разговорник». (170 с.)	9.50
ПАПЕРНО, Дмитрий. «Записки московского пианиста». (208 с., 20 илл.)	8.00
ПОПОВСКИЙ, Марк. «Дело академика Вавилова». (280 с., 20 илл.)	10.00
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. «Стихи». (На русском, англ., фран., 140 стр.)	8.50
РЖЕВСКИЙ, Леонид. «Бунт подсолнечника». (Роман, 240 с.)	8.50
СВИРСКИЙ, Григорий. «Прорыв». (Роман, 560 с.)	18.00
СУСЛОВ, Илья. «Рассказы о т. Сталине и других товарищах». (140 с.)	7.50
СУСЛОВ, Илья. «Выход к морю». (Рассказы, 230 с.)	8.50
УЛЬЯНОВ, Николай. «Скрипты». (Статьи, 230 с.)	8.00
ЧЕРТОК, Семен. «Последняя любовь Маяковского». (128 с.)	7.00
ШТЕРН, Людмила. «Под знаком четырех». (Повести, 200 стр.)	8.50
ШТУРМАН, Дора. «Земля за холмом». (Статьи, 256 с.)	9.00

Заказы отправлять по адресу:

HERMITAGE, 2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

К сумме чека добавьте 1.50 дол. на пересылку (независимо от числа заказываемых книг). При покупке трех и более книг – скидка 20%.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40,— ДМ, или 20,— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8,— ДМ, или 4,— US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком почтовым переводом
через банк

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804



ЮРИЮ ОРЛОВУ

Дорогой Юрий Федорович! После семи лет лагеря Вы встречаете свое шестидесятилетие в ссылке – быть может, в еще большей изоляции, чем испытанная



Вами за прошедшие годы. Всё же в этот день все Ваши друзья с Вами – и те, кто остался за колючей проволокой; и те, кто, как Вы, раскидан по бесчисленным ссылкам Сибири и Казахстана; и те, кто, отбыв свое или только ожидая ареста и срока, живет в большой зоне; и такие, как мы, расконвоированные и выпущенные за

запретку. Все – с Вами. И мы в этот день с Вами. Перед нами Ваша фотография – недавняя, сделанная уже в ссылке. На ней трудно узнать веселого, кудрявого Юру Орлова – лагерные годы наложили страшную печать. Но приглядеться попристальней – и проступают родные черты: тот же ясный, глубочайший ум, разве что еще более острый, та же стойкость, быть может, чуть более жесткая и непримиримая, та же неизменная надежность и верность – прибежище всех, кому нужна помощь, поддержка, слово защиты. Нам трудно пожелать Вам что-то, кроме очевидного и без всяких пожеланий: оставаться самим собой.

С любовью

«Континент»

ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА

В том числе и голь политическая. Не успела еще с треском провалиться (а может быть, и вследствие такого провала) гнусная затея советских властей с психологической обработкой Андрея Сахарова неким шарлатаном от науки по фамилии Рожнов, как из Москвы пришло сообщение о новой карательной выдумке наших славных органов: предположительно семнадцатого августа сего года жена великого ученого, выдающаяся правозащитница Елена Боннэр-Сахарова келейно приговорена к пяти годам ссылки. Где осужденная должна будет отбывать наказание, остается под вопросом.

Почти одновременно, через небезызвестного советского дезинформатора господина Луя, на Запад передан для демонстрации фильм о чете Сахаровых, явно снятый скрытой камерой, в котором жизнь двух гуманистов-подвижников представлена зрителю эдакой трудовой идиллией в гуще народа и на лоне русской природы.

Нас давно не удивляет цинизм и глупость советской пропаганды. Но нас не перестает удивлять глухота, лицемерие и наивность тех западных правительств, общественных и научных организаций, которые продолжают сегодня разыгрывать постыдные спектакли «межгосударственных переговоров», «культурных связей» и «научных обменов» со страной, где с правом никто никогда не считался и не считается, где культурой управляют карательные органы и где наука прежде всего обслуживает военно-промышленный комплекс.

Давайте зададимся наконец элементарно логическим вопросом: если на глазах у всего мира никем не избранные кремлевские правители могут позволить себе абсолютно безнаказанно издеваться над такими всемирно известными людьми, как Андрей Сахаров и Елена Боннэр, то каковы же правовые возможности остальных почти трехсот миллионов людей, населяющих Советский Союз, а следовательно, чего же стоят Хельсинкские соглашения, столь торжественно подписанные тридцатью с лишним государствами, кроме цены бумаги, на которой они были напечатаны?

Ответить на этот вопрос необходимо сегодня, ибо завтра уже будет поздно.

Интернационал Сопротивления